

БОЛЬШИЕ  КНИГИ

Дафна
Дюморье

ПТИЦЫ,
НЕ ПОЗЖЕ
ПОЛУНОЧИ
и другие истории

« И Н О С Т Р А Н К А »



Иностранная литература. Большие книги

Дафна дю Морье

**«Птицы», «Не позже
полуночи» и другие истории**

«Азбука-Аттикус»

1940-1980

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

дю Морье Д.

«Птицы», «Не позже полуночи» и другие истории / Д. дю Морье — «Азбука-Аттикус», 1940-1980 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-22864-1

Имя английской писательницы Дафны Дюморье (1907–1989) знакомо читателям во всем мире, ее книги стали классикой литературы XX века и переведены на многие языки. Мастер интриги и тонкий психолог, Дафна Дюморье, как никто другой, умеет держать читателя в напряжении, недаром ее творчество неизменно вдохновляло известных кинорежиссеров, включая знаменитого Альфреда Хичкока, снявшего по ее произведениям успешные кинофильмы: «Ребекка», «Птицы» и «Трактир „Ямайка“». За долгую творческую жизнь Дафна Дюморье выпустила полтора десятка романов, пьесы, романизированные биографии и книгу о Корнуолле, а также несколько авторских сборников малой прозы: «Птицы» (в настоящем издании в эту подборку включен также рассказ «Счастливого Рождества», долгое время остававшийся неизвестным русскому читателю), «Синие линзы», «Рандеву» и «Не позже полуночи». Минишедевры Дафны Дюморье, отражая многогранный талант автора, ошеломляют исключительным разнообразием тем, сюжетов и настроений, но остаются в равной мере оригинальными и увлекательными, как и все, что выходило из-под пера Дюморье.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-22864-1

© дю Морье Д., 1940-1980

© Азбука-Аттикус, 1940-1980

Содержание

Птицы	7
Птицы	7
Монте-Верита	29
Яблоня	69
Маленький фотограф	96
Поцелуй меня еще раз, незнакомец	124
Отец	138
Счастливого Рождества	144
Синие линзы	150
Алиби	150
Конец ознакомительного фрагмента.	157

Дафна Дюморье «Птицы», «Не позже полуночи» и другие истории

Daphne du Maurier
The Birds and other Stories

- © Л. Ю. Брилова, перевод, 2016
 - © А. М. Бродоцкая, перевод, 2016
 - © А. В. Глебовская, перевод, 2016
 - © Л. А. Девель, перевод, 2023
 - © Н. М. Жутовская, перевод, 2016
 - © Ю. А. Клейнер, перевод, 1989
 - © И. Б. Комарова, перевод, 2016
 - © Г. А. Островская (наследники), перевод, 1989
 - © И. Б. Проценко, перевод, 2016
 - © Н. Л. Рахманова, перевод, 2016
 - © Н. Ф. Роговская, перевод, 2016
 - © В. М. Салье (наследник), перевод, 2023
 - © А. А. Ставиская (наследник), перевод, 2023
 - © А. Д. Степанов, перевод, 2016
 - © С. Л. Сухарев (наследник), перевод, 2023
 - © Е. З. Фрадкина, перевод, 1989
 - © М. А. Шерешевская (наследник), перевод, 2023
 - © Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
- Издательство Иностранка®

* * *

Птицы

Птицы

В ночь на третье декабря ветер переменился и наступила зима. До этого осень стояла на редкость мягкая и теплая: на деревьях все еще держались листья, а живые изгороди так и не пожелтели. Земля там, где ее взрыхлил плуг, была черная и жирная.

Нат Хокен как инвалид войны получал пенсию и работал с неполной нагрузкой. Он приходил на ферму три раза в неделю, и ему давали работу полегче – поставить изгородь, подлатать крышу, подремонтировать хозяйственные постройки.

Хотя он был человек семейный, по складу своему он был скорее нелюдим и предпочитал работать в одиночку. Он бывал доволен, если ему поручали укрепить земляную насыпь или починить калитку в дальнем конце мыса, где море с двух сторон омывало территорию фермы. В полдень он обычно прерывал работу, съедал пирог, который жена давала ему с собой, и сидел какое-то время на краю обрывистого берега, наблюдая за птицами. Осень для этого самая благодарная пора, лучше весны. Весной птицы улетали на материк, организованно и целеустремленно; они знали, куда летят, ритм и весь ритуал их жизни не допускал промедлений. Осенью птиц, оставшихся зимовать, обурежала та же безудержная жажда перемещения в пространстве, но поскольку улетать им было не нужно, они утоляли эту жажду по-своему. Огромными стаями они скапливались на полуострове, непоседливые и беспокойные, и растрчивали себя в движении: то кружили и носились по небу, то садились покормиться на жирной свежевспаханной земле, но клевали как-то неохотно, будто не испытывали голода. И тут же беспокойство снова гнало их ввысь.

Черные и белые, галки и чайки, объединившись в этом странном товариществе, словно искали какого-то освобождения – и не находили его, не могли успокоиться. Стаи скворцов с шелковистым шелестом перелетали с места на место, подгоняемые все той же жаждой движения, а птицы помельче, зяблики и жаворонки, как заведенные перепархивали с деревьев на изгороди и обратно.

Нат внимательно наблюдал и за ними, и за морскими птицами. Внизу, в заливе, они ждали, когда спадет вода. У этих птиц было больше терпения. Кулики-сороки, песчаники, травники, кроншнепы подолгу сидели у самой кромки воды, но как только ленивое море отступало, насытив влагой берег и обнажив полосу морской травы и переворошенной гальки, они начинали суетиться и бегать по песку. Потом та же жажда полета толкала их в небо. С шумом, гомоном, свистом, почти задевая крыльями морскую гладь, они покидали берег. Быстрее, еще быстрее, вперед, вперед – но куда? зачем? Не дающий покоя зов осени, тревожный и печальный, заколдовывал их, заставлял собираться в стаи, кружить и кричать; возможно, у них была потребность растратить весь свой запас энергии до того, как наступит зима.

Сидя у края обрыва и дожевывая пирог, Нат думал о том, что осенью птицы наверняка получают некий знак, предупреждение. Надвигается зима. Многим из них не суждено ее пережить. И они ведут себя совсем как люди, которые в предчувствии близкой смерти с головой уходят в работу или пускаются в разгул.

В эту осень птицы сильнее обыкновенного проявляли свое беспокойство; их возбуждение было особенно заметно, потому что дни стояли тихие. Когда на западных склонах работал трактор, по временам он полностью скрывался из виду, вместе с силуэтом фермера за рулем, в туче орущих, кружащихся птиц. Их было непривычно много – Нат не мог этого не заметить. Осенью птицы всегда летали за плугом, но не такими огромными стаями, не с таким гамом.

Нат поделился своими мыслями с фермером, мистером Тригом, когда управился с изгородью.

– Да, птиц нынче многовато, я и сам вижу, – отозвался фермер, – совсем обнаглели, даже трактора не боятся. Сегодня пара чаек пролетела у меня прямо над головой, чуть шапку не сбили! Я вообще пахал почти вслепую – над головой чайки, в глаза солнце бьет. Должно быть, к перемене погоды. Зима предстоит суровая. Вот птицы и сходят с ума.

Шагая домой через поле, а потом вдоль дороги, обсаженной деревьями, Нат видел птичьи стаи в догорающих лучах солнца над западными холмами. Ветра не было; свинцовое море с высокой водой казалось неподвижным. В живых изгородях еще цвел лихонос, воздух был теплый. Но фермер оказался прав: в ночь погода переменялась.

Спальня в доме у Ната выходила окнами на восток. Он проснулся в третьем часу и услышал, как в дымоходе завывает ветер. Это не был порывистый юго-западный ветер, предвестник дождя; ветер был восточный, сухой и холодный. Он глухо гудел в трубе, и на кровле брякала отставшая шиферная плитка. Нат прислушался, и до него донесся рев волн, бушевавших в заливе. В маленькой спальне стало холодно – на кровать дуло из-под двери. Нат плотнее завернулся в одеяло и крепче прижался к спящей жене, но не заснул, а лежал, напрягая слух, полный беспричинных тревожных предчувствий.

Вдруг раздался негромкий стук в окно. Было похоже, что по стеклу стучит обломок какого-то засохшего вьющегося растения, но на стенах у них ничего не росло. Он прислушался – стук продолжался. Раздосадованный, он вылез из постели и подошел к окну. Когда он поднял раму, что-то мазнуло его по пальцам, ткнулось в руку, оцарапав кожу. Мелькнули крылья и тут же исчезли, рванувшись через крышу за дом.

Это была птица – какая, он не разобрал. Должно быть, ветер загнал ее сюда, на подоконник.

Он закрыл окно и снова лег, но почувствовал на пальцах что-то мокрое и, поднеся руку к губам, понял, что это кровь. Птица поранила его в темноте; наверно, сбилась с пути, перепугалась. Он улегся поудобнее, пытаясь уснуть.

Вскоре снова раздался стук, на этот раз более энергичный, более настойчивый, и, потревоженная им, проснулась жена.

– Нат, посмотри, что там такое. Окно дребезжит.

– Я уже смотрел. Там птица, просится в дом. Слышишь, какой ветер? Восточный ветер гонит птиц – вот они и ищут, где бы схорониться.

– Прогони их прочь. Я не могу спать при таком шуме.

Он второй раз подошел к окну, открыл его и увидел на подоконнике птиц – не одну, а добрых полдюжины; все разом ринулись на него, норовя клюнуть в лицо.

Он вскрикнул и стал отбиваться от них руками. Как и первая птица, они взмыли над крышей и исчезли. Он быстро опустил оконную раму и защелкнул задвижку.

– Смотри, что творится, – сказал он. – Они на меня набросились! Едва глаза не выклевали!

Он стоял у окна и вглядывался в темноту, но ничего не видел. Жена, еще не совсем проснувшись, пробормотала что-то недоверчивое.

– Я не выдумываю, – возразил он сердито. – Говорю тебе – птицы сидели на подоконнике, просились в дом.

Неожиданно из комнаты в конце коридора, где спали их двое детей, донесся испуганный крик.

– Это Джил, – сказала жена. От крика дочка она окончательно проснулась и села в постели. – Пойди к ним, узнай, что там.

Нат зажег свечу, но когда он открыл дверь в коридор, сквозняк задул ее.

Снова раздался крик ужаса – на этот раз дети кричали оба, и, вбежав в комнату, Нат услышал в темноте хлопанье крыльев. Окно было раскрыто. Через него влетали птицы, ударялись с налету о потолок и стены и поворачивали к детским кроваткам.

– Не бойтесь, я здесь! – крикнул Нат, и дети с плачем кинулись к отцу, а птицы в темноте взлетали к потолку и тут же пикировали вниз.

– Что там, Нат? Что случилось? – услышал он голос жены из спальни. Он поскорее вытолкнул детей в коридор и захлопнул дверь, оставшись с птицами один на один.

Он сорвал одеяло с ближайшей кровати и начал размахивать им над головой. Он слышал хлопанье крыльев, шмяканье птичьих тел, но птицы не отступали, они нападали снова и снова, целились в руки, в лицо, их разящие клювы кололи, как острые вилки. Одеяло теперь превратилось в орудие защиты. Он обмотал им голову и, не видя уже ничего, молотил по птицам голыми руками. Подобраться к двери и открыть ее он не решался из страха, что птицы полетят следом.

Он не знал, сколько времени он бился с ними в темноте, но в конце концов почувствовал, как хлопанье крыльев мало-помалу стихает; постепенно оно прекратилось совсем, и сквозь одеяло он увидел, что в комнате стало светлей. Он ждал, слушал – нигде ни звука, только кто-то из детей хныкал в спальне. Свист и шелест крыльев смолкли.

Он стянул с головы одеяло и огляделся. В комнату просачивался холодный, серый утренний свет. Живые птицы улетели через открытое окно, мертвые лежали на полу. Нат глядел на них со стыдом и ужасом: всё мелюзга, ни одной крупной птицы, и погибло их не меньше полусотни. Малиновки, зяблики, воробьи, синички, жаворонки, юрки – эти птахи по законам природы всегда держались каждая своей стаей, своих привычных мест, и вот теперь, объединившись в ратном пылу, они нашли свою смерть – разбились о стены или погибли от его руки. Многие во время битвы потеряли перья, у многих клювы были в крови – в его крови.

Чувствуя подступающую дурноту, Нат подошел к окну и поглядел на поля, начинавшиеся сразу за их огородом.

Было очень холодно, и земля почернела и затвердела. Это был не белый мороз, не иней, который так весело сверкает в утренних лучах, а мороз бесснежный, черный, каким сковывает землю восточный ветер. Море, еще сильнее разбушевавшееся с началом прилива, все в гребнях белой пены, яростно билось о берег. Птиц видно не было. Ни один воробьишка не чирикал в садовой изгороди; даже самые ранние птахи, рыжие и черные дрозды, не рылись в земле в поисках червей. Не было слышно ни звука, кроме шума ветра и моря.

Нат закрыл окно и, затворив за собой дверь детской, пошел к жене. Она сидела на кровати, возле нее спала старшая девочка, а младшего, с забинтованным лицом, она держала на руках. Шторы на окнах были плотно задернуты, горели свечи. Лицо жены в желтом свете поразило его своей бледностью. Она сделала ему знак молчать.

– Уснул, – прошептала она, – еле я его уgomонила. Он чем-то поранился, под глазом ссадина. Джил говорит – это птицы. Говорит, проснулась, а в комнате полно птиц.

Жена смотрела на него, ища в его лице подтверждения. Вид у нее был испуганный и растерянный, и ему не хотелось показывать ей, что он тоже потрясен, сбит с толку событиями последних часов.

– Там, в детской, птицы, – сказал он, – мертвые, с полсотни или больше. Малиновки, крапивники, разные мелкие местные птички. Они все будто с ума посходили от этого ветра. – Он опустился на кровать рядом с женой и взял ее за руку. – Дело в погоде. Все, наверно, из-за этой ужасной погоды. Может, и птицы не здешние. Их сюда пригнало откуда-то.

– Погода-то переменялась только ночью, – прошептала жена. – Снега еще нет, что их могло пригнать? И голодать они пока не голодают. В полях хватает корма.

– Да нет, это погода, – повторил Нат. – Поверь мне, все дело в погоде.

Лица у обоих были утомленные и осунувшиеся. Какое-то время они молча глядели друг на друга.

– Пойду вниз, приготовлю чай, – сказал он.

Вид кухни его успокоил. Чашки с блюдцами, аккуратно расставленные на буфетных полках, стол, стулья, вязанье жены в ее плетеном кресле, детские игрушки в угловом шкафчике.

Он опустил на колени, выгреб прогоревшие угли и заново разжег плиту. Зрелище дружно занявшихся щепок, закипающий на огне чайник и другой, коричневый, для заварки, укрепили ощущение уюта и надежности. Он напился чаю сам и отнес чашку жене. Потом умылся в закутке за кухней и, натянув сапоги, открыл наружную дверь.

Небо было тяжелое, свинцово-серое, а бурые холмы, еще день назад блестящие на солнце, теперь казались почти черными и мертвыми. Восточный ветер оголил деревья, как бритвой, и каждый его порыв вздымал в воздух опавшую листву, сухую и ломкую. Нат потопал по земле сапогом – земля была скована холодом. Он еще не видывал такой резкой, внезапной перемены. Черная, бесснежная зима сошла на землю в одну ночь.

Наверху проснулись дети. Джил что-то говорила без умолку, а маленький Джонни снова плакал. Нат слышал, как жена их утешает, уговаривает. Вскоре все спустились вниз. У него был готов для них завтрак, день входил в привычную колею.

– Папа, ты прогнал птиц? – спросила Джил. Она совсем успокоилась, увидав огонь в очаге, дневной свет за окном и завтрак на столе.

– Да, да, они все улетели, – ответил Нат. – Их напугал восточный ветер. Они растерялись, сбились с пути, искали, где бы укрыться.

– Они на нас набросились, – сказала Джил, – хотели Джонни глаза выклевать.

– Это они со страху, – сказал Нат. – В комнате темно было, птицы не соображали, что к чему.

– Хорошо бы они больше не прилетали, – сказала Джил. – А то давай накрошим им хлеба на подоконник, может, они склюют его и улетят.

Она кончила завтракать и пошла за курткой и школьной сумкой. Нат молчал, но жена поглядела на него со значением. Они поняли друг друга без слов.

– Пойду провожу ее до автобуса, – сказал он. – Сегодня на ферму мне не надо.

И пока Джил собиралась, он добавил:

– Держи все окна закрытыми, и двери тоже на всякий случай. Я загляну на ферму. Раз-узнаю, не слышали ли они там чего ночью.

Он пошел с дочерью к проезжей дороге. Девочка, очевидно, успела забыть о ночном происшествии и бежала вприпрыжку впереди, наперегонки с сухими листьями; ее личико под капюшоном покраснело от ветра.

– Пап, а снег скоро пойдет? – спросила она. – Уже ведь холодно!

Он взглянул на бесцветное небо, чувствуя спиной пронизывающий ветер.

– Нет, снега пока не предвидится. Это бесснежная зима, черная.

Пока они шли, он все время искал глазами птиц в живых изгородях, оглядывал поля, высматривал их в лесочке над фермой, где обычно собирались грачи и галки. Птиц нигде не было.

Жившие поблизости дети уже толпились на автобусной остановке, все закутанные, в капюшонах, как Джил, с бескровными, озябшими лицами.

Джил побежала к ним, выкрикивая на бегу:

– А мой папа говорит – снега не будет! Будет черная зима!

О птицах она ни словом не обмолвилась и тотчас же затеяла возню с другой девочкой – обе принялись толкаться и бороться. Наконец показался автобус; он поднимался в гору, пыхтя и покачиваясь. Нат подождал, пока дочка сядет, потом повернул обратно и пошел по дороге

к ферме. У него был свободный день, но он заранее решил сходить проверить, всё ли там в порядке.

Джим, работник, смотревший за коровами, громыхал чем-то во дворе.

– Хозяин дома? – спросил Нат.

– На рынок уехал. Сегодня вторник, забыл?

Грохоча сапогами, Джим ушел за сарай. Некогда тут стоять да разговоры разговаривать. Умничает он больно, этот Нат. Всё книжки, говорят, читает.

Нат и в самом деле забыл, что сегодня вторник. Да, ночные события порядком выбили его из колеи. Он подошел к заднему крыльцу и услышал, как миссис Триг напевает на кухне под музыку из радиоприемника.

– Это я, хозяйюшка! – окликнул он ее.

Миссис Триг появилась в дверях – дородная, добродушная, улыбочивая.

– Здравствуйте, мистер Хокен. Может, вы мне растолкуете, откуда этот холод? Из России, что ли? Не припомню ничего похожего – чтобы вот так вдруг, ни с того ни с сего, могли ударить холода. И дальше будет холодать, по радио сказали. Что-то происходит за Полярным кругом.

– Мы сегодня еще не включали радио, – сказал Нат. – Ночь была беспокойная.

– Что-нибудь с ребятишками?

– Нет, нет. – Он не знал, как ей объяснить. Сейчас, при свете дня, рассказ о ночном сражении с птицами, разумеется, прозвучал бы дико.

Он попытался изложить все по порядку, но по глазам миссис Триг понял, что она не принимает его историю всерьез, считает ее попросту плодом дурного сна.

– Вы уверены, что птицы были настоящие, всамделишные? – спросила она, улыбаясь. – С перьями, со всем, что положено? Не такие, какие могут привидеться кой-кому в субботний вечер, когда питейные заведения уже закрылись?

– Миссис Триг, – сказал Нат, – у нас в детской на полу полсотни мертвых птиц. Самые разные – малиновки, крапивники, кого там только нет. Они и на меня напали, и Джонни чуть глаза не выклевали.

Миссис Триг посмотрела на него с сомнением.

– Ну что ж, – проговорила она, – всякое может случиться при такой-то погоде. А уж если они в дом залетели, то, наверно, совсем сбились с толку. Может, они откуда-нибудь издалека, из-за этого самого Полярного круга?

– Нет, птицы местные, самые обычные.

– Странное дело, – сказала миссис Триг, – просто не знаю, что и думать. Вам надо все это описать и послать в «Гардиан». Они уж найдут что ответить. Ну, мне пора, дела ждут.

Она кивнула ему, улыбнулась и ушла обратно в кухню.

Нат, не удовлетворенный разговором, пошагал прочь. Если бы не мертвые птицы на полу – их еще надо собрать и закопать где-нибудь, – он и сам бы принял всю историю за выдумку.

У калитки стоял Джим.

– Птицы часом не докучали? – спросил Нат.

– Птицы? Какие птицы?

– На нас прошлой ночью птицы напали. Целая стая. Залетели в спальню к детям. Странные птицы, прямо кровожадные какие-то.

– Вот как? – До Джима все доходило невероятно медленно. – Никогда не слыхал, чтоб птицы были кровожадные, – отозвался он наконец. – Ручные – это да, это бывает. Прямо на окна прилетают за крошками.

– Те птицы были далеко не ручные.

– Вот как? Может, замерзли? Или голодные были? Вы им крошек насыпьте.

Джим отнесся ко всей этой истории так же безучастно, как миссис Триг. С воздушными налетами во время войны дело обстояло похоже, подумал Нат. Здесь, в этой части Англии,

никто и не подозревал, сколько пришлось перевидать и испытать жителям того же Плимута¹. Чтобы тебя что-то затронуло по-настоящему, нужно самому это пережить.

Он направился к дому – прошел между деревьями, перебрался через перелаз. На кухне он застал жену и Джонни.

– Ну что, видел кого-нибудь? – спросила жена.

– Говорил с миссис Триг и с Джимом. По-моему, они мне не поверили. Но у них все спокойно.

– Ты бы унес этих птиц, – сказала жена. – Я хотела постели застелить, но я туда войти не могу. Страшно.

– Теперь-то чего бояться. Они мертвые.

Нат поднялся наверх с мешком и покидал в него, один за другим, все птичьи трупы. Их оказалось ровно пятьдесят. Самые обычные пташки, сплошная мелочь, даже ни одного дрозда. Только страх мог вызвать такую агрессивность. Синички, крапивники – неужели это их крохотные клювы вонзались ночью с небывалой яростью ему в лицо и в руки? Трудно поверить. Он отнес мешок в сад, и тут встала новая проблема – земля так затвердела от холода, что лопата с ней бы не справилась. Землю намертво сковало стужей, но снега при этом не было; да и вообще за последние часы ничего не произошло – разве что задул восточный ветер. Все это странно, необъяснимо. Те, кто составляет прогнозы погоды, должно быть, правы – похолодание каким-то образом связано с Полярным кругом.

Ветер пронизывал его до костей, пока он стоял в нерешительности с мешком в руках. Внизу, в заливе, бушевали волны – были хорошо различимы их пенистые гребни. Он решил отнести птиц на берег и закопать там.

Когда он добрался до мыса, ветер задул так свирепо, что Нат еле устоял на ногах. Ему было больно дышать, голые руки заоченели. Он в жизни не испытывал такого холода, не помнил такой стужи – даже в самые суровые зимы. Был отлив. Хрустя галькой, он прошел туда, где песок был порыхлее, повернулся спиной к ветру и стал копать каблуками яму. Но едва он раскрыл мешок, налетевший вихрь подхватил мертвых птиц, поднял их в воздух, понес вдоль пляжа и в считанные секунды разметал и развеял, как перышки. В этом зрелище было что-то отталкивающее. Ему стало не по себе. Ничего, начнется прилив – вода их смоем.

Он перевел взгляд на море, всматриваясь в белопенные зеленые буруны. Они вздымались отвесной стеной, закручивались и снова разбивались; грохот волн, ослабленный расстоянием, казался не таким оглушительным, как во время прилива.

И тут он увидел их. Чайки! Они качались на волнах вдали от берега.

То, что он поначалу принял за буруны, были белые чайки. Сотни, тысячи, десятки тысяч... Они поднимались и падали вместе с волнами, держа головы по ветру, будто мощная боевая флотилия, бросившая якорь в ожидании прилива. Чайки заполняли все видимое пространство. Они двигались развернутым строем, бесконечными, тесно сомкнутыми рядами, колонна за колонной. Будь на море штиль, они покрыли бы белым облаком весь залив, голова к голове, бок к боку. И только восточный ветер, нагонявший высокие волны, по временам скрывал их от глаз.

Нат повернулся, пошел прочь от берега и по крутой тропке стал подниматься к дому. Надо срочно кому-то сообщить, кого-то предупредить. Погода тому виной или восточный ветер, только творится что-то непонятное. Пойти к телефонной будке у автобусной остановки, позвонить в полицию? Но что они могут сделать? Что вообще можно сделать? Ну, он скажет, что в заливе собрались сотни, тысячи чаек, потому что их пригнал туда шторм или голод. В полиции решат, что он пьяный или сумасшедший, или, что еще хуже, выслушают с полнейшим

¹ *Плимут* – порт на берегу пролива Ла-Манш; во время Второй мировой войны подвергался особенно ожесточенным налетам немецкой авиации. – *Здесь и далее, если не указано иное, примеч. перев.*

равнодушием: «Спасибо. Нас уже оповестили. Действительно, из-за неблагоприятных погодных условий в окрестностях скопилось большое количество птиц». Нат огляделся по сторонам. Других птиц пока видно не было. Может, все они летят из центра страны, всех гонит холод?

Жена встретила его у порога:

– Нат, объявили по радио! Только что передавали специальный выпуск новостей. Я записала.

– Что объявили по радио?

– Насчет птиц. Они не только у нас, они повсюду. В Лондоне, по всей стране. На птиц что-то нашло.

Они вместе прошли на кухню. Он прочел то, что жена записала на листке бумаги.

«Сообщение Министерства внутренних дел от 11 часов утра. С начала дня ежедневно поступают сведения о том, что в городах, деревнях и отдаленных районах страны огромными стаями собираются птицы. Они создают помехи движению транспорта, причиняют ущерб домам и даже нападают на людей. Предполагается, что арктические воздушные потоки, в зоне которых в настоящее время находятся Британские острова, заставляют птиц массами перемещаться на юг; сильный голод, по всей видимости, вынуждает их атаковать людей. Предупреждаем домовладельцев: плотно закройте окна и двери, проверьте дымоходы и примите все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность ваших детей. Ждите дальнейших сообщений».

Ната вдруг охватило непонятное возбуждение. Он торжествующе взглянул на жену:

– Ну вот, что я тебе говорил? Надеюсь, на ферме тоже слушают радио. Миссис Триг теперь убедится, что я ничего не сочинил. Все так и есть. Они повсюду. Недаром я с утра себе твержу: что-то тут неладно. Я сейчас с берега видел в море чаек – там тысячи, десятки тысяч чаек, вплотную друг к дружке, булавку между ними не просунуть, – качаются себе на волнах, будто чего-то ждут.

– Чего ждут, Нат? – спросила жена.

Он пристально посмотрел на нее, потом снова на листок бумаги.

– Не знаю, – выговорил он наконец. – Здесь сказано про сильный голод...

Он подошел к ящику, где хранил молоток и инструменты.

– Что ты надумал, Нат?

– Хочу забить окна, перекрыть дымоходы, как велят.

– Думаешь, птицы смогут пробраться в дом, если окна просто закрыть? Воробьи, малиновки и прочая мелочь? Каким образом?

Он не ответил. Воробьи, малиновки – это пустяки. А вот чайки...

Он поднялся наверх и работал не покладая рук всю первую половину дня – забил досками окна в спальнях, заделал основание дымоходов. Хорошо еще, что у него выходной и что он не занят на ферме. Работа с молотком и гвоздями напомнила ему давние времена, самое начало войны. Он тогда еще не был женат, жил у матери в Плимуте, и когда ввели затемнение, сколотил для всех окон ставни. И бомбоубежище соорудил. Правда, пользы от него оказалось немного, когда начались налеты. Интересно, примут ли фермер с женой хотя бы такие простые меры предосторожности? Вряд ли, не похоже на них. Беззаботные они люди. Могут просто посмеяться, и все. Уедут на танцы или отправятся к соседям в карты играть.

– Обед готов! – крикнула из кухни жена.

– Слышу, сейчас спущусь!

Он был доволен своей работой – щиты отлично легли на окна, распорки прочно встали в основание дымоходов.

После обеда, когда жена мыла посуду, Нат включил радио – в час дня передавали известия. Сперва повторили утреннее сообщение – то, которое записала жена, – но в сводке новостей появились дополнительные подробности. «Стаи птиц нарушили привычный распорядок

во всех районах страны, – объявил диктор. – В Лондоне в десять часов утра птицы закрыли небо так плотно, что могло показаться, будто над городом нависла гигантская черная туча. Птицы рассаживались на шпилях, на оконных карнизах, на дымоходах. Преобладающие породы – дрозд черный, дрозд обыкновенный, домовый воробей; кроме того, что естественно для столицы, в большом количестве представлены голуби и скворцы и, разумеется, завсегдатай лондонской Темзы – чайка черноголовая. Зрелище было столь поразительное, что на многих магистральных остановилось уличное движение, лавки и конторы опустели, а тротуары и мостовые были запружены толпами любопытствующих».

За этим последовало описание имевших место инцидентов; еще раз было сказано, что наиболее вероятная причина этого явления – голод и стужа; напоследок диктор повторил предупреждение владельцам домов. Голос у него был спокойный, слегка надменный. У Ната сложилось впечатление, что диктор воспринимает происходящее не всерьез, словно речь идет о не в меру затянувшемся розыгрыше. И он такой не один, их много, сотни, и они понятия не имеют, каково это – биться в крошечной тьме с тучей птиц. В Лондоне наверняка устроят народное гулянье, наподобие тех, что бывают по вечерам после выборов. Люди будут толпиться на улицах, шуметь, хохотать, напиваться... «Птиц-то сколько! Пошли поглядим!»

Он выключил радио и принялся за окна на кухне. Жена молча следила за ним; маленький Джонни не отходил от матери.

– Нат, а здесь-то доски зачем? – спросила она. – Теперь придется зажигать свечи чуть ли не в два часа дня. И вообще я не понимаю, какой толк в этих досках.

– Лучше перестраховаться, чем потом локти кусать, – ответил Нат. – Не хочу рисковать.

– Куда смотрят власти? – сказала жена. – Давно пора вызвать войска и начать отстреливать птиц. Живо бы их распугали.

– Ну, допустим. И как именно, по-твоему, надо действовать?

– Посылают же военных в доки, когда докеры бастуют. Бросают солдат на разгрузку судов.

– Верно, – сказал Нат, – только в Лондоне восемь миллионов жителей или даже больше. А сколько всяких зданий, жилых домов, особняков! Это сколько же нужно солдат – отстреливать птиц со всех крыш?

– Не знаю, но что-то надо делать. Власти должны что-то предпринять.

Нат подумал про себя, что власти, наверно, как раз сейчас ломают голову в поисках выхода, но что бы они ни придумали для Лондона и других больших городов, здесь, за три сотни миль от столицы, это людям не поможет. Каждый хозяин должен сам побеспокоиться о своем доме.

– Как у нас со съестным? – спросил он.

– Господи, Нат, что еще тебе придет в голову?

– Неважно. Какие есть припасы?

– Завтра среда, наш закупочный день, ты сам знаешь. Я не храню ничего лишнего в сыром виде, все ведь портится. Мясник придет только послезавтра. Но я могу что-нибудь мясное привезти и завтра из города.

Нат не хотел пугать жену понапрасну, но сам подумал, что намеченная на завтра поездка в город вряд ли состоится. Он заглянул в кладовую и заодно в буфет, где жена держала банки с консервами. На ближайшие дни довольно, только хлеба маловато.

– А с хлебом что?

– И булочник будет завтра.

Муки тоже было немного. Впрочем, на одну буханку хватит, если булочник завтра не придет.

– В старое время мы бы забот не знали, – заметил Нат. – Женщины пекли хлеб два раза в неделю, сами рыбу солили, и в доме всегда были запасы еды. Можно было бы осаду выдержать, если б понадобилось.

– Я пробовала давать детям рыбные консервы, им не понравилось, – сказала жена.

Нат продолжал забивать досками кухонные окна. И вдруг вспомнил: свечи! Свечи тоже на исходе. Значит, завтра надо и свечей докупить. Но ничего не попишешь. Сегодня хорошо бы лечь пораньше. Если, конечно...

Он встал, прошел через заднее крыльцо в огород и поглядел на море. Солнце весь день не показывалось, и теперь, хотя было всего три часа, вокруг сгустилась мгла, небо было тяжелое, мрачное, бесцветное, как соль. Он слышал, как волны злобно барабанят о скалы. Он зашагал вниз по тропке к берегу и на полдороге вдруг замер. Был прилив; вода уже стояла высоко. Прибрежные скалы, утром еще обнаженные, теперь полностью скрылись под водой, но Нат смотрел сейчас не на море. Он смотрел на чаек. Чайки как по команде снялись с места. Сотни, тысячи их кружили над водой, напрягая крылья, борясь с ветром. Чайки затмили небо – потому и стемнело вокруг. Они летали молча, не издавая ни звука. Они парили, кружили, взмывали вверх и снижались, борясь с ветром.

Нат повернулся и бегом бросился к дому.

– Я пошел за Джил, – сказал он жене. – Хочу встретить ее на остановке.

– Что случилось? – спросила жена. – На тебе лица нет.

– Не выпускай Джонни из дому. И запри дверь. И лучше задерни шторы и зажги свечи.

– Но ведь только три часа дня!

– Неважно. Делай, как я сказал.

Он заглянул под навес у заднего крыльца, где хранился огородный инвентарь. Подходящего мало. Лопата слишком тяжелая, вилы не годятся. Он взял мотыгу – ее, по крайней мере, легко нести.

Он обогнул дом и пошел к автобусной остановке, то и дело оглядываясь через плечо на море. Чайки поднялись выше и теперь описывали более широкие круги, выстраиваясь в небе в боевом порядке.

Нат прибавил шаг. Он знал, что автобус доберется до вершины холма не раньше четырех, но все равно спешил. На пути он никого, к счастью, не встретил – не то время, чтобы стоять и ляды точить.

Он дошел до остановки и принялся ждать. Конечно, он зря спешил – до автобуса оставалось добрых полчаса. Он потопал ногами, чтобы согреться, подул на заочневшие руки. Вдалеке перед ним простирались меловые горы, чистые и белые на фоне мрачного блеклого неба. Неожиданно из-за гор поднялось что-то черное, как мазок сажи; потом пятно стало разрастаться, приобрело объем и превратилось в тучу, которая тут же распалась на части, поплывшие на север, на запад, на восток и на юг; и это были вовсе не тучи: это были птицы. Нат следил за их движением по небу, и когда одна стая пролетала над ним на высоте двух или трех сотен футов, он понял по их скорости, что они направляются от побережья вглубь страны: им не до людей здесь, на полуострове. Это были грачи, вороны, галки, сороки, сойки – птицы, которые не прочь поживиться другими, более мелкими пташками; но сегодня они имели в виду добычу совсем иного рода.

«Им поручены города, – подумал Нат. – Они четко знают, что им надо делать. Им наплевать на нас. С нами расправятся чайки. А эти летят в города».

Он вошел в телефонную будку и снял трубку. Достаточно, если ему ответит коммутатор. Там уж передадут кому нужно.

– Я звоню с шоссе, от автобусной остановки, – начал он. – Хочу сообщить, что мимо меня летят целые полчища птиц. Чайки тоже скапливаются в заливе.

– Ясно, – ответил женский голос, усталый, безразличный.

– Могу я быть уверен, что вы передадите мое сообщение куда полагается?

– Да, да, конечно. – На этот раз в голосе явно звучали раздраженные нотки. Затем послышались короткие гудки.

«Такая же, как все, – подумал Нат, – ни до чего нет дела. Целый день ей звонят, надоедают. А ей охота вечером пойти в кино. Повиснет на каком-нибудь парне и будет ахать: „Ты только посмотри, сколько птиц!“ Ничем такую не проймешь...»

Автобус, пыхтя, подкатил к остановке. Джил спрыгнула на землю, за ней еще трое или четверо ребят. Автобус тут же поехал дальше, в сторону города.

– Пап, а это зачем?

Ребятишки со смехом окружили его, показывая пальцами на мотыгу.

– Просто так взял, на всякий случай, – сказал он. – А теперь по домам. Сегодня холодно, нечего болтаться на улице. Ну-ка, живенько! Я постою, пока вы пробежите через поле, погляжу, кто быстрее всех бегают.

Он обращался к детям, которые жили в поселке, в муниципальных домах. Наискосок, через поле, туда было ближе.

– Мы хотели немножко поиграть по дороге... – протянул кто-то из мальчиков.

– Никаких игр. Марш по домам, а не то я вашим мамам нажалуюсь.

Дети пошептались, поглядывая на него круглыми от удивления глазами, а потом стремглав помчались через поле. Джил смотрела на отца, недовольно надув губы:

– Мы всегда играем по дороге из школы.

– Только не сегодня. Сегодня игры отменяются. Идем скорей, не будем время терять.

Он теперь ясно видел чаек – они держали курс на сушу, кружили над полями, все так же молча, так же беззвучно.

– Пап, погляди! Смотри, сколько чаек!

– Я вижу. Давай скорее!

– А куда это они? Куда они летят?

– Подальше от наших мест, наверно. Ищут, где теплее.

Он схватил ее за руку и потащил за собой.

– Пап, не так быстро, я не поспеваю!

Чайки проделали то же, что до них грачи и вороны: они развернулись строем по небу и разделились на четыре многотысячных отряда.

– Пап, что это? Что чайки делают?

Разделившись, чайки не стали сразу разлетаться по сторонам: они продолжали кружить и не торопились набирать высоту, будто ждали какого-то сигнала. Как будто окончательное решение еще не принято. Еще не сформулирован приказ.

– Хочешь, я тебя понесу, Джил? Давай-ка забирайся ко мне на спину.

Он надеялся, что так будет быстрее, но не рассчитал – Джил была тяжелая, все время сползала вниз. При этом она еще и плакала. Ей переданся отцовский страх, предчувствие опасности.

– Противные чайки! Пускай улетают. Смотри, они совсем низко!

Он поставил девочку на землю и перешел на бег, таща ее за собой. На повороте у фермы он увидал, что мистер Триг выкатывает из гаража машину. Нат окликнул его:

– Не подбросите нас до дому?

– Что за спешка?

Фермер повернулся на сиденье и удивленно уставился на них. Но тут же его веселая румяная физиономия расплылась в улыбке.

– Похоже, скоро начнется забава, – сказал он. – Видели чаек? Мы с Джимом хотим их немного пощелкать. Все свихнулись на этих птицах, ни о чем другом не говорят. Слышал, они вас ночью навестили. Ружье не требуется?

Нат отрицательно покачал головой. Фермерская малолитражка была загружена до предела. Места хватило бы только для Джил, и то если посадить ее на пустые канистры на заднем сиденье.

– Ружья мне не надо, но вы бы меня очень выручили, если б подвезли Джил. Она боится птиц.

Он говорил отрывисто и быстро – не хотел вдаваться в объяснения при ребенке.

– Ладно, я ее доставлю, – сказал фермер. – Не хотите, значит, поучаствовать в нашей охоте? А зря! Дадим им прикурить! Перья полетят – только держись!

Джил уселась в машину, и фермер, развернувшись, покатил по дороге. Нат зашагал следом. Триг просто спятил! Что может какое-то ружье против целого неба птиц?

Теперь, когда ему больше не надо было беспокоиться за Джил, он мог как следует оглядеться. Чайки все еще кружили над полями. В основном это были серебристые чайки, но среди них было и немало черноголовых. Обычно эти две породы держатся врозь, но нынче что-то их объединило. Что-то свело их вместе, и свело не случайно. Он слышал, что черноголовки нападают на птиц помельче, а бывает, и на новорожденных ягнят. Своими глазами ему, правда, ничего такого видеть не приходилось. Но сейчас, глядя на небо, он это вспомнил. Чайки определенно держали курс на ферму. Они кружили гораздо ниже, и черноголовые были впереди. Черноголовые возглавляли атаку. Значит, их цель – ферма. Туда они и летят.

Нат прибавил шагу. Он видел, как фермерская машина отъехала от их дома и повернула ему навстречу. Поравнявшись с ним, фермер рывком затормозил.

– Девчушка на месте, – сказал он. – Мать ее поджидала. Ну, как вам все это нравится? В городе ходят слухи, что это русские виноваты. Окормили птиц какой-то отравой.

– Каким образом?

– Почем я знаю! Кто-то сболтнет – и пошло. Не надумали с нами поохотиться?

– Нет, я домой. Жена будет волноваться.

– Хозяйка моя считает, что в охоте был бы смысл, если б чаек можно было есть, – сказал Триг. – Мы бы их жарили, пекли, мариновали... Вот погодите, выпущу несколько обойм в этих тварей – только пух и перья полетят.

– А вы окна забили? – спросил Нат.

– Еще чего! Чушь это все. По радио любят запугивать. У меня и так дел невпроворот, не хватало еще с окнами возиться.

– На вашем месте я бы заколотил.

– Да бросьте! Совсем вас застращали. Хотите – приезжайте ночевать.

– Большое спасибо, мы уж как-нибудь дома.

– Ну, тогда пока. Увидимся утром. Зажарим на завтрак пару чаек.

Триг ухмыльнулся и свернул к воротам фермы.

Нат пошел быстрым шагом. Он миновал рожицу, старый амбар; теперь перелаз – и до дома останется пройти последний отрезок поля.

Перебираясь через изгородь, он услышал свист крыльев: прямо на него спикировала черноголовая чайка, промахнулась, развернулась на лету, взмыла вверх и снова спикировала. В мгновение ока к ней присоединились еще чайки – шесть, семь, двенадцать, серебристые и черноголовые вперемешку. Он бросил мотыгу. Все равно толку от нее никакого. Прикрывая голову руками, он бросился к дому. Чайки не отставали и продолжали атаковать его сверху, по-прежнему беззвучно; в тишине раздавалось только хлопанье крыльев. Свиристых, безжалостных крыльев. Он чувствовал, как кровь течет у него по пальцам, по запястьям, по шее. Твердые клювы били сверху наотмашь, раздирая плоть. Только бы уберечь глаза. Остальное неважно. Только бы спасти от них глаза. Они еще не научились вцепляться намертво, рвать одежду, обрушиваться всем скопом на голову, на спину. Но они смелели с каждой новой атакой. И действовали они отчаянно и безоглядно, не щадя себя. Многие, если им случалось спикировать слишком низко и промахнуться, ударялись о землю, разбивались вдреизг, ломали себе кости. На бегу Нат то и дело спотыкался об искалеченных чаек и отшвыривал их ногами.

Кое-как он добрался до своего крыльца и стал барабанить в дверь окровавленными руками. Из-за досок на окнах казалось, что в доме темно. Свет наружу не проникал.

– Открой! – крикнул он. – Это я! Открой!

Он старался перекричать шум хлопающих крыльев.

И в эту секунду он увидел над собой баклана, изготовившегося к броску. Чайки кружили, улетали, боролись с ветром, и только баклан висел в небе неподвижно. Один-единственный баклан – прямо у Ната над головой. Внезапно он прижал крылья к телу и камнем пошел вниз. Нат закричал, и дверь, по счастью, распахнулась. Он едва успел переступить через порог – жена всей тяжестью налегла на дверь изнутри.

И тут же они услышали, как со стуком ударился о землю баклан.

Жена промыла и перевязала ему раны. Они оказались не особенно глубокими. Больше всего пострадали кисти и запястья. Не будь на нем шапки, чайки бы добрались и до головы. Ну а баклан... баклан мог бы запросто раскроить ему череп.

Дети, как и следовало ожидать, подняли рев, когда увидели, что у отца руки в крови.

Он попытался их успокоить:

– Все в порядке, совсем не больно. Ранки пустяковые. Джил, поиграй пока с Джонни, а мама промоет мне царапины.

Он притворил дверь из кухни, чтобы не пугать детей. Лицо у жены было пепельно-серое. Она отвернула кран над раковиной.

– Я их видела, – прошептала она. – Они как раз стали сбиваться в кучу, когда мистер Триг привез Джил. Я со всей силы захлопнула дверь, и ее заклинило. Потому и не могла тебе сразу открыть.

– Слава богу, они подстерегали меня. С Джил они бы справились в два счета. Тут хватило бы и одной птицы.

Они шептались, как заговорщики, чтобы дети не слышали, пока жена бинтовала ему руки и шею.

– Они летят вглубь страны. Их тысячи. Грачи, вороны, всё крупные птицы. Я видел их, пока ждал на остановке. Они нацелились на города.

– Зачем им в города?

– Добычи ищут. Сперва будут атаковать прохожих на улице. Потом станут пробираться в дома, через окна, через дымоходы.

– Но почему власти ничего не делают? Почему не шлют войска, пулеметы, ну хоть что-нибудь?

– Еще не успели. Никто ведь к этому не был готов. Послушаем, что скажут в шестичасовом выпуске.

Нат прошел на кухню, жена за ним. Джонни мирно играл на полу. Зато Джил была явно встревожена.

– Там птицы, – сказала она. – Пап, послушай!

Нат прислушался. Из-за окон и двери доносились приглушенные звуки. Шорох крыльев, скрежет когтей, попытки отыскать лазейку в дом. Шелест трущихся боками птичьих тел, толкотня на подоконниках. И по временам резкий, отчетливый стук, когда какая-нибудь незадачливая птица со всего маху ударялась о землю.

«Сколько-то их расшибется насмерть, – подумал он. – Но к сожалению, малая часть. Малая часть».

– Все в порядке, Джил, – произнес он вслух. – Окна я крепко заколотил. Птицам сюда хода нет.

Он снова тщательно проверил окна. Сработано на совесть, все щели законопачены. Что еще можно сделать? Он принес полоски старой жести, деревяшки, металлические планки и

стал приколачивать их поверх досок, для пушей надежности. Стук молотка немного заглушил птичью возню, все это царапанье, шарканье и самое злое – только бы не услышали жена или дети – звон разбитого оконного стекла.

– Включи-ка радио, – сказал он жене. – Послушаем, что там передают.

Радио тоже должно помочь заглушить наружные звуки. Он пошел наверх и принялся укреплять окна в спальне и в детской. Теперь он слышал, что творится на крыше, слышал скрежет птичьих когтей, суетливые перебежки.

Он решил, что ночевать всем надо в кухне – матрасы можно снести вниз и положить прямо на полу. И огонь в плите не гасить. Он опасался за дымоходы верхнего этажа. Доски, которыми он забил основания, могут не выдержать. А в кухне всю ночь будет гореть огонь, так спокойней. Хорошо бы подать это как шутку: сказать детям, что он придумал новую игру – походный лагерь в доме, как в лесу. И если случится самое худшее и птицы проникнут внутрь через верхние дымоходы, то из спален им не так-то просто будет выбраться. На то, чтобы пробиться сквозь двери, понадобится много часов, а то и дней. Оттуда они никому не смогут причинить вреда. Оставшись взаперти, они все просто задохнутся и погибнут.

Он начал перетаскивать вниз матрасы. Жена бросила на него встревоженный взгляд: она решила, что птицы уже наверху.

– Ну вот, полный порядок, – сказал он. – Сегодня будем ночевать на кухне. У огня уютней. И меньше слышно, как эти несносные птицы скребутся в окна.

Он позвал жену и детей помочь ему с перестановкой мебели и на всякий случай подвинул к окну кухонный буфет. Буфет встал хорошо. Лишняя гарантия. На освободившееся место у стены теперь можно положить рядом матрасы.

«Мы здесь пока защищены, – подумал он. – Удобно, надежно, как в бомбоубежище. Правда, с едой плоховато. Продуктов и угля для плиты хватит на два-три дня, не больше. А к тому времени...»

Но что толку загадывать наперед? Еще надо послушать, что объявят по радио. Должны же они как-то проинструктировать людей. И тут до него внезапно дошло, что в эфире звучит только музыка. Музыка вместо детского часа, который ежедневно передают в это время. Он взглянул на шкалу приемника. Настроено верно, на лондонское радиовещание. Танцевальные записи! Он щелкнул ручкой и переключился на развлекательную программу. То же самое. И тогда он вдруг понял, в чем дело. Все обычные передачи отменены. Такое бывает только в исключительных случаях. В день выборов, например. Он попытался вспомнить, как было в войну, во время массированных налетов на Лондон, и тут же сообразил, что центральная радиостанция Би-би-си находилась тогда не в Лондоне. Передачи транслировались из какого-то временного центра. «Пожалуй, здесь мы в лучшем положении, – подумал он. – Здесь, на кухне, когда окна и двери забиты досками, безопасней, чем в городах. Надо Бога благодарить, что мы не в городе».

В шесть часов музыка смолкла. Раздался сигнал точного времени. Надо обязательно послушать известия, даже если они перепугают детей. После сигнала наступила пауза. Потом заговорил диктор. Голос у него был торжественный и серьезный. Совсем не то что днем.

«Говорит Лондон. Сегодня в четыре часа пополудни в стране объявлено чрезвычайное положение. Предпринимаются шаги для спасения жизни и имущества граждан. Однако на их немедленный эффект рассчитывать нельзя ввиду непредвиденного и беспрецедентного характера данного кризиса. Всем домовладельцам предлагается принять срочные меры к тому, чтобы обезопасить свое жилище. Жильцы многоквартирных домов должны объединиться и сделать все от них зависящее, чтобы исключить всякий доступ внутрь. Сегодня вечером категорически воспрещается покидать пределы домов и находиться на улицах, на проезжих дорогах или где бы то ни было вне закрытых помещений. Птицы большими стаями нападают на всех, кто оказывается в их поле зрения, и уже начали осаждать дома. Только при соблюдении

должных мер безопасности жилища могут остаться недоступными для птиц. Просьба к населению сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ввиду исключительности создавшегося положения все радиостанции приостанавливают вещание до семи часов утра».

Затем сыграли государственный гимн. Больше ждать было нечего. Нат выключил приемник. Он взглянул на жену, она на него.

– Папа, про что они? – спросила Джил. – Что это они говорили в новостях?

– Говорили, что сегодня больше не будет передач, – сказал Нат. – На Би-би-си какая-то авария.

– Из-за птиц? – спросила Джил. – Это птицы что-то повредили?

– Нет, просто все там очень заняты. А от птиц, само собой, много вреда, особенно в городах, надо поскорей от них избавиться. Ничего, один вечер обойдемся без радио.

– Хорошо бы у нас был патефон, – сказала Джил. – Все-таки лучше, чем совсем ничего.

Она не сводила глаз с буфета, которым были забаррикадированы окна. Несмотря на все старания, невозможно было не слышать непрерывного постукивания, шуршания, назойливого шелеста и хлопанья крыльев.

– Давайте сегодня поужинаем пораньше, – сказал Нат. – Приготовим что-нибудь вкусненькое. Попросим маму. Пускай сделает что-нибудь, что мы все любим. Гренки с сыром – идет?

Он подмигнул жене, незаметно сделав ей знак. Он не мог видеть страх и тревожное ожидание на дочкином лице.

Он помогал готовить ужин и при этом напевал, насвистывал, нарочно гремел посудой, и ему показалось, что шарканье и стук стали тише, звучали не так настойчиво. Потом он поднялся наверх и прислушался, но суета и толкотня на крыше как будто прекратились.

«Тоже небось соображают, – подумал он. – Понимают, что сюда им не пробиться. Наверно, отправились в другое место. Зачем на нас зря тратить время?»

Ужин прошел спокойно, без происшествий, и только потом, когда они убрали со стола, они услышали новый, рокошущий звук, издавна хорошо знакомый.

Жена повернулась к нему, вспыхнув от радости.

– Самолеты! – сказала она. – Против птиц послали самолеты! Я все время говорила, что власти должны что-то такое предпринять. Теперь птицам конец. Это ведь стреляют из пушек? Ты слышишь?

Возможно, это и впрямь была оружейная пальба – где-то вдали от берега. Трудно сказать. Обстрел с самолетов или с военных кораблей мог бы дать результат, если бы чайки по-прежнему оставались в море, но сейчас они все переместились на сушу. Кто же станет бить по берегу, рисковать жизнью населения?

– Какое счастье – слышать самолеты, правда? – сказала жена.

Джил, которой передалось радостное возбуждение матери, стала вместе с Джонни подпрыгивать на месте:

– Самолеты прогонят птиц! Самолеты их всех постреляют!

И тут они услышали взрыв – примерно милях в двух, за ним второй, третий. Рокот моторов начал ослабевать; самолеты уходили в сторону моря.

– Что это было – бомбы? – спросила жена. – На птиц сбросили бомбы?

– Не знаю, – ответил Нат. – Не думаю.

Он не хотел говорить ей, что взрыв, который они слышали, – это крушение самолета. Значит, власти попытались выслать воздушную разведку; неужели там никто не понимает, что эта затея – чистое самоубийство? Что может самолет против птиц, бросающихся, как смертники, на пропеллеры, на фюзеляж? Может только сам рухнуть вниз. И если эти попытки делаются по всей стране, то во сколько жизней они обойдутся? Не иначе как там, наверху, кто-то окончательно потерял голову.

– Где самолеты, пап? – спросила Джил.

– Улетели обратно на базу. Ну а теперь живо спать!

Пока жена отвлеклась на свои привычные дела – раздевала детей у огня, стелила им простынки, укладывала, – он еще раз обошел дом и удостоверился, что щели повсюду плотно заделаны. Рокота самолетов не было слышно, оружейная пальба на море тоже прекратилась. «Пустая трата сил, – подумал Нат. – Много ли их можно уничтожить таким путем? И какой ценой?.. Правда, есть еще газ. Может, они попробуют распылять иприт, горчичный газ? Людей, конечно, предупредят заранее. Ясно одно: над этим сегодня бьются лучшие головы страны».

Эта мысль его немного успокоила. Он живо представил себе, как ученых, исследователей, технических специалистов, сотрудников всяких секретных лабораторий срочно собирают на совет; наверно, они уже принялись за работу. Решить подобную проблему не под силу ни правительству, ни штабным начальникам – тут уж ученым карты в руки, пускай они теперь распоряжаются.

«Только действовать придется без жалости, – думал он. – Придется рисковать людскими жизнями, если они пустят в ход газ. Там, где всего тяжелее, потерь будет больше. Пострадают и скот, и земля... Все будет заражено. Главное – не началась бы паника. Если люди начнут паниковать, терять голову... Правильно радио предупредило».

Наверху, в спальнях, все было тихо. Ни скрежета, ни стука в окно. Затишье в ходе битвы. Перегруппировка сил. Так это, кажется, называлось в сводках военных лет? Ветер, однако, не успокоился. Нат слышал гул ветра в дымоходах, слышал, как море бьется о берег. Скоро начнется отлив. Может, затишье наступило как раз в связи с отливом? Птицы явно повинуются какому-то закону, – должно быть, все дело именно в ветре, в чередовании приливов и отливов.

Он поглядел на часы. Было около восьми вечера. Пик последнего прилива миновал час назад. Этим и объяснялось затишье: птицы переходили в наступление только во время прилива. Вдали от моря, в центре страны, такая связь могла не проявляться, но здесь, на побережье, судя по всему, закон работал четко. Нат мысленно подсчитал, сколько у них в запасе времени. Шесть часов до следующей атаки. Как только начнется новый прилив, примерно в час двадцать ночи, птицы вернутся...

Он мог сделать одно из двух. Первое – дать всем отдых, себе, жене, детям, поспать сколько удастся, до часу, до двух. Второе – сходить посмотреть, как дела на ферме, узнать, работает ли там телефон, и если да, попробовать еще раз соединиться с коммутатором.

Он тихонько окликнул жену, которая как раз кончила укладывать детей. Она поднялась вверх на несколько ступенек, и он шепотом стал с ней советоваться.

– Только не уходи! – сразу же сказала она. – Ты не можешь уйти и бросить меня тут одну с детьми. Я этого просто не вынесу.

В ее голосе зазвучали истерические нотки. Он принялся утихомиривать ее и успокаивать.

– Ну хорошо, не волнуйся, подожду до утра. В семь мы уже будем знать сводку новостей. А утром, во время отлива, я попробую добраться до фермы, раздобуду хлеба, картошки, может, и молока.

Мозг его снова лихорадочно заработал, пытаясь предусмотреть все неожиданности. Коров на ферме вечером наверняка не подоили, и они, бедолаги, сейчас толпятся во дворе, ждут, а хозяйева сидят взаперти, с забытыми окнами, как и его семейство. Если, конечно, они успели позаботиться о своей безопасности. Он вспомнил, как фермер со смехом приглашал его пострелять чаек. Да уж, нынче не до охоты.

Дети спали. Жена, не раздеваясь, сидела на своем матрасе. Она не сводила с него встревоженных глаз.

– Что ты хочешь делать? – спросила она шепотом.

Он сделал ей знак молчать. Крадучись, стараясь ступать неслышно, он отворил дверь на заднее крыльцо и выглянул наружу.

Вокруг была беспросветная тьма. Ветер с моря дул еще неистовей, налетая ледяными порывами. Он запнулся на первой же ступеньке, шагнув через порог. Там грудой лежали птицы. Мертвые птицы были повсюду – под окнами, у стен. Самоубийцы, смертники, сломавшие себе шею. Они были везде, куда ни глянь. Только мертвые – ни признака живых. Живые улетели к морю, как только начался отлив. И теперь чайки снова качаются на волнах, как накануне днем.

Вдали на холме, где два дня назад работал трактор, что-то горело. Разбившийся самолет. Огонь с него перекинулся на соседний стог сена.

Он глядел на трупы птиц, и ему неожиданно пришло в голову, что если сложить их штабелем на подоконники, они послужат дополнительной защитой. Пусть небольшой, но все-таки. Нападающим птицам придется сперва расклевать и растащить мертвых, прежде чем они смогут как-то закрепиться на карнизах и подобраться к оконным стеклам. В темноте он взялся за работу. Его подташнивало: дотрагиваться до птиц было противно. Они еще не успели остыть и были все в крови. Перья слиплись от крови. Он чувствовал, как тошнота подступает к горлу, но работу не прекращал, с огорчением отмечая, что все стекла до единого в трещинах. Только ставни перекрыли птицам доступ внутрь.

Закончив затыкать кровавыми тушками особенно пострадавшие окна, он вернулся в дом и наново забаррикадировал кухонную дверь. Потом размотал бинты, мокрые от птичьей крови, и залепил царапины пластырем.

Жена сварила ему какао, и он с жадностью его выпил. Он смертельно устал.

– Полный порядок, – сказал он, улыбаясь. – Не волнуйся. Все обойдется.

Он улегся на матрац, закрыл глаза и сразу же уснул. Ему снились тревожные сны – он все время хотел ухватить какую-то ускользающую ниточку, вспомнить что-то, что упустил. Не доделал какую-то важную работу. Забыл какую-то меру предосторожности – все время о ней помнил, а потом забыл, и во сне пытался вспомнить и не мог. И почему-то все это было связано с горящим самолетом и стогом на холме. Однако он спал и спал, не просыпаясь. И только когда жена стала трясти его за плечо, он открыл глаза.

– Началось, – сказала она, всхлипнув. – Уже час как стучат. Я не могу больше их слушать одна. И еще чем-то ужасно пахнет, чем-то горелым.

И тут он вспомнил: он забыл подкинуть топлива в плиту. Она почти погасла, угли едва тлели. Он вскочил и зажег лампу. Птицы барабанили в окна и в двери, но сейчас его заботило не это. Пахло палеными перьями. Запах заполнил всю кухню. Он сразу сообразил, в чем дело. Птицы залетали в дымоход и пытались протиснуться вниз, к плите.

Он взял щепок, бумаги, сунул их в топку и принес бидон с керосином.

– Отойди! – крикнул он жене. – Придется рискнуть.

Он плеснул керосин в огонь. Пламя с ревом рванулось вверх, и из трубы в топку посыпались обугленные, почерневшие птичьи трупы.

Дети с плачем проснулись.

– Что случилось? – спросила Джил. – Почему дым?

У него не было времени отвечать. Он выгребал из топки птиц, сбрасывая их прямо на пол. Пламя продолжало гудеть; дымоход, конечно, может загореться, но делать нечего: только огонь способен отпугнуть живых птиц от трубы на крыше. Одно плохо – все нижнее колено забито тлеющими мертвыми...

Нат перестал прислушиваться к яростной атаке на окна и на двери – пускай сколько угодно хлопают крыльями, ломают себе клювы, расшибаются насмерть. В дом им все равно не прорваться. Надо Бога благодарить, что он с семьей живет в старом доме, с небольшими окнами, с толстыми стенами – не то что эти новые муниципальные постройки. Как-то там теперь люди, в этих хлипких строеньицах? Да поможет им небо...

– Перестаньте плакать! – прикрикнул он на детей. – Бояться нечего, прекратите реветь!

Он продолжал выгребать на пол обугленных, дымящихся птиц.

«Теперь им крышка, – говорил он себе, – огонь вместе с тягой сделают свое дело. Только бы дымоход не загорелся, тогда все обойдется. Убить меня мало. Надо было перед сном подкинуть угля в плиту. Знал ведь, что чего-то не доделал».

На фоне скрежета и треска ломающегося дерева вдруг привычно, по-домашнему, пробили кухонные часы. Три часа ночи. Надо вытерпеть еще часа четыре, чуть подольше. Он не мог точно высчитать пик прилива. Пожалуй, вода начнет спадать не раньше полвосьмого, без двадцати восемь.

– Разожги примус, – сказал он жене. – Вскипяти нам чаю, а детям свари какао. Что толку сидеть без дела?

Да, так и надо – чем-то ее занять, детей тоже. Надо двигаться, надо есть, пить; нельзя сидеть сложа руки.

Он выжидал, стоя у плиты. Пламя постепенно затухало. Но из дымохода в топку больше ничего не падало. Он пошуровал в нем кочергой, просунув ее как можно выше. Дымоход был свободен. Он вытер пот со лба.

– Ну-ка, Джил, – велел он дочке, – собери мне щепочек. Сейчас затопим как полагается.

Но девочка не трогалась с места. Широко раскрытыми глазами она смотрела на грудку обугленных птиц.

– Не обращай внимания, – сказал он. – Я их вынесу вон, когда плита разгорится как следует.

Опасность миновала. Больше ничего такого не случится, если поддерживать огонь круглые сутки.

«Надо будет утром на ферме прихватить топлива, – подумал он. – Наше на исходе. Как-нибудь исхитрюсь. Хорошо бы обернуться за время отлива. Вообще надо все стараться делать во время отлива. Просто приноровиться, и все».

Они выпили чай и какао, заедая хлебом с мясным паштетом. Нат заметил – хлеба осталось всего полбуханки. Ну, не беда.

– Чего вы стучите? – Маленький Джонни погрозил ложкой окну. – У, противные птицы! Не смейте стучать!

– Верно, сынок, – улыбнулся Нат. – Пропади они пропадом, бандитки! Надоели!

Теперь, когда очередная птица-смертник разбивалась за окном, в доме все ликовали.

– Еще одна, пап! – кричала Джил. – Еще одной конец!

– Так ей и надо, – подхватывал Нат, – одной негодяйкой меньше.

Вот так – и только так! Если сохранить эту бодрость, этот нужный настрой, продержаться до семи часов, когда начнут передавать новости, можно будет считать, что все идет неплохо.

– Дай-ка мне закурить, – сказал он жене. – Не так будет паленым пахнуть.

– В пачке всего две штуки, – вздохнула жена. – Я собиралась купить еще сигарет в кооперативе.

– Ну, дай одну. Вторую оставим на черный день.

Укладывать детей снова не имело смысла. Они бы все равно не уснули под этот стук и скрежет. Все сидели на матрацах, сдвинув в сторону одеяла; одной рукой Нат обнимал жену, другой дочку. Джонни мать взяла на колени.

– Надо отдать должное этим тварям, – сказал Нат, – упорства им не занимать. Другой на их месте давно бы плюнул, а эти и не думают!

Но восторгаться птичьим усердием пришлось недолго. Среди постукиваний, не умолкавших ни на минуту, послышалась новая резкая нота – будто на помощь собратьям явился чей-то куда более грозный клюв. Нат попытался вспомнить, каких он знает птиц, представить себе, кто бы это мог быть. Не дятел – у того стук более легкий и дробный. Это птица посерьезнее. Под ее клювом дерево может не выдержать и треснуть, как треснуло стекло. И тут он вспомнил: ястребы! Может, на смену чайкам прилетели ястребы? Или сарычи? И теперь расселись

по карнизам и орудуют и клювом, и когтями? Ястребы, сарычи, кобчики, соколы – он совсем упустил из виду хищных птиц. Забыл, на что они способны. До отлива еще целых три часа! Надо ждать – и постоянно слышать хруст дерева под мощными и беспощадными когтями...

Нат оглядел кухню в поисках мебели, которую можно было бы пустить на доски, чтобы дополнительно укрепить дверь. За окна он был спокоен – их загораживал буфет. Его смущала дверь. Он пошел наверх, но на площадке перед спальнями остановился и прислушался. Ему показалось, что из детской доносится постукивание птичьих лап. Значит, они уже там... Он приложил ухо к двери. Так и есть. Он слышал шелест крыльев и легкий топоток – птицы общаривали пол. В другой спальне их пока не было. Он зашел туда, стал вытаскивать мебель и громоздить ее на лестничной площадке на случай, если дверь в детской не выдержит. Чистая страховка, может, и не пригодится. К сожалению, забаррикадировать дверь было нельзя – она открывалась вовнутрь. Он мог только соорудить мебельное ограждение на площадке.

– Нат, спускайся! Что ты там делаешь? – крикнула из кухни жена.

– Сейчас иду! Навожу порядок, – прокричал он в ответ.

Он не хотел, чтобы она поднималась, не хотел, чтобы слышала стук птичьих когтей в детской, удары крыльев о дверь.

В половине шестого он предложил позавтракать – поджарить хлеба с беконом, хотя бы для того, чтоб не видеть растущую панику в глазах жены и успокоить начавших капризничать детей. Жена еще не знала, что наверху птицы. Спальня, к счастью, была не над кухней. Иначе нельзя было бы не услышать, как они там елозят, шуршат, долбят клювами пол. Как падают с идиотским бессмысленным стуком птицы-самоубийцы, доблестные смертники, которые влетали в комнату и расшибали голову о стены. И всё, наверно, серебристые чайки. Он хорошо знал их повадки. Безмозглые существа! Черноголовки – эти знают, что делают. Как и сарычи, и ястребы...

Он поймал себя на том, что смотрит на часы, следит за стрелками, медленно ползущими по циферблату. Если его теория неверна и птичья атака не прекратится со спадом воды, дело плохо. Нельзя пробыть весь день напролет без воздуха, без передышки, без запаса топлива, без чего там еще... Его мозг лихорадочно работал. Столько всего нужно, чтобы выдержать долгую осаду! Они не успели подготовиться как следует. И в городах, наверно, все же безопаснее. Надо попробовать, когда он будет на ферме, связаться по телефону с двоюродным братом – до него можно быстро доехать поездом... Или взять напрокат машину. Да, лучше так – взять машину в промежутки между приливами...

Ему вдруг отчаянно захотелось спать, но голос жены, которая громко звала его по имени, вывел его из забытья.

– Что такое? Что еще? – спросил он, встрепенувшись.

– Радио. Я смотрю на часы. Уже почти семь.

– Не крути ручку, – сказал он, впервые с раздражением. – Настроено на Лондон. Как стойт, так и надо.

Они подождали еще. Кухонные часы пробили семь. Радио молчало. Никаких сигналов времени, никакой музыки. Они ждали до четверти восьмого, потом переключились на развлекательную программу. Результат тот же. Молчание.

– Вчера, наверно, объявили перерыв не до семи, а до восьми, – заметил Нат. – Мы могли слышаться.

Они оставили приемник включенным. Нат подумал о батарее, на которой работало радио: интересно, на сколько ее хватит. Жена обычно отдавала ее перезарядить, когда ездила в город за покупками. Если батарея сядет, они не услышат никаких сообщений.

– Уже светает, – прошептала жена. – Хоть и не видно, но я чувствую. И птицы вроде поутихли.

Она была права. Упорный, назойливый скрежет с каждой минутой убывал. Постепенно слабело шарканье, толкотня, борьба за место на крыльце, на подоконниках. Близился отлив. К восьми часам снаружи не доносилось больше ни звука; слышался только вой ветра. Дети, убаюканные наступившей наконец тишиной, уснули. В половине девятого Нат выключил радио.

– Что ты делаешь? Мы пропустим известия! – воскликнула жена.

– Не будет больше никаких известий, – сказал Нат. – Придется надеяться только на себя.

Он подошел к двери и принялся разбирать баррикады. Затем отодвинул засов и, отшвырнув ногой мертвых птиц, жадно вдохнул холодный свежий воздух. В запасе у него было шесть рабочих часов, и он знал, что силы надо беречь для главного и не растрачивать их попусту. Еда, свет, топливо – вот самое необходимое. Если удастся обеспечить это в нужном количестве, они продержатся и следующую ночь.

Он прошел в огород и сразу же увидел птиц. Чайки, должно быть, снова улетели к морю, чтобы вволю покормиться и покачаться на волнах, готовясь к очередной атаке. Но птицы, живущие на суше, никуда не улетали. Они сидели и ждали. Повсюду – на изгородях, на земле, на деревьях, в поле – неподвижно сидели бесчисленные полчища птиц.

Он дошел до края огорода. Птицы не шевелились. Они молча следили за ним.

«Я должен раздобыть съестного, – сказал он себе. – Я должен добраться до фермы и достать еды».

Он вернулся в дом, проверил все окна и двери. Потом поднялся наверх и прошел в детскую – там было пусто, только на полу валялись мертвые птицы. Живые были снаружи, в полях, на деревьях. Он спустился по лестнице вниз.

– Схожу на ферму, – сказал он.

Жена кинулась к нему и обхватила его руками. В пролете кухонной двери она успела увидеть птиц.

– Возьми и нас, – взмолилась она, – мы не можем оставаться одни. По мне, лучше умереть, чем быть тут без тебя.

Подумав, он кивнул:

– Ладно, собирайтесь. Захвати корзины и коляску Джонни. Мы ее загрузим.

Все хорошенько закутались, чтобы защититься от ледяного ветра, надели шарфы, перчатки. Жена посадила Джонни в коляску. Нат взял за руку Джил.

– Птицы, – захныкала Джил. – Там в поле птицы.

– Они нас не тронут, – сказал он, – сейчас светло.

Через поле они направились к перелазу. Птицы по-прежнему сидели неподвижно. Они ждали, повернув головы по ветру.

Добравшись до поворота на ферму, Нат остановился и велел жене с детьми подождать его в укрытии под изгородью.

– Но я хочу повидать миссис Триг, – запротестовала жена. – Столько всего можно у нее попросить, если они вчера ездили на рынок. Не только хлеба...

– Подожди здесь, – прервал ее Нат. – Я скоро вернусь.

Коровы мычали и беспокойно бродили по двору. Он заметил дыру в заборе – ее проделали овцы, чтобы попасть в сад перед домом; теперь все они сгрудились там. Ни из одной трубы не шел дым. Ната охватило дурное предчувствие. Брать на ферму жену и детей было нельзя.

– Не спорь, – сказал он жестко жене. – Делай, как тебе говорят.

Она отошла с коляской туда, где можно было спрятаться от ветра.

Он пошел на ферму один. С трудом пробрался сквозь стадо мычащих коров с переполненным выменем, которые растерянно ходили взад-вперед. У ворот он увидел машину; почему-то она была не в гараже, а на улице. Окна в доме были разбиты. Во дворе и вокруг дома валялись мертвые чайки. Другие птицы сидели на деревьях за домом и на крыше. Они сидели совершенно неподвижно. Они следили за ним.

Тело Джима он нашел во дворе – вернее, то, что от него осталось. После того как над ним поработали птицы, по нему еще прошли копытами коровы. Ружье было брошено рядом. Входная дверь была заперта на засов, но он просунул руку сквозь разбитое стекло, поднял оконную раму и влез внутрь. Тело Трига он обнаружил поблизости от телефона. Судя по всему, фермер пытался созвониться с коммутатором, когда на него налетели птицы. Трубка болталась на шнуре, телефонный аппарат был сорван со стены. Никаких следов миссис Триг видно не было. Должно быть, она наверху. Есть ли смысл подниматься? Нат почувствовал дурноту – он заранее знал, какое зрелище его ожидает.

«Слава богу, хоть детей у них нет», – подумал он.

Он все же заставил себя пойти наверх, но, дойдя до середины лестницы, повернулся и стал спускаться. Он успел увидеть ноги миссис Триг. Она лежала на пороге спальни. Рядом он разглядел мертвых чаек и сломанный зонт.

«Я уже ничем не смогу им помочь, – подумал Нат. – У меня пять часов времени, даже меньше. Они меня не осудили бы. Надо поскорей собрать все нужное, сложить, увезти...»

Он вернулся к тому месту, где оставил жену и детей.

– Я хочу загрузить машину, – сказал он. – Возьму уголь, запасусь керосином. Потом переправим все это домой и вернемся, заберем что-нибудь еще.

– А что там Триги? – спросила жена.

– Нету их. Наверно, уехали.

– Давай я пойду с тобой, помогу.

– Не надо. Там бог знает что творится. Повсюду коровы, овцы. Подожди здесь, я подгоню машину. Вы все сможете сесть.

Он кое-как дал задний ход и вывел машину со двора на дорогу. Отсюда жена и дети не могли увидеть Джима.

– Никуда не двигайтесь, – распорядился он. – А коляску брось. Я ее потом привезу. Сейчас загружу машину.

Жена не сводила с него глаз. Он решил, что она все поняла, иначе снова предложила бы пойти вместе, поискать у Тригов хлеб и другую провизию.

Они проделали три рейса между своим домом и фермой, прежде чем он наконец решил, что запаса всем необходимым. Его поразило, какое множество вещей вдруг понадобилось. Самое главное – обшивка для окон. Он обшарил всю ферму в поисках досок, чтобы понадежнее укрепить окна. Свечи, керосин, гвозди, консервы... список был бесконечный. Кроме того, он успел подоить трех коров. Остальные, бедолаги, продолжали метаться по двору с жалобным мычанием.

Сделав последний рейс, он доехал до автобусной остановки, вылез из машины и зашел в телефонную будку. Несколько минут он простоял, нетерпеливо нажимая на рычаг. Без толку: телефон не работал, гудка не было. Он взобрался на пригорок и оглядел окрестность. Ни малейших признаков жизни, безлюдные, пустынные поля – одни птицы кругом. Птицы сидели и ждали. Некоторые даже дремали, втянув голову и уткнувшись клювом в перья.

«Странно как они себя ведут. Хоть бы кормились, что ли, а то сидят как истуканы», – подумал он.

И вдруг его осенило: да они же сыты! Сыты по горло. Ночью наелись до отвала. Вот теперь и сидят...

Над муниципальными домами не поднимался ни единый дымок. Он вспомнил о детях, которые вчера бежали через поле. «Надо было предвидеть, – подумал он с горечью. – Надо было забрать их с собой».

Он поднял голову к небу. Небо было серое, бесцветное. Восточный ветер оголил и пригнул к земле почерневшие деревья. И только птицам холод был нипочем; птицы сидели и ждали.

«Вот бы когда по ним стрелять, – подумал Нат. – Сейчас они отличная мишень. Взяться бы за них по всей стране! Выслать самолеты, опрыскать их ипритом... Куда смотрят власти, чем они только думают? Они-то должны знать, должны соображать!»

Он вернулся к машине и сел за руль.

– Давай проедем побыстрее, – шепнула ему жена. – Там у калитки лежит почтальон. Я не хочу, чтобы Джил видела.

Он прибавил скорость. Маленький «моррис», дребезжа и подпрыгивая, понесся по дороге. Дети завизжали от радости.

– Прыг-скок, прыг-скок! – выкрикивал со смехом Джонни.

Было три четверти первого, когда они добрались до дому. Оставался всего час до прилива.

– Надо бы наскоро пообедать, – сказал Нат жене. – Себе и детям ты что-нибудь разогрей, может, супу из того, что привезли. У меня на еду уже нет времени. Надо поскорей разгрузить машину.

Он перенес все в дом. Потом можно постепенно разобрать, будет чем занять руки в долгие томительные часы, которые им предстоят. Но основное сейчас – это окна и двери.

Он обошел дом и тщательнейшим образом проверил каждое окно, каждую дверь. Даже забрался на крышу и забил досками отверстия всех дымоходов, кроме кухонного. Холод был лютый, он едва выдерживал, но работу надо было довести до конца. Время от времени он взглядывал на небо – не покажутся ли самолеты. Нет, ничего. Орудую молотком, он не переставал костить власти за бездействие.

– Вечная история, – бормотал он. – Всегда бросают в беде. Все кувыркком, неразбериха с самого начала. Ни плана, ни организации. А мы здесь вообще не в счет. Что им до нашего захолустья? В городах, в центре – там да. Там уже небось и газ в ход пустили, и самолеты нашлись. А нам остается только сидеть и ждать, что будет.

Покончив с дымоходами наверху, он выпрямился и взглянул на море. Там вдали что-то двигалось. Что-то серо-белое мелькало среди бурунов.

– Морской флот! Вот это да! – воскликнул он. – Вот кто никогда не подведет! Они уже подходят, сейчас свернут в залив...

Напрягая слезящиеся глаза до боли, он всматривался в морскую даль. Нет, он ошибся. Это были не корабли. За флотилию он принял чаек. Чайки массаи поднимались с моря. И навстречу им с полей, взъерошив перья, взлетали бесчисленные стаи птиц. Все вместе разворачивались в небе, крыло к крылу, сомкнутым строем.

Начинался прилив.

Нат спустился по приставной лестнице и вернулся на кухню. Жена и дети сидели за столом. Было уже начало третьего. Он запер дверь на засов, забаррикадировал ее мебелью и зажег лампу.

– Ночь пришла! Спать пора! – сказал Джонни.

Приемник был включен, но, как и прежде, молчал.

– Я крутила, крутила, пыталась хоть за границу поймать – нигде ничего, – сказала жена.

– Может, повсюду такое бедствие, – сказал Нат. – По всей Европе.

Она налила ему тарелку супа, привезенного с фермы, отрезала ломоть хлеба, позаимствованного там же, и полила его мясной подливкой.

Ели молча. Подливка с хлеба потекла у маленького Джонни по подбородку прямо на стол.

– Смотри, как ты ешь, Джонни! – сказала Джил. – Когда ты научишься рот вытирать?

И опять этот стук в окна и двери. Шелест, шорох, возня, борьба за место на подоконниках. И глухой удар о крыльцо первой чайки-самоубийцы.

– Хоть бы Америка помогла! – сказала жена. – Американцы ведь наши союзники! Наверняка они что-то сделают!

Нат промолчал. Доски на окнах крепкие, в дымоходах не хуже. В доме есть запас еды, топлива, все необходимое, можно продержаться несколько дней. После обеда он разберет все, что привез, разложит по местам, рассортирует. Жена ему поможет, дети тоже. Это займет их часов до восьми, а без четверти девять начнется отлив, и тогда он велит всем лечь и потеплей укрыться, чтобы спокойно поспать часов до трех утра.

Он придумал, как еще надежнее укрепить окна: натянуть поверх наружных досок колючую проволоку. Он захватил на ферме целый моток. Плохо только, что работать придется в темноте, пользуясь ночным затишьем, между девятью и тремя часами. Жаль, что это пришло ему в голову так поздно. Но ничего, пока жена и дети будут спать, надо постараться это сделать.

Окна осаждали теперь птицы помельче. Он слышал дробное негромкое постукивание клювов и шелест легких крылышек. Ястребы окнами не интересовались. Их силы сейчас были брошены на дверь. И под треск ломавшегося дерева Нат думал о том, сколько миллионов лет в этих жалких птичьих мозгах, за разящими наотмашь клювами и острыми глазами, копился всеокрушающий инстинкт ненависти, который теперь прорвался наружу и заставляет птиц истреблять род человеческий с безошибочным автоматизмом умных машин.

– Я, пожалуй, выкурю последнюю сигарету, – сказал он жене. – Вот досада – был ведь на ферме, а про сигареты не подумал.

Он достал сигарету, включил молчащее радио. Потом бросил пустую пачку в огонь и смотрел, как она горит.

Перевод А. Ставиской

Монте-Верита

Впоследствии стало известно, что там никого не нашли. Ни живых, ни мертвых. Вообще никаких следов. Подгоняемые яростью и страхом, люди из долины взяли штурмом зловещие стены, которые долгие годы оставались для них неприступными, – и были встречены гробовой тишиной. Сбитые с толку, доведенные до исступления видом пустых келий и безлюдного двора, они дали выход накопившейся злобе, прибегнув, как бесчисленные поколения крестьян на протяжении столетий, к простейшему, испытанному средству: спалить дотла и разорить.

Пожалуй, это был единственно возможный ответ на неразрешимую загадку. И только выплеснув гнев, люди осознали всю тщетность и бессмысленность содеянного. Почерневшие стены, которые дымились на фоне усыпанного звездами холодного предрассветного неба, в конце концов оказались сильнее.

На место были сразу отряжены поисковые партии. Скалолазы, имевшие опыт восхождения на голые отвесные вершины, прочесали весь кряж с севера на юг и с востока на запад – безрезультатно.

На этом история заканчивается. Больше ничего узнать не удалось.

Двое парней из деревни помогли мне перенести тело Виктора в долину; его похоронили у подножья Монте-Верита. Сознāju, я ему завидовал. Он упокоился навеки, и его иллюзии остались при нем.

Я же вернулся к прежней жизни. Второй раз на моем веку война перетряхнула мир. И теперь, когда мне скоро семьдесят, я распростился почти со всеми собственными иллюзиями. Однако я часто думаю о Монте-Верита и бьюсь над разгадкой ее тайны.

У меня есть три гипотезы; возможно, ни одна не соответствует действительности.

Первая, самая фантастическая, заключается в следующем. Виктор был прав, продолжая упорно верить, что обитатели Монте-Верита обрели некую форму бессмертия, – и когда проби́л час, они, как ветхозаветные пророки, нашли убежище на небесах. Греки верили в бессмертие своих богов, иудеи – в бессмертие Илии, а христиане – в вознесение Спасителя. Через всю долгую историю религиозного легковерия и предрассудков проходит постоянное убеждение, будто немногие избранные могут достичь таких высот святости, что побеждают смерть. Эта вера особенно сильна в странах Востока и в Африке; и только наша избалованная европейская ментальность не желает смириться с беспричинным исчезновением того, что можно потрогать руками, – созданий из плоти и крови.

Религиозные наставники расходятся во мнениях, когда пытаются выявить разницу между добром и злом: что одному кажется чудом, другому представляется черной магией. Пророков-праведников побивают камнями, но та же участь постигает и колдунов. То, что в одну эпоху объявляют богохульством, становится святым речением в следующую, а сегодняшняя ересь может завтра превратиться в церковный догмат.

Я не считаю себя мыслителем, никогда не грешил философией. Но я твердо знаю еще со времен моей альпинистской юности, что в горах мы ближе, чем где-либо еще, к той высшей Сущности – как бы ее ни называть, – которая вершит наши судьбы. Все великие откровения провозглашались с горных вершин, и пророки всегда поднимались на горы. Святые и мессии в заоблачных высях присоединялись к праотцам. И порой я склонен верить, что в ту ночь на Монте-Верита опустилась чудотворящая десница и перенесла ее обитателей туда, где они обрели защиту.

Да, я видел эту гору и полную луну над ней, видел в небе раскаленное полуденное солнце. Но все, что я видел, слышал и чувствовал тогда, воспринималось как нечто из другого мира: озаренный лунным блеском склон, пение, доносившееся из-за запретных стен, гигантская чаша

пропасти между пиками-близнецами, беззаботный юный смех и бронзовые от загара руки, вздетые к солнцу.

Вспоминая все это, я начинаю верить в бессмертие...

Но потом – может быть, оттого, что мои восхождения остались в прошлом и горы утратили магическую власть над стареющей памятью и дряхлеющим телом, – потом я говорю себе, что глаза, в которые я глядел в тот последний день на Монте-Верита, были живые, человеческие глаза, и руки, которых я касался, были руки из плоти.

И даже сказанные тогда слова были человеческими словами: «Не беспокойся за нас. Мы знаем, что нам делать». И последнее печальное напутствие: «Не отнимай у Виктора его иллюзии».

И тут возникает вторая моя гипотеза. Я вижу, как на горы опускается ночь, вижу звезды, вижу редкое мужество души, нашедшей наимудрейший путь для себя и для всех остальных: в то время как я шел обратно к Виктору, а жители долины готовились двинуться на монастырь, горстка верующих – искателей Истины – спустилась в расщелину между пиками и исчезла там без следа.

Третья версия приходит на ум, когда я даю волю цинизму и скепсису и, возвращаясь в свою холостяцкую нью-йоркскую квартиру после затянувшегося обеда с друзьями, которые мало что для меня значат, особенно остро ощущаю свое одиночество.

Я гляжу из окна на фантастические огни и краски моего полусказочного мира, забывшего, что такое доброта и спокойствие, и начинаю тосковать по тишине и пониманию. И тогда я убеждаю себя, что обитатели Монте-Верита задолго до рокового часа готовились – не к уходу, не к смерти, не к бессмертию, но к возвращению в реальный мир людей. Тайком, украдкой они спустились в долину незамеченными и, смешавшись с тамошними жителями, пошли каждый своим путем. Глядя вниз, на суету и столпотворение большого города, я думаю: вдруг кто-то из них сейчас идет по шумной, людной улице, спускается в метро, и если я сам выйду из дома и стану всматриваться в лица прохожих, я, может быть, отыщу знакомое лицо и получу ответ на свой вопрос.

Иногда во время какой-нибудь поездки внешность случайного попутчика дает толчок воображению: замечаешь необычную посадку головы, что-то странно притягивающее во взгляде... Таких людей подмывает разговорить, вовлечь в беседу, но у них сразу же – или мне это только кажется? – срабатывает инстинкт самозащиты. Минутная пауза – и их уже нет. Где угодно – в поезде, на многолюдной улице – передо мной может возникнуть виденье чистой, неземной красоты, и хочется протянуть руку и тихо, скороговоркой спросить: «Вы часом не из тех, кого я видел на Монте-Верита?» Но я не успеваю. Они проходят, растворяются в толпе, и я остаюсь один на один со своей недоказанной третьей гипотезой.

Я старею: как я уже говорил, мне скоро семьдесят; память становится короче, история Монте-Верита с годами покрывается туманом, представляется все менее правдоподобной. И чем дальше, тем острее я чувствую надобность запечатлеть все на бумаге, прежде чем окончательно откажет слабеющая память. Возможно, среди тех, кто будет читать эти строки, найдется такой же альпинист-любитель, каким был в молодости я сам, и он предложит свое собственное толкование описанных мною событий.

Хочу предупредить: в Европе несть числа горным вершинам и наверняка на карте обнаружится не одна Монте-Верита – в Швейцарии, во Франции, в Италии, в Испании, в Тироле. Я предпочел бы не обозначать точное место, где находится моя Монте-Верита. В наши дни, после двух мировых войн, неприступных гор уже не осталось; нынче можно подняться на любую. Риск минимален, если соблюдать должную осторожность. И моя Монте-Верита, несмотря на крутизну, снег и лед, была всегда досягаема. Ведущую к вершине тропу даже поздней осенью в силах был одолеть любой физически крепкий, мало-мальски тренированный человек. От вос-

хождения альпинистов удерживал не страх перед самим маршрутом, а безотчетный, суеверный ужас.

Не сомневаюсь, что сегодня моя Монте-Верита нанесена на карту вместе с прочими одноименными пиками. На подходах к вершине наверняка построили кемпинги, в деревушке на восточном склоне открыли гостиницу, а на подъеме работает фуникулер. Но как бы то ни было, я хочу надеяться, что люди не успели окончательно все запакоствовать; что в полночь, когда восходит луна, облик горы пребывает неизменным, нетронутым; и что зимой, когда снег и лед, штормовой ветер и облачность препятствуют восхождению, Монте-Верита, обратив к солнцу свою раздвоенную вершину, безмолвно и с состраданием смотрит вниз, на незрячий мир.

Мы вместе выросли, Виктор и я. Вместе учились в Мальборо, в один год поступили в Кембриджский университет. В студенческие дни я был его ближайшим другом, и если мы стали реже видеться после окончания, это объяснялось тем, что жизнь наша сложилась по-разному: моя служба предполагала постоянные выезды за границу, а Виктор был по горло занят своим поместьем в Шропшире. Однако с каждой встречей дружба наша возобновлялась, и расставания на ней не сказывались.

Работа у меня и у Виктора поглощала львиную долю времени, однако мы оба располагали деньгами и на досуге имели возможность предаваться своему излюбленному занятию – альпинизму. Сегодняшний спортсмен, оснащенный и подготовленный по всем правилам науки, счел бы наши экспедиции чисто любительскими – я говорю об идиллической поре до Первой мировой войны, – и задним числом я склонен с ним согласиться. Действительно, вряд ли можно назвать профессионалами двух молодых людей, которые, отчаянно цепляясь руками и ногами, учатся карабкаться по скалам где-нибудь в Камберленде или Южном Уэльсе, а позднее, набравшись опыта, решаются на более рискованные восхождения в горных массивах Южной Европы.

С годами мы избавились от безрассудства, научились считаться с погодой и относиться к горам с уважением – не как к врагу, которого надо осилить, а как к союзнику, чье расположение нужно заслужить. Нами двигала не тяга к опасности, не потребность расширить список наших побед. Мы ходили в горы потому, что нас обуревало желание завоевать предмет нашей любви.

Горы еще капризнее, еще непостояннее, чем женщины; они приносят и радость, и страх, и ни с чем не сравнимое чувство покоя. Зов гор нельзя объяснить. Возможно, в былые времена так проявлялось извечное стремление человека приблизиться к звездам. Сегодня он может преспокойно купить билет на самолет и почувствовать себя хозяином неба. Но под ногами у него не будет твердой скалы, в лицо ему не будет дуть горный ветер, и он не приобщится к тишине, какая бывает только в горах.

Горы подарили мне лучшие часы моей молодости. Эту жажду растратить, расплескать всю энергию, выкинуть из головы все мысли, стать ничем, крохотным пятнышком на фоне гор и неба мы с Виктором именовали горной лихорадкой. После успешного подъема Виктор приходил в себя быстрее, чем я. Он внимательно, методично осматривался вокруг, уже планируя спуск, пока я, замороженный чудом, продолжал грезить. Испытание на выносливость мы выдержали, вершина была побеждена, но предстояло завоевать еще нечто неподдающееся определению. Желанный опыт так и остался для меня недоступным; и я подозревал, что виноват в этом сам. Но все равно это было прекрасное время. Лучшее в моей жизни...

Однажды летом, вскоре после деловой поездки в Канаду, я получил от Виктора письмо. Он был в приподнятом настроении – сообщал, что помолвлен и в ближайшее время женится. Его невеста – само очарование. Он спрашивал, не соглашусь ли я быть шафером на их свадьбе. Я сразу ответил как положено – выразил искреннюю радость, поздравил его и от всей души пожелал счастья. Однако сам я, убежденный холостяк, с грустью подумал, что потерял еще одного друга, на сей раз лучшего, который теперь увязнет в семейном болоте.

Невеста Виктора – валлийка – жила в Уэльсе, недалеко от его поместья в Шропшире. «Ты не поверишь, – писал он в следующем письме, – она ни разу не была на Сноудоне. Придется мне взять ее образование в свои руки». Помню, я подумал тогда: трудно представить занятие более неблагоприятное, чем тащить в горы совершенно не тренированную девушку.

В третьем письме Виктор извещал, что они с невестой приезжают в Лондон – скоро свадьба, много чего надо купить и сделать. Я пригласил их обоих позавтракать. Не знаю, что я ожидал увидеть. Мне рисовалась невысокая, крепенькая фигурка, темные волосы, живые глаза... И уж конечно не та ослепительная красавица, которая сделала шаг мне навстречу и, протянув руку, представилась: «Анна».

До Первой мировой войны молодые женщины редко пользовались косметикой. Губы у Анны были не накрашены; золотистые волосы волнами спускались на уши. Помню, я глядел на нее не моргая, пораженный ее невероятной красотой. Виктор довольно рассмеялся:

– Ну, что я тебе говорил?

Мы сели за столик, быстро освоились и разговорились. Свойственная Анне сдержанность придавала ей особое обаяние, но, зная, что я самый близкий друг Виктора, она приняла меня с первой минуты – и, кажется, я ей понравился.

Да, подумал я, Виктору чертовски повезло. Все мои опасения насчет его брака рассеялись – достаточно было увидеть Анну. Примерно в середине завтрака разговор повернул на горы – как всегда, когда мы с Виктором оказывались вместе.

– Итак, – обратился я к Анне, – вы выходите замуж за человека, обуреваемого страстью лазать по горам, а сами не поднимались даже на Сноудон, который у вас под боком.

Она чуть заметно нахмурилась и не сразу ответила:

– Верно. Я никогда там не была.

Меня удивило какое-то колебание в ее голосе.

– Но почему? Родиться валлийкой и не побывать на самой высокой вершине Уэльса – это граничит с преступлением.

Виктор решил вмешаться.

– Анна трусиха, – объяснил он. – Каждый раз, когда я предлагаю ей пойти в горы, она под любым предлогом увиливает.

Анна быстро повернулась к нему:

– Нет, Виктор, не в этом дело. Ты не понимаешь. Я вовсе не боюсь.

– Что же тогда?

Он нежно положил ладонь на руку Анны. Я видел, как он ее обожает, и не сомневался, что они будут счастливы. Анна смотрела на меня через стол, словно прощупывая взглядом, и я каким-то шестым чувством догадался, что она скажет.

– Горы очень требовательны, – проговорила она. – Им нужно отдавать все до последнего. Таким, как я, лучше держаться от гор подальше.

Я понял, что она имеет в виду, – тогда, по крайней мере, мне так показалось. Но они с Виктором были влюблены друг в друга, и я считал, что было бы чудесно, если бы она разделила с мужем его увлечение, преодолев свой изначальный страх.

– Вот и отлично, – сказал я. – Вы совершенно правильно к этому подходите. Горы действительно требуют полной отдачи, но вдвоем вы сможете все преодолеть. Виктор не станет переоценивать ваши силы. Он гораздо осторожнее меня.

Анна улыбнулась и высвободила руку.

– Вы оба большие упрямы, – возразила она. – И оба не понимаете. Я родилась в горах. Я знаю, о чем говорю.

Тут в дверях появился наш с Виктором общий приятель, мы познакомили его с Анной, и разговор о горах сошел на нет.

Через полтора месяца отпраздновали свадьбу, и клянусь – я никогда не видел невесты прекраснее. У Виктора было бледное от напряжения лицо; думаю, он понимал, что взял на себя великую ответственность – сделать эту девушку счастливой.

До свадьбы, пока они жили в Лондоне, я часто виделся с Анной, и хотя Виктор ни о чем не подозревал, я влюбился так же пылко, как он. Меня влекли к ней не сами по себе ее очарование и красота, а необычное сочетание того и другого, какой-то исходивший от нее внутренний свет. Я боялся только, что Виктор, простой и открытый по натуре, покажется Анне излишне легкомысленным и шумным и это может заставить ее, как улитку, замкнуться в себе. Впрочем, они несомненно составляли прекрасную пару. Провожая новобрачных после приема, устроенного в их честь пожилой теткой Анны, заменившей ей покойных родителей, я, растроганный, уже мысленно видел, как я буду гостить у них в Шропшире и стану крестным отцом их первенца.

Однако вскоре после их бракосочетания служебные дела срочно потребовали моего отъезда, и лишь в декабре я получил первую весточку от Виктора, который звал приехать к ним на Рождество. Я охотно принял приглашение.

Они были женаты уже восемь месяцев. Виктор был в отличной форме и выглядел счастливым, Анна же показалась мне еще красивее. Я не мог отвести от нее глаз. Меня встретили чрезвычайно радушно, и я провел блаженную неделю в прекрасном старинном доме Виктора, хорошо мне знакомом по прежним визитам. Их брак оказался удачным – это стало очевидно с первой минуты. И если в перспективе еще не просматривался наследник, огорчаться не стоило – впереди у них была масса времени.

Мы совершали прогулки по владениям Виктора, немного охотились, вечерами читали и пребывали в полном довольстве и согласии.

Я заметил, что Виктор приноровился к более спокойному темпераменту Анны, хотя слово «спокойствие» вряд ли полностью передает то особое свойство, которому трудно подобрать название и которое я определил бы как тихость. Эта тихость шла из глубин ее естества и завораживала все вокруг. Мне всегда нравился шропширский дом с его высокими потолками и множеством просторных комнат, со старомодными решетчатыми окнами, и я любил сюда приезжать, но теперь атмосфера умиротворения стала еще полнее, еще ощутимее. Дом окутывала необычная, непроницаемая тишина, приносившая душе больше, чем просто покой.

Странно, что, пытаясь восстановить в памяти эту неделю, я не могу припомнить никаких традиционно рождественских событий. Я не помню, что мы ели, что пили, ходили или нет к церковной службе, – думаю, да: Виктор как местный сквайр не должен был пренебрегать условностями. Запомнилось мне лишь удивительное умиротворение наших совместных вечеров, при закрытых ставнях, перед горящим камином. Недавняя деловая поездка, очевидно, вымотала меня больше, чем я предполагал, и теперь, в доме у Виктора и Анны, мне хотелось одного – расслабиться и отдаться во власть благословенной, благотворной тишине.

Через несколько дней я заметил в доме и другую перемену: там стало гораздо меньше вещей. Исчезли многочисленные безделушки, куда-то делась антикварная мебель, доставшаяся Виктору в наследство от предков. Просторные комнаты стояли теперь полупустые, а в большом зале, где мы проводили вечера, не осталось ничего, кроме длинного обеденного стола и кресел у камина.

Вероятно, изменения пошли на пользу, и дом от них только выиграл. Однако я считал немного странным, что инициатор этих перемен – женщина. Обычно молодая хозяйка первым делом приобретает новые портьеры, ковры и прочее, старается, чтобы в холостяцком доме чувствовалась женская рука. Я решил при случае выяснить мнение Виктора.

Он рассеянно огляделся вокруг и сказал:

– Да, мы избавились от лишнего хлама. Анна так захотела. Она против культа собственности. Распродаж мы не устраивали. Просто все роздали.

Мне отвели гостевую комнату, которую я занимал и раньше, и она в виде исключения сохранила свой прежний вид. Там было все, к чему я привык: горячая вода, утренний чай, печенье, сигаретница – все говорило о заботе и внимании хозяйки дома.

Однажды, проходя по коридору к лестничной площадке на верхнем этаже, я заметил, что дверь в комнату Анны, всегда закрытая, приотворена. Я знал, что это бывшая спальня матери Виктора. В свое время там стояла великолепная старинная кровать с пологом и другая массивная, добротная мебель – в духе общего убранства дома. Праздное любопытство заставило меня мимоходом заглянуть внутрь. Мебели в комнате не было. Ни занавесей на окнах, ни ковра на полу. На голых досках стояли стол, стул и походная кровать, застеленная одним легким одеялом. Окна были раскрыты настежь, хотя надвигались сумерки. Я пошел прочь и на лестнице столкнулся с Виктором. Он мог заметить, как я заглядываю в комнату Анны, и мне не захотелось юлить и изворачиваться.

– Извини за вторжение, – сказал я. – Эта комната сейчас совсем не похожа на то, что было при жизни твоей матушки.

– Да, Анна не выносит финтифлюшек, – коротко ответил он и добавил: – Ужинать идешь? Анна послала меня за тобой.

Мы вместе спустились вниз и больше не возвращались к этому разговору. Однако спартанская спальня Анны почему-то не шла у меня из головы. Я сравнивал ее со своей – удобной и уютной, – и меня не покидало ощущение собственной ущербности. Очевидно, Анна имела повод считать, что я не в состоянии обойтись без привычных мелочей и прочих излишеств, без которых она обходилась с легкостью.

В тот вечер, пока мы сидели перед камином, я внимательно наблюдал за ней. Виктор куда-то отлучился, и мы с Анной на короткое время остались вдвоем. Как обычно в ее присутствии, на меня вместе с тишиной снизошел умиротворяющий покой. Он окутывал и обволакивал меня – ничего похожего я прежде не испытывал в моей однообразной, косной жизни. Атмосфера покоя исходила от Анны, но порождалась она иным, нездешним миром. Я хотел сказать ей об этом и спешно подыскивал слова. Наконец я решился:

– Вы преобразили этот дом. Почему? Я не понимаю.

– Не понимаете? – В ее голосе сквозило удивление. – Я думала – вы поймете. Мы ведь оба ищем одно и то же.

Почему-то мне вдруг стало страшно. Тишина теперь чувствовалась сильнее, становилась гнетущей.

– Не знаю, ищу ли я что-либо вообще...

Мои слова повисли в воздухе. Повинуясь какой-то силе, я оторвал взгляд от огня и теперь не мигая смотрел в глаза Анне.

– А разве нет? – спросила она.

Помню, мне сделалось не по себе. Я впервые увидел себя со стороны: жалкий, никчемный человечешко, который мечется взад-вперед по свету, заключая бессмысленные сделки с такими же ничтожествами, как он сам. И все это ради того, чтобы быть сытым, одетым и жить в довольстве до гробовой доски.

Я подумал о своем собственном доме в Вестминстере, который я так старательно выбирал, а потом так продуманно обставлял. Я увидел свои книги, картины, коллекцию фарфора, двух преданных слуг, которые пеклись обо мне, поддерживали чистоту и порядок в ожидании моего возвращения. До сих пор дом со всем его содержимым неизменно радовал меня, но внезапно его ценность показалась сомнительной.

– Что же вы мне советуете? – спросил я. – Продать все, что у меня есть? Бросить работу? А потом?

Вспоминая наш обмен репликами, я недоумеваю: чего ради я задавал эти вопросы? Анна намекнула, будто бы я что-то ищущу, а я, вместо того чтобы поспорить или согласиться, ни с

того ни с сего стал спрашивать, не избавиться ли мне от того, что я имею. Я не осознал тогда важности сказанного. Помню только, что меня охватило смятение, между тем как минуту назад я был совершенно спокоен.

– Ваш ответ может не совпасть с моим, – сказала Анна. – Да и в своем собственном я еще не уверена. Со временем буду знать.

Глядя на нее, я подумал: такой женщине, с ее красотой, безмятежностью, душевной тонкостью, ответа долго искать не придется. Чего ей не хватает? Разве что детей – и ее неудовлетворенность, возможно, объясняется именно этим...

Вернулся Виктор и, как мне показалось, принес с собой тепло и ощущение стабильности: было что-то очень привычное, уютное в старой домашней куртке, которую он накинул на плечи, не дав себе труда переодеться после ужина.

– Морозит по-настоящему, – сообщил он. – Я выходил поглядеть. Термометр упал почти до нуля. А ночь удивительная. Полнолуние. – Он придвинул кресло поближе к огню и улыбнулся Анне. – Холод, как той ночью на Сноудоне. Боже праведный, не скоро я это забуду! – И, повернувшись ко мне, со смехом добавил: – Я не успел тебе рассказать: Анна наконец сделала мне одолжение, согласилась подняться на Сноудон.

Я взглянул на Анну, и меня поразили ее отсутствующие, отрешенные глаза. Я инстинктивно почувствовал, что ей неприятен этот разговор и что сама она никогда бы его не начала.

– Анна – темная лошадка, – продолжал Виктор. – По горам лазает не хуже нас с тобой. Представь, она все время шла впереди, а в какой-то момент вообще исчезла!

Полушутливо-полусерьезно он принялся во всех подробностях описывать их подъем на Сноудон, крайне рискованный, учитывая позднее время года.

Утром, когда они вышли, день обещал быть ясным, но через несколько часов погода резко переменилась – загрохотал гром, засверкали молнии, поднялась снежная буря. На спуске их застигла темнота, и они вынуждены были заночевать под открытым небом.

– Ума не приложу, как я умудрился с ней разминуться. Она все время была рядом, а потом раз – и пропала. Скажу откровенно, я провел довольно мучительные три часа, в крошечной тьме, при штормовом ветре.

Пока он говорил, Анна не проронила ни слова; она целиком ушла в себя. Мне было неловко, я нервничал и хотел, чтобы Виктор поскорее закончил свой рассказ.

– Тем не менее вы вернулись целые и невредимые, – сказал я, решив его поторопить.

– Верно, – подтвердил он невесело. – Около пяти утра, насквозь промокшие и порядком напуганные. Анна, кстати, отделалась легко. Вышла из тумана как ни в чем не бывало и удивилась, почему я возмущаюсь. Сказала, что укрылась под какой-то скалой. Диву даюсь, как она себе шею не сломала. В следующий раз в проводники назначу ее.

– Может, следующего раза не будет, – предположил я, взглянув на Анну. – Хватит и одного.

– Ну что ты, – рассмеялся Виктор. – Мы уже все распланировали – летом отправляемся в Альпы. А может, в Пиренеи или в Доломиты, пока точно не знаем. Было бы здорово, если бы ты к нам присоединился. Собралась бы настоящая альпинистская команда.

Я с сожалением покачал головой:

– Заманчиво, но, увы, невозможно. К началу мая я должен быть в Нью-Йорке, вернуться не раньше сентября.

– Впереди еще уйма времени, – утешил меня Виктор. – До мая всякое может случиться. Ближе к весне обсудим.

Анна по-прежнему хранила молчание, а я не мог взять в толк, почему Виктор не находит в ее поведении ничего странного. Внезапно она встала и, пожелав нам спокойной ночи, пошла к себе наверх. Ей явно была не по нутру вся эта горная тематика. И я решил: Виктора пора вразумить.

– Подумай хорошенько, прежде чем затевать это путешествие, – сказал я. – Анну в него втягивать не надо.

– Втягивать? – Виктор был искренне изумлен. – С чего ты взял? Она сама это придумала. Я не верил своим ушам:

– Сама?!

– Ну да. Анна помешана на горах. Спит и видит, как бы туда попасть. Валлийская кровь! Я старался не сгущать краски, когда описывал ту ночь на Сноудоне, но, откровенно говоря, ее выносливость и смелость меня просто поразили. Я места себе не находил от страха за нее, почти не спал, к утру был еле жив – а она явилась из тумана, будто дух из иного мира. Никогда ее такой не видел. Она спускалась с этой треклятой горы играючи, словно провела ночь на Олимпе, а я ковылял за ней, как ребенок. Анна – необыкновенная личность, ты-то хоть это понимаешь?

– Да, – подтвердил я. – Согласен. Анна – личность необыкновенная.

Вскоре мы отправились спать, и когда я разделся и натянул пижаму, заботливо оставленную перед камином, и увидел возле кровати термос с горячим молоком, припасенный на случай, если я сразу не засну, и сунул ноги в мягкие домашние туфли, я снова вспомнил монашескую спальню Анны, ее узкую походную кровать. Непроизвольным жестом – в укор себе – я сбросил теплое атласное одеяло, положенное поверх шерстяных, и решил на ночь открыть окно пошире.

На душе было беспокойно, сон не приходил. Огонь в камине почти погас, из окна потянуло холодом. Я слышал, как тикает в ночной тиши мой старый дорожный будильник, отсчитывая час за часом. В четыре утра лежать без сна сделалось невмоготу, и я с благодарностью вспомнил про термос. Но перед тем как выпить молока, я позволил себе еще одну поблажку и встал закрыть окно.

Я вылез из постели и, дрожа от озноба, прошел через комнату. Виктор был прав: снаружи подморозило. Земля покрылась инеем. Светила полная луна. Я постоял с минуту – и вдруг из-за деревьев скользнула какая-то тень и замерла прямо под моим окном. Человек – кто бы он ни был – стоял открыто, не прячась, не пригибаясь по-воровски. Он застыл в неподвижной позе, словно медитируя, обратив лицо к луне.

И тут я понял – это же Анна! На ней был халат, подхваченный витым пояском, волосы были распущены. Она молча стояла на траве, подернутой морозом, и я с ужасом заметил, что она босая. Я следил за ней, придерживая рукой портьеру, и вдруг почувствовал, что совершаю святотатство – подсматриваю исподтишка за чем-то очень личным и тайным, не предназначенным для посторонних глаз. Я закрыл окно и вернулся в постель. Инстинкт советовал молчать, и я решил не говорить о ночном бдении ни Виктору, ни тем более самой Анне. Но меня мучила тревога, не оставляли дурные предчувствия.

Утро выдалось солнечное, мы кликнули собак и пошли пройтись. Оба, и Виктор и Анна, выглядели нормально и настроены были бодро. И я подумал, что просто перенервничал накануне. Если Анне нравится разгуливать босиком по ночам, это ее частное дело, и с моей стороны непорядочно шпионить за ней.

Оставшиеся дни прошли без каких-либо существенных событий; нам было хорошо и спокойно вместе, и мне ужасно не хотелось уезжать.

Я снова увиделся с ними – совсем ненадолго – несколько месяцев спустя, перед самым отъездом в Америку. Я забежал в книжный магазин в районе Сент-Джеймс записаться чтением на время долгого пути через Атлантику – кстати, в те дни еще свежа была память о трагедии «Титаника», и люди решались на трансатлантический вояж не без опаски – и обнаружил там Анну и Виктора: они изучали карты Европы, разложенные на всех свободных поверхностях.

Повидаться как следует не получилось. Мой день был расписан до самого вечера, у них тоже накопилось много дел, так что времени едва хватило на то, чтобы поздороваться и распрощаться.

– Ты застал нас за подготовкой к летней экспедиции, – сказал Виктор. – Маршрут уже разработан. Подумай еще раз! Присоединяйся!

– Исключено. Если не случится ничего непредвиденного, я вернусь к сентябрю. И первым делом с вами свяжусь. Куда же вы в итоге направляетесь?

– Все решила Анна. Долго думала, выбирала и нашла наконец совершенно недоступное место. Мы с тобой в этих горах не бывали.

Он провел пальцем по развернутой перед ним крупномасштабной карте. Точку на ней Анна уже отметила крестиком.

– Монте-Верита, – прочел я.

Подняв глаза, я встретился взглядом с Анной.

– Абсолютно незнакомая территория, – заметил я. – Постарайтесь все разведать досконально, заручитесь советами знающих людей, наймите проводников из местных и так далее. А почему все-таки вы собрались именно туда?

Анна улыбнулась, и мне стало стыдно за свой дурацкий вопрос.

– Монте-Верита. Гора Истины, – ответила она. – Поедемте с нами! Прошу вас!

Я покачал головой и пошел готовиться к отплытию.

В те месяцы, что я провел в Америке, я часто думал о них обоих и всякий раз им завидовал. Они поднимались на неизведанные вершины, я же был зажат со всех сторон – не горами, которые я так любил, а бесконечными делами. Порой я был готов призвать на помощь мужество, пустить работу побоку, повернуться спиной к цивилизованному миру с его сомнительными радостями и отправиться вместе с обоими моими друзьями на поиски Истины. Меня удерживали условности, в первую очередь мысль об удачно складывающейся карьере, оборвать которую было бы чистым безумием. Я понимал: мой жизненный график расписан и менять его поздно.

Я возвратился в Англию в середине сентября и был удивлен, не обнаружив среди огромного вороха накопившейся почты ни одной весточки от Виктора. Прощаясь, он обещал написать, подробно рассказать обо всем, что они видели, как прошло путешествие. Телефона у них дома не было, связаться с ними напрямую я не мог. Поэтому я взял себе на заметку написать Виктору, как только разберусь с деловой корреспонденцией.

Через несколько дней, выходя из своего клуба, я столкнулся с нашим общим старым приятелем, который задержал меня на минуту, чтобы расспросить о поездке в Штаты, а когда я уже сбежал по ступеням, крикнул вслед:

– Ты слышал про беднягу Виктора? Какая ужасная трагедия! Собираешься его навестить?

– О чем ты? Какая трагедия? – поразился я. – Несчастный случай?

– Он в тяжелом состоянии в частной лечебнице, здесь, в Лондоне. Нервный срыв. Его бросила жена.

– Бог мой, быть не может!

– Увы, именно так. Он не выдержал и сломался. Ты же знаешь, как он был к ней привязан. Я был в шоке. Стоял и тупо смотрел на приятеля.

– Ты хочешь сказать, что она его бросила ради кого-то другого?

– Не знаю. По-видимому, да. От Виктора ничего нельзя добиться. Как бы там ни было, он уже несколько недель лечится от нервного расстройства.

Я спросил адрес клиники, не мешкая прыгнул в такси и помчался туда.

Сначала мне сказали, что Виктор никого не хочет видеть; тогда я вынул визитную карточку, написал на обороте несколько слов, отдал сестре и заверил ее, что меня он принять не откажется. Сестра вернулась и провела меня в палату на втором этаже.

Когда она открыла дверь, я испугался, увидев осунувшееся, изможденное лицо Виктора. Он сидел в кресле перед газовым камином и был одет в больничный халат. Его трудно было узнать, так он исхудал и изменился.

– Дружище, – начал я, подойдя к нему, – я только что узнал, что ты здесь.

Сестра затворила дверь и оставила нас вдвоем.

К моему ужасу, глаза Виктора наполнились слезами.

– Успокойся, дорогой мой, – сказал я. – Меня стесняться не надо. Ты ведь знаешь, я все пойму.

Он сидел сгорбившись, не в силах произнести ни слова, и слезы текли у него по щекам. Я чувствовал свою полнейшую беспомощность. Он указал мне рукой на стул; я пододвинул его поближе, сел и молча ждал. Я решил: если он не захочет рассказывать, что случилось, я не буду настаивать. Мне хотелось только утешить его, как-то помочь.

Наконец он заговорил, и я еле узнал его голос.

– Анна ушла, – сказал он. – Ты слышал? Она ушла от меня.

Я кивнул и положил ему руку на колено, будто передо мной был маленький мальчик, а не мужчина тридцати с лишним лет, мой ровесник.

– Да, я знаю, – сказал я как можно мягче. – Все образуется. Она вернется. Я уверен – ты сможешь ее вернуть.

Он покачал головой. Я впервые видел его в таком отчаянии; он явно верил в то, что говорил:

– Нет, она не вернется. Я слишком хорошо ее знаю. Она нашла то, что искала.

На него было жалко смотреть: он покорился обстоятельствам, утратил способность сопротивляться. И это Виктор, всегда такой сильный и уравновешенный!

– Кто он? – спросил я. – Где она с ним познакомилась?

Виктор воззрился на меня в недоумении:

– О чем ты говоришь? Ни с кем она не познакомилась. Это совсем не то, что ты думаешь. Будь так, все было бы много проще...

Он замолчал и беспомощно развел руками. И снова не сумел совладать с собой – но на сей раз это была не слабость, а еле сдерживаемый гнев, бесплодная, бессмысленная ярость человека, который бьется с заведомо превосходящими силами.

– Ее разлучила со мной гора, – сказал он. – Проклятая Богом гора. Монте-Верита. Там есть какая-то секта или тайный орден. Доступ туда навеки закрыт. Я представить себе не мог, что в наши дни такое существует. Понятия не имел. И теперь она у них, на этой чертовой горе... на Монте-Верита.

Я присидел у него в лечебнице до вечера и постепенно выведал всю историю, с начала до конца.

Само путешествие, по его словам, началось благополучно и шло без приключений. В положенный срок они добрались до заранее выбранного отправного пункта – небольшого городка в долине, откуда предполагалось произвести разведку подходов к Монте-Верита. И тут возникли трудности. Места для них были новые, люди казались угрюмыми и недружелюбными. И говорили они на непонятном местном наречии.

– Ничего общего с крестьянами, которые так радушно принимали нас с тобой в прошлые годы, – продолжал Виктор свой рассказ. – Неотесанные, грубые, отсталые, словно из каменного века. По крайней мере, такое производили впечатление. Ты ведь помнишь, местные жители всегда старались нам помочь, находили проводников и так далее. А тут было совсем по-другому. Когда мы с Анной пытались разузнать, с какой стороны легче взойти на Монте-Верита, нам просто-напросто не отвечали. Пялились с дебилским видом и пожимали плечами. Один парень сказал, что проводников у них нет – гора, дескать, дикая, никто туда не ходит.

Виктор перевел дух и взглянул на меня все с тем же отчаянием.

– Вот тут я совершил непростительную ошибку, – снова заговорил он после паузы. – Я должен был понять, что экспедиция не удалась – во всяком случае, в эту конкретную точку, – и предложить изменить маршрут, выбрать что-то другое, поближе к цивилизации, где места более знакомые и где можно рассчитывать на помощь. Но ты же знаешь, как бывает в горах. В тебя словно вселяется упрямый бес, и любое препятствие только раззадоривает. А сама Монте-Верита... – Он вдруг осекся и уставился в пространство, как будто мысленно видел перед собой эту гору. – Ты знаешь, лирические описания не моя сильная сторона. В наших с тобой вылазках я оставался прагматиком, поэтом был ты. Но на сей раз мне предстала совершенная, ни с чем не сравнимая красота. Мы брали вершины и выше, и куда опаснее, но это... это было что-то божественное.

Он помолчал и возобновил свой рассказ:

– Я спросил Анну: «Что будем делать?» И она ответила без колебаний: «Пойдем вперед». Я не стал спорить. Я знал, что она так скажет. Мы оба подпали под власть какого-то колдовства.

Они ушли из долины и начали подъем.

– День выдался как по заказу, – продолжал Виктор. – Ни ветерка, на небе ни облачка. Солнце палило вовсю, но воздух был прохладный и чистый. Я слегка подтрунивал над Анной – напомнил про наш поход на Сноудон и взял с нее слово, что она больше не будет от меня убегать. На ней была открытая блузка, короткая шотландская юбка, волосы она распустила... И была... такая красивая.

Говорил он медленно, тихо. И мне пришло в голову, что с Анной наверняка случилась беда, но Виктор вопреки всему отказывается верить в ее смерть. Должно быть, она у него на глазах сорвалась с высоты и разбилась, а он не смог ее спасти. Он вернулся домой один, сломленный горем, и продолжает убеждать себя, что Анна жива и осталась там, на Монте-Верита...

– За час до захода солнца мы добрались до горной деревушки, – продолжал Виктор. – Подъем занял весь день. По моим расчетам, до вершины оставалось примерно часа три ходу. Деревушка небольшая, всего с десятков довольно жалких лачуг. Когда мы поравнялись с первой, случилось нечто непредвиденное.

Он умолк и снова уставился в одну точку.

– Анна шла немного впереди, своим характерным размашистым шагом. Ты ведь помнишь, как она ходит? И тут со стороны пастбища, справа от нас, показались двое или трое мужчин и с ними стайка ребятишек. Днем они пасли коз, а теперь загоняли их домой. Анна подняла руку и помахала им в знак приветствия, но мужчины при виде нее ударились в панику, подхватили детей и разбежались по домам, словно за ними гнались бесы. Я слышал, как двери запирают на засовы, как с грохотом затворяют ставни, и ничего не мог понять. Козы тоже перепугались и разбрелись кто куда.

Виктор сказал, что попробовал было пошутить («Хорошенький прием нам устроили!»), но Анна шутки не оценила. Она растерялась и не могла взять в толк, чем она их так напугала. Виктор подошел к ближайшей лачуге и постучал в дверь.

Им никто не открыл, хотя изнутри доносились шорохи и детский плач. Потеряв терпение, Виктор стал кричать что есть силы. Это возымело действие: ставня на одном окошке приоткрылась, и оттуда выглянул молодой мужчина. Виктор кивнул ему и ободряюще улыбнулся. Тогда мужчина открыл ставню целиком, и Виктор попытался завести с ним разговор. Тот сначала только качал головой, затем, немного подумав, пошел к двери и отодвинул засов. Он стоял на пороге, опасливо озираясь, и смотрел мимо Виктора на Анну. Сердито трясая головой, он что-то говорил, торопливо и очень невнятно, и показывал рукой в сторону Монте-Верита. Затем из полутемной задней комнаты появился старик, опиравшийся на две палки сразу. Он шуганул с дороги перепуганную детвору и подошел к двери. К счастью, он говорил на более или менее понятном языке.

– Кто эта женщина? – спросил он. – Что ей от нас надо?

Виктор объяснил, что Анна его жена, что они пришли из долины и собираются подняться в горы. Они туристы, проводят здесь отпуск и хотели бы устроиться в деревне на ночлег. Виктор сказал, что старик его слушал, но глядел все время на Анну.

– Жена? – переспросил он. – Она не с Монте-Верита?

– Жена, жена, – подтвердил Виктор. – Мы из Англии, приехали походить по горам. Мы раньше здесь не бывали.

Старик повернулся к первому мужчине, и они стали о чем-то шептаться. Затем тот, что помоложе, вернулся в дом, откуда продолжали доноситься голоса. На порог вышла женщина, перепуганная еще больше мужчин: она глядела на Анну и буквально тряслась от страха. Почему-то вид Анны вызывал поголовный ужас.

– Она моя жена, – повторил Виктор. – Мы пришли из долины.

Наконец старик жестом дал понять, что согласен впустить их в дом.

– Я верю вам, – сказал он. – Так и быть, заходите. Если вы из долины, тогда ладно. Осторожность не помешает.

Виктор подозвал Анну. Она приблизилась и встала рядом с мужем. Хозяйка по-прежнему поглядывала на нее с опаской и пятилась назад, прикрывая детей.

В комнате, куда они вошли, почти не было мебели, но было чисто, и в очаге горел огонь.

Виктор сбросил с плеч рюкзак.

– У нас с собой провизия, – сказал он. – И спальные мешки. Мы не хотим вас затруднять. Но если вы позволите поесть у вас и переночевать на полу, мы будем вам очень благодарны.

Старик кивнул в знак согласия.

– Хорошо. Я вам верю, – повторил он и удалился со всем семейством.

По словам Виктора, они с Анной были озадачены тем, как встретили их в деревне. Они не могли понять, почему их приход вызвал такую панику и почему их пустили в дом только удостоверившись, что они муж и жена и пришли из долины. Они поели и расстелили на полу спальные мешки. Потом в комнату вернулся старик – он принес им сыру и молока. Женщина больше не показывалась, а молодой парень пришел следом за стариком – скорее всего из любопытства.

Виктор поблагодарил за гостеприимство, сказал, что они сейчас лягут спать, а рано утром, с рассветом, отправятся в горы.

– Подъем не очень сложный? – спросил он старика.

– Сама дорога не трудная, – отвечал тот. – Я бы послал кого-нибудь вас проводить, но ведь никто не пойдет.

Вид у старика был смущенный; он снова покосился на Анну:

– Твоя жена может побыть у нас в доме. Мы ее не обидим.

– Моя жена пойдет со мной. Она не захочет остаться.

На лице старика отразилась тревога:

– Твоей жене лучше не ходить на Монте-Верита. Это опасно.

– Чем же опасна Монте-Верита? – спросила Анна.

Старик взглянул на нее с растущим беспокойством:

– Для женщин и девушек это опасно.

– Но почему? Вы же говорили мужу, что подъем не тяжелый.

– Не в подъеме дело. Мой сын выведет вас на тропу. Все дело в этих... – И тут он произнес слово, которое Виктор с Анной не поняли: что-то вроде *sacerdotesse* или *sacerdozio*.

Виктор нагнулся к Анне:

– Звучит как будто знакомо. Жрец? Жрица? Жречество? Вряд ли, откуда тут возьмутся жрецы? Что за несуразица?

Старик переводил с Анны на Виктора тревожный взгляд.

– Один ты можешь спокойно подняться и спуститься. Для тебя это не опасно. Опасно только для твоей жены. У них большая власть, у *sacerdotesse*. Мы в деревне все время боимся за наших девушек и за женщин.

Виктор не принял слова старика всерьез. Ему это напомнило страшилки из рассказов путешественников по Африке: как племя дикарей вылетает из джунглей и уволакивает в плен все окрестное женское население. Он попытался перевести все в шутку:

– Не пойму, что он плетет, – по-моему, сплошное суеверие. Впрочем, твоей валлийской натуре это может прийтись по вкусу.

Глаза у обоих уже слипались от усталости. Виктор пододвинул расстеленные спальные матрасы поближе к огню, пожелал хозяину доброй ночи, и они с Анной наконец улеглись.

Он спал крепким, глубоким сном, как спится после целого дня в горах, и проснулся перед самым рассветом от петушиного крика.

Он повернулся на другой бок – посмотреть, проснулась ли Анна.

На полу лежал свернутый спальный мешок. Анны не было...

В доме все еще спали; тишину нарушало только петушиное кукареканье. Виктор поднялся, оделся, обулся и вышел за порог.

Веяло холодом; на мгновение все вокруг застыло, как бывает перед самым восходом. В небе гасли последние звезды. Долину, лежащую далеко внизу, скрывали облака. И только здесь, на подступах к вершине, было ясно.

Поначалу дурных предчувствий Виктор не испытывал. Он знал, что Анна хорошо ориентируется в горах и на ногах держится так же уверенно, как он, – возможно, даже увереннее. Зря рисковать не станет. Кстати, старик говорил, что подъем не тяжелый. Его, конечно, задело, что Анна ушла, не дождав его. Они ведь договорились ходить только вместе. Он не знал, как давно она ушла, намного ли его опередила. Надо было как можно скорее ее догнать.

Он вернулся в дом захватить запас еды на день – Анна ничего с собой не взяла. Решил, что рюкзаки они заберут на обратном пути, перед спуском в долину, и вероятнее всего еще раз переночуют в деревне.

Его шаги разбудили хозяина. Он сразу заметил пустой матрац и вопросительно взглянул на Виктора.

– Жена ушла раньше. Сейчас отправлюсь и я.

Старик нахмурился, шагнул к открытой двери и долго глядел вверх, в сторону вершины.

– Зря ты ее отпустил, – произнес он. – Напрасно позволил уйти одной.

Он казался удрученным, качал головой и что-то бормотал себе под нос.

– Не беспокойтесь, – уговаривал его Виктор. – Я быстренько ее догоню, и мы постараемся вернуться до вечера.

Он ободряюще похлопал старика по плечу.

– Боюсь, уже поздно, – произнес тот. – Она уйдет к ним. А если попадет к ним, то не вернется. Они не отпустят.

Он снова употребил это слово – *sacerdotesse*. Он явно предчувствовал недоброе. Настроение старика передалось Виктору, и в нем тоже шевельнулся страх.

– Вы хотите сказать, что на Монте-Верита кто-то живет? И этот кто-то опасен? Моя жена может пострадать?

Старик заговорил – торопливо, сбивчиво; в потоке слов трудно было уловить смысл. Нет, сказал он, *sacerdotesse* не тронут ее, они никому не причиняют вреда. Но они сделают все, чтобы она стала как они, стала одной из них. Анна сама к ним придет, такая у них власть над людьми. Двадцать или тридцать лет назад, продолжал старик, к ним ушла его дочь. И больше он ее не видел. И другие молодые женщины из деревни и из долины ушли по зову этих самых *sacerdotesse*. Те, кого они призывают, уходят, их ничем нельзя удержать. Уходят навсегда. Так было с давних пор, со времен его отца, и отца его отца, и даже еще раньше.

Теперь уже никто не знает, когда *sacerdotesse* впервые появились на Монте-Верита. Ни один смертный их не видел. Они живут за неприступными стенами, и у них есть особая колдовская сила. Одни говорят, что это дар от Бога, другие считают, что от дьявола. Но что в этом смыслят они, деревенские жители? Ходят слухи, что *sacerdotesse* на Монте-Верита никогда не стареют, вечно остаются молодыми и прекрасными и что силу свою они берут от луны. Они поклоняются луне и солнцу.

Виктор мало что понял из этой полубредовой речи. Наверняка одни досужие рассказы и суеверия.

Старик обреченно покачал головой и поглядел на тропу, ведущую на Монте-Верита.

– Я видел вчера ее глаза, – сказал он. – Я испугался. Такими глазами смотрят те, кто услышал зов. Я уже видел такие глаза. У своей дочери, у других женщин.

Тем временем проснулись остальные домочадцы и друг за дружкой потянулись в комнату. Все как будто догадывались, что случилось. Сын старика, его жена и даже дети смотрели на Виктора с тревогой и с чем-то похожим на сострадание. Вся эта нервозная атмосфера вызывала у него не столько страх, сколько злость и раздражение. Машинально вспоминались черные кошки, ведьмы верхом на метле, весь ассортимент колдовской практики шестнадцатого века.

Туман внизу, в долине, медленно рассеивался, облака редели. Небо на востоке, за горной грядой, мягко светилось, возвещая восход солнца.

Старик махнул палкой и что-то сказал молодому.

– Мой сын выведет тебя на тропу. Пройдет с тобой часть пути. До конца не пойдет.

Когда они уходили, их провожали взглядами все жители деревни. Виктор чувствовал, что из-за неплотно прикрытых ставен и полуотворенных дверей за ним наблюдают десятки глаз. Вся деревушка была взбудоражена и как зачарованная следила за ним.

Его проводник не пытался с ним заговорить. Он шагал впереди, опустив плечи и глядя в землю. Виктор понимал: парень пошел с ним лишь по настоянию отца.

Тропу, неровную и каменистую, там и сям перекрывали осыпи. Она пролегла по старому пересохшему руслу и в сезон дождей наверняка становилась непроходимой. Сейчас, в разгар лета, подниматься по ней не составляло труда. Через час непрерывного подъема зона растительности, колючек и кустарников осталась позади, и небо прямо у них над головой прорезал пик, расколотый надвое, как два пальца одной руки. Снизу, из долины, и даже из деревни эту раздвоенность заметить было нельзя – обе вершины сливались в одну.

Пока они шли, солнце поднялось высоко и теперь припекало всю, окрашивая юго-восточный склон в карминно-красные тона. Внизу под ними плыли пышные кучевые облака, закрывавшие обзор. Проводник Виктора внезапно остановился и указал рукой наверх, туда, где гребень, острый как нож, поворачивал к югу.

– Монте-Верита, – сказал он и повторил еще раз: – Монте-Верита.

Затем круто повернулся и заспешил вниз по тропе, которой они пришли.

Виктор окликнул его, но тот не ответил, даже ухом не повел. Еще мгновение – и он исчез из виду. Виктору ничего не оставалось, как двинуться вперед одному и обогнуть плечо горы. Он надеялся, что на той стороне его дожидается Анна.

На этот крюк Виктор потратил еще полчаса, и с каждым шагом его беспокойство росло. По мере продвижения крутизна увеличивалась, дальше пологого пути не было; южный склон, до которого он дошел, оказался совершенно непроходимым. Перед ним высилась отвесная скальная стена.

Тогда он свернул в сторону и по узкой извилистой ложбине пересек предвершинный гребень в трехстах футах от высшей точки. И, выйдя из ложбины на свет, увидел перед собой монастырь, высеченный прямо в скале, в седловине между пиками-близнецами. Суровый, голый, окруженный мощной каменной стеной. От соседнего гребня монастырь отделяла пропасть глубиной не меньше тысячи футов, а выше было только небо и двойная вершина Монте-Верита.

Стало быть, подумал я, это правда. Виктор не потерял рассудок. Это место реально существует. Никакого несчастного случая не было. Он сам, живой очевидец, сидит передо мной. И все, что я услышал от него, произошло на самом деле, не было игрой его фантазии.

Дойдя в своем рассказе до этого места, Виктор немного успокоился. Напряжение почти спало, руки перестали дрожать. Он стал больше похож на прежнего Виктора.

– Монастырю этому, должно быть, много веков, – снова заговорил он после паузы ровным, размеренным голосом. – Бог знает сколько времени его строили, вырубали вручную из скалы. Я в жизни не видел ничего более сурового и дикого и, странно сказать, ничего более прекрасного. Он словно висит в воздухе, между небом и землей. Окон в нашем понимании нет, только вертикальные узкие отверстия для света и воздуха. На углу башня, которая смотрит на запад, а вплотную к ней крутой обрыв. Монастырь окружен глухой стеной и неприступен, как крепость. Я не мог понять, каким образом попадают внутрь – ни дверей, ни ворот. И ни малейших признаков жизни. Я не увидел ни одного живого существа. Я стоял и смотрел, а узкие оконные прорезы глядели на меня. Не оставалось ничего другого, как ждать: вдруг Анна все-таки покажется. Теперь я верил, что старик прав, и уже представлял, как все случилось. Обитатели монастыря увидели Анну и позвали ее к себе. И сейчас она с ними, там, внутри. Она должна заметить, что я рядом, что я пришел за ней, и тогда она выйдет ко мне. И я прождал весь день...

Он рассказывал это спокойным, обыденным тоном. Так мог бы рассказывать муж о жене, которая, не предупредив его, отлучилась проведать знакомых, и теперь ее приходится ждать, ничего не поделаешь.

Он уселся на землю, потом, немного погодя, поел, не переставая наблюдать, как далеко внизу гряда за грядой бегут облака, редуют и снова сгущаются. Солнце, вобравшее в себя весь летний жар, заливало беспощадными лучами отвесный склон над монастырем, башню и узкие прорезы окон и высокую каменную стену, из-за которой не доносилось ни шороха, ни звука.

– Я просидел весь день, – продолжал Виктор. – Но Анны не было. Солнце жгло, слепило глаза, и я укрылся в ложбине, через которую вышел к монастырю. Пристроился в тени и продолжал следить за башней и прорезями окон. Мы с тобой знаем по многим походам, что такое тишина в горах, но она не идет ни в какое сравнение с безмолвием у Монте-Верита. Часы тянулись медленно, а я все ждал и ждал. Понемногу стало холодать; мое напряжение росло, и время вдруг побежало с удвоенной скоростью. Солнце начало как-то быстро клониться к западу. Голый отвесный склон на глазах менял цвет, уже не сверкал ослепительным блеском, как днем. Меня охватила паника. Я бросился к монастырской стене, принялся кричать, звать. Я водил по стене руками, искал вход, но входа не было, не было вообще ничего. Я слышал только эхо собственного голоса, видел одни слепые оконные щели. Я стал сомневаться в том, что услышал от старика. Монастырь явно необитаем, тут давным-давно никто не живет. Он стоит с допотопных времен и теперь безусловно заброшен. Анна досюда не дошла. Не удержалась на ногах, сорвалась с узкого карниза в конце тропы, там, где меня оставил проводник. Сорвалась и рухнула в пропасть у южного плеча. И все остальные женщины, которые стремились в это роковое место – дочь старика, девушки из долины, – все они погибли точно так же. Упали в пропасть, разбились насмерть, ни одна не добралась до цели.

Я ждал развязки, затаив дыхание. Пожалуй, мне было бы легче, если бы я уловил в голосе Виктора истерические нотки, надрыв, поразивший меня в начале разговора. Но он сидел в застывшей позе в этой казенной, безликой комнате со стандартным набором пузырьков и таблеток на столике у кровати и под доносившийся с улицы шум говорил, говорил – голосом монотонным и размеренным, как тиканье часов. Для меня было бы естественней, если бы он вдруг сорвался и закричал от боли.

– Я не смел уйти, не повидав ее, – продолжал он. – Я словно подчинялся чьему-то приказу извне. Снизу поднимались темно-серые облака, в небе сгущались вечерние тени; они не сулили

ничего хорошего. Все вокруг – отвесный склон, стена, прорези окон – ненадолго вспыхнуло в закатных лучах; еще миг – и солнце исчезло. Сумерек в горах не бывает. Разом похолодало, и наступила ночь.

Виктор пробыл у стены до рассвета. Он не спал и, чтобы хоть немного согреться, беспрерывно ходил взад-вперед. К восходу солнца он весь продрог, заоченел и едва держался на ногах от голода. С собой он захватил еды только на один раз.

Здравый смысл подсказывал, что задержаться еще на день было бы чистым безумием. Следовало вернуться в деревню за едой и питьем, по возможности нанять местных жителей и собрать поисковую партию. Превозмогая себя, он покинул свой наблюдательный пост. Вокруг по-прежнему царил безмолвие. Теперь он не сомневался, что за стенами монастыря никакой жизни нет.

Он обогнул плечо горы, вышел на тропу и сквозь утренний туман спустился в деревушку.

По словам Виктора, его прихода как будто ждали. Старик-хозяин стоял на пороге, а вокруг собрались соседи, по большей части мужчины и дети.

Первым делом Виктор спросил, не вернулась ли Анна. Пока он спускался вниз, в нем ненадолго затеплилась надежда: вдруг ее планы изменились, она отправилась куда-то еще, возвратилась другой дорогой... Но когда он взглянул на лица вокруг, надежда улетучилась.

– Она не вернется, – сказал старик. – Мы тебе говорили: назад она не придет. Она ушла к ним, на Монте-Верита.

У Виктора хватило ума не ввязываться в спор: он умирал от голода. Ему принесли еду и питье. Пока он ел, люди стояли вокруг и смотрели на него с состраданием. Виктор сказал, что мучительнее всего было видеть в доме вещи Анны: ее рюкзак, спальный мешок, фляжку для воды, нож и прочие принадлежавшие ей мелочи. Она ушла с пустыми руками.

Люди продолжали стоять в ожидании и после того, как он закончил есть. Он стал рассказывать старику, как ждал весь день и всю ночь. Как не слышал ни звука, не видел ни единого признака жизни за узкими оконными прорезями на монастырской стене. Время от времени старик переводил слова Виктора соседям.

Когда он умолк, старик подвел итог:

– Все так, как я сказал. Твоя жена там. Она с ними.

У Виктора не выдержали нервы.

– Как это может быть? – закричал он. – Там нет ни одной живой души! Это пустое, мертвое место! Мертвое много веков!

Старик наклонился и положил ему руку на плечо:

– Оно не мертвое. Хотя многие думают, как ты. Люди поднимались туда и ждали, как ждал ты. Двадцать пять лет назад я тоже ждал. Вот этот человек, мой сосед, ждал три месяца, день за днем, ночь за ночью. Много лет назад *sacerdotesse* позвали его жену. Она не вернулась. Никто из тех, кто услышал зов с Монте-Верита, не возвращается назад.

Значит, подумал Виктор, она все-таки упала и разбилась. Другого варианта нет. Виктор с жаром стал это объяснять, доказывал, настаивал, умолял срочно организовать поиски.

Старик сочувственно покачивал головой:

– Когда-то мы тоже искали. У нас есть опытные люди, они хорошо знают горы, знают каждый дюйм, они спускались по южному хребту, к самому краю большого ледника, за которым нет ничего живого. Они не нашли ни одного мертвого тела. Никто из наших женщин не погиб. Они все на Монте-Верита.

Убеждать их было бесполезно, приводить доводы бессмысленно. Виктор понял, что за помощью надо обратиться в долину, а если он и там ничего не добьется, надо попробовать завербовать проводников в другой, лучше знакомой ему части страны.

– Тело моей жены где-то неподалеку, в горах, – сказал он. – Я должен его отыскать. И если ваши люди откажутся, мне помогут другие.

Старик повернулся и выкликнул кого-то по имени. От группы молчавших зрителей отделилась девочка лет девяти. Старик погладил ее по голове.

– Эта девочка, – пояснил он, – видела *sacerdotesse* и разговаривала с ними. Другие дети раньше тоже их видели. Они показываются только детям, да и то очень редко. Она сама все расскажет.

Девочка заговорила певучим тоненьким голоском, не отрывая глаз от Виктора. Он догадался, что свою историю она повторяла бесчисленное множество раз, в присутствии одних и тех же слушателей. И теперь исполняла ее как отрепетированный концертный номер, декламировала, как затверженный наизусть урок. Говорила она на местном наречии, и Виктор не понимал ни слова.

Когда она умолкла, старик взял на себя роль толмача. Видимо, по привычке он и сам говорил нараспев, с таким же пафосом:

– Я ходила с подружками к Монте-Верита. Началась гроза, подружки убежали. Я шла, шла и заблудилась, а потом пришла на такое место, где стена и окошки. Я заплакала, мне стало страшно. И тогда из-за стены вышла она, высокая и прекрасная, а с ней еще одна, тоже молодая и красивая. Они утешали меня, а на башне так сладко пели, и мне захотелось пойти вместе с ними за стену, но они сказали, что туда нельзя. Когда мне будет тринадцать лет, я смогу к ним вернуться, они обещали. На них была белая одежда до колен, руки и ноги голые, а волосы совсем короткие. Они гораздо красивее, чем обычные люди. Они проводили меня до тропы, оттуда я могла сама найти дорогу. Потом они ушли. Я рассказала все, что знаю.

Старик закончил и перевел взгляд на Виктора, стараясь угадать его реакцию. Виктор сказал мне, что его поразило, с каким безрассудным доверием воспринимался рассказ девочки. Разумеется, она просто заснула и увидела сон, который приняла за явь. Пришлось огорчить старика:

– Извините, я этому поверить не могу. Все это детские фантазии.

Девочку снова позвали и что-то ей наказали; она тут же выбежала вон.

– Там, на Монте-Верита, ей подарили поясок из камней, – объяснил старик. – Родители спрятали его от греха подальше. Девочка попросит достать его, чтобы показать тебе.

Через несколько минут девочка вернулась и протянула Виктору что-то вроде бус из цветных камешков. Ими можно было опоясать очень тонкую девичью талию или просто повесить на шею. Камешки, похожие на кварц, были вырезаны и обточены вручную и плотно входили один в другой. Работа была тонкая, даже, можно сказать, изысканная и не имела ничего общего с грубыми крестьянскими поделками, над какими коротают в деревнях зимние вечера. Виктор молча вернул бусы девочке.

– Она могла найти их где-нибудь в горах, – предположил он.

– У нас такого делать не умеют, – возразил старик. – В долине тоже. Не умеют даже городские мастера, я узнавал. Девочка говорит правду. Поясок ей подарили те, кто живет на Монте-Верита.

Виктор понял: спор ни к чему не приведет. Упрямство въелось слишком глубоко, суеверия были сильнее логики. Он спросил, можно ли остаться в деревне еще на сутки.

– Оставайся. Живи сколько хочешь, – сказал старик и добавил: – Пока не узнаешь правду.

Соседи постепенно разошлись, все занялись обычными делами, словно ничего не случилось. Виктору не сиделось на месте; он решил обследовать северный склон. Довольно скоро он убедился, что склон непроходим – без помощи опытного проводника и альпинистского снаряжения на него не подняться. Если Анна выбрала этот маршрут, ее ждала верная смерть.

Он вернулся в деревню, когда солнце оттуда уже ушло. Войдя в дом, он увидел, что ужин ему оставлен, а матрац заботливо расстелен на полу перед очагом.

Он так устал, что не мог есть. Он рухнул на матрац и заснул. Наутро он встал пораньше и снова поднялся на Монте-Верита. Он провел в ожидании много часов под лучами палящего

солнца, напряженно вглядываясь в оконные прорезы. До самого заката он не уловил ни малейшего движения и не увидел ни души. Он вспомнил жителя деревни, который в свое время просидел у этих стен три месяца, день за днем, ночь за ночью. Виктор не знал, надолго ли хватит его, достанет ли у него сил и терпения.

На третьи сутки, в полдень, когда солнце припекало особенно сильно, он почувствовал, что больше не в состоянии выносить эту сумасшедшую жару, спустился в ложбину и прилег там в блаженной прохладе. Изнуренный ожиданием, а теперь и преисполненный отчаяния, он забылся тяжелым сном.

Проснулся он, как от толчка. Стрелки часов у него на руке показывали пять вечера, в ложбине похолодало. Он выбрался наверх; стена напротив золотилась в блеске закатного солнца. И вдруг он увидел Анну. Она стояла у стены, на узком полукруглом карнизе; прямо у ее ног скала обрывалась, образуя пропасть глубиной не менее тысячи футов.

Она ждала, она смотрела в его сторону; он бросился к ней с криком: «Анна... Анна!» Он слышал собственные рыдания и думал, что сердце вот-вот разорвется.

На полдороге он замер, поняв, что вплотную к ней не подойти. Их разделяла бездна. Анна стояла в каком-то десятке шагов от него, но дотянуться до нее он не мог.

– Я застыл на месте и не мигая смотрел на нее, – рассказывал Виктор. – Говорить я не мог: горло сдавило. Я чувствовал, как по щекам у меня текут слезы. Я плакал от счастья. Я ведь думал, что она погибла, сорвалась с высоты, разбилась, а тут она живая стояла передо мной. Обычные слова не шли с языка. Я хотел было спросить: «Что случилось? Где ты пропала?» – но понял, что спрашивать бессмысленно. Глядя на нее, я вдруг осознал с убийственной ясностью, что старик и девочка говорили правду, что это отнюдь не фантазии, не суеверие. И хотя в тот момент я не видел никого, кроме Анны, весь монастырь вдруг ожил. Сверху, из оконных прорезей, на меня смотрело бог знает сколько глаз. Через стены я ощущал чье-то присутствие. Это было пугающе, сверхъестественно – и в то же время реально.

Голос Виктора стал снова срываться, руки опять задрожали. Он взял со столика стакан с водой и осушил его до дна.

– Анна была непривычно одета, – продолжал он. – Белая туника до колен, поясок из цветных камней – такой, как показывала мне девочка. Ноги босые, руки обнаженные. Меня больше всего испугало, что волосы у нее были коротко обрваны, почти под корень. От новой стрижки лицо изменилось, помолодело, но вместе с тем в нем появилось что-то аскетическое. Она заговорила со мной как ни в чем не бывало. Произнесла совершенно естественным тоном: «Виктор, милый, я прошу тебя вернуться домой. Не нужно больше обо мне беспокоиться».

Виктор признался, что поначалу не поверил своим ушам. Как Анна могла сказать такое?! Потом сообразил, что она скорее всего говорит не сама, а подчиняется чужой злой воле: ее загипнотизировали, что-то внушили... Он вспомнил о спиритических сеансах, когда родственники через впавших в транс медиумов получают послания якобы из другого мира... Он долго в растерянности молчал.

– Почему ты хочешь, чтобы я вернулся домой? – спросил он наконец как можно мягче. Он боялся ее травмировать, подозревая, что под чьим-то тлетворным влиянием ее рассудок уже необратимо пострадал.

– Это все, что ты можешь, – ответила она.

И вдруг улыбнулась – совсем как обычно, светло и радостно; и на миг Виктору почудилось, будто они снова дома, вдвоем, сидят и обсуждают повседневные дела...

– У меня все хорошо, дорогой, – сказала она. – Поверь, это не гипноз, не сумасшествие, ничего похожего на то, что ты воображаешь. Тебя в деревне запугали – неудивительно. Здешняя сила далеко превосходит человеческую. В глубине души я всегда знала, что такое место существует. И все эти годы ждала. Когда люди – неважно, мужчины или женщины – отрека-

ются от мира, уходят в монастырь, их близкие страдают, но рано или поздно свыкаются. О том же самом я прошу тебя, милый Виктор. Постарайся понять меня.

Она стояла, улыбаясь тихой, умиротворенной улыбкой.

– Ты хочешь сказать, что навсегда останешься здесь?

– Да. Отныне другой жизни для меня нет. Ты должен поверить мне. Я хочу, чтобы ты вернулся домой и продолжал жить, как раньше, занимался домом, своим поместьем. И если ты встретишь и полюбишь кого-то, женись и будь счастлив. Благослови тебя Бог за твою любовь, доброту и преданность, мой родной. Я этого никогда не забуду. Если бы я умерла, ты ведь хотел бы, чтобы я обрела покой в раю, правда? Так вот, это место для меня рай. Я скорее брошусь в пропасть и разобьюсь о скалы, чем вернусь в мир с Монте-Верита.

Виктор сказал, что во время этого монолога от ее лица исходило сияние – подобного выражения он не видел даже в самые счастливые их времена. И продолжал:

– Мы с тобой читали в Библии о Преображении. Я не нахожу другого слова. Не душевное смятение, не истерика, а именно Преображение. Словно что-то из нездешнего мира коснулось ее своей рукой. Умолять было бесполезно, настаивать невозможно. Ей и правда легче было броситься со скалы, чем вернуться в этот мир. Я ничего бы не добился.

Им овладело чувство полной беспомощности, бесповоротности происходящего, как при прощании в порту: Анна должна сесть на корабль, отплывающий неизвестно куда, и у них всего несколько минут. Вот-вот загудит сирена, уберут трап – и они расстанутся навсегда.

Он стал спрашивать, есть ли у нее все необходимое, достаточно ли еды, обеспечена ли она одеждой, есть ли врачебная помощь, лекарства, на случай если она заболит. Допытывался, что бы он мог ей прислать из того, в чем она нуждается. В ответ она только улыбалась и повторяла, что в этих стенах есть абсолютно все, что ей может понадобиться.

И тогда он сказал:

– Я буду приезжать сюда каждый год, в это же время, и умолять тебя вернуться. Буду приезжать во что бы то ни стало.

– Тебе будет только тяжелее, – ответила она. – Все равно что приносить цветы на могилу. Я бы не советовала тебе приезжать.

– Как я могу не приезжать, зная, что ты здесь, за этой стеной?

– Но я больше не смогу к тебе выйти. Ты видишь меня в последний раз. Утешься тем, что я всегда буду молода, как сейчас. Наша вера обещает нам вечную молодость. Такой ты меня и запомни, такой и унеси с собой.

Потом, сказал Виктор, она попросила его уйти. Она не могла вернуться внутрь, пока он еще тут. Между тем солнце склонялось к закату, и отвесную стену горы начинала окутывать тень.

Виктор долго смотрел на Анну, потом повернулся и не оборачиваясь пошел к ложбине. Там он постоял несколько минут и снова бросил взгляд на склон напротив. Анны на карнизе уже не было. Не было никого и ничего, кроме стены, оконных прорезей, а над ними еще не погрузившейся в тень двойной вершины Монте-Верита.

Ежедневно я выкраивал хотя бы полчаса, чтобы навестить Виктора в больнице. Со дня на день сил у него прибавлялось, и он все больше становился похож на прежнего Виктора. Я говорил с его лечащим врачом, со старшей сестрой, с сиделками, и все в один голос утверждали, что ни о каком органическом расстройстве психики речь не идет: он поступил к ним в состоянии тяжелейшего шока и нервного срыва. Встречи и беседы со мной, по их заверениям, благотворно на него повлияли. Через две недели он настолько окреп, что его выписали, и какое-то время он прожил у меня в Вестминстере.

В долгие осенние вечера мы многократно возвращались к событиям минувшего лета и обсуждали их подробнейшим образом. Мне хотелось узнать как можно больше. Виктор отвер-

гал любое подозрение относительно странностей в характере жены. Их брак был, по его словам, вполне нормальным и счастливым. Он, правда, согласился, что ее нелюбовь к вещам, ее спартанский образ жизни могли показаться кому-то необычными, но сам он не находил в этом ничего чрезвычайного: так уж она была устроена. Я рассказал, как ночью видел Анну в саду под окном, как она стояла босая на заиндевевшем газоне. Да, подтвердил он, это на нее похоже. Но она обладала редкой душевной тонкостью и благородной сдержанностью, которые он не мог не уважать. И никогда не позволял себе вторгаться в ее внутренний мир.

Я спросил, все ли он знает о ее жизни до замужества. Он сказал, что знать практически нечего. Совсем девочкой она лишилась родителей, вырастила ее тетка в Уэльсе. Ничего подозрительного в окружении, никаких скелетов в шкафу. Воспитание обыкновенное во всех отношениях.

– Бесплезно искать разгадки в прошлом, – попытожил Виктор. – Анну нельзя объяснить. Она такая, какая есть, единственная в своем роде. Как ты объяснишь, почему у самых заурядных родителей рождается гениальный музыкант, или поэт, или святой? Логика тут не поможет. Рождаются – и все. Я благодарен Богу за то, что мне было дано найти Анну. Теперь в моей душе ад, потому что я ее потерял. Попробую жить дальше, как она велела. Но раз в году я буду возвращаться на Монте-Верита.

Меня удивило, как безропотно он принял полное крушение своей жизни. Случись подобная трагедия со мной, я не мог бы побороть отчаяние. Мне казалось чудовищным, что никому неведомая секта на какой-то горе, у черта на рогах могла в считанные дни забрать такую власть над женщиной, которую я знал, – женщиной недюжинного ума, неповторимой индивидуальности. Понятно, как можно задурить голову темным деревенским девушкам, чьи родные погрязли в суеверии и побоялись бы что-либо предпринять. Я предложил использовать каналы нашего посольства, найти ход к правительству страны, добиться расследования на национальном уровне, привлечь прессу, предать случившееся широкой огласке. Я выразил готовность лично принять в этом участие. В конце концов, мы живем в двадцатом столетии, а не в Средневековье. Место, подобное Монте-Верита, не должно существовать вообще. Я бы поднял на ноги все, привлек международное общественное мнение...

– Для чего? – тихо спросил Виктор. – Цель какая?

– Вернуть Анну и освободить всех, кто там есть. Не дать калечить людские судьбы.

– Мы же не крушим монастыри по всему свету. А их ведь сотни.

– Это не одно и то же, – возразил я. – Монастырь – организованная общность верующих.

Монастыри существуют с незапамятных времен.

– Монте-Верита, вероятно, тоже.

– Но как они там живут? Чем питаются? Что происходит, когда они болеют или умирают?

– Не знаю. Я стараюсь об этом не думать. Помню только ее слова: она нашла наконец то, что искала, и счастлива. И я не хочу разрушать ее счастье.

Потом он смерил меня недоуменным и в то же время пронизательным взглядом и заметил:

– Мне странно слышать все это от тебя. Ты должен бы лучше меня понимать, что движет Анной. Горная лихорадка у тебя всегда проявлялась сильнее, чем у меня. Кто, как не ты, в дни нашей молодости витал в облаках и читал мне стихи:

Чрезмерен мир для нас: приход-расход
Впустую наши расточает силы...²

² Уильям Вордсворт. Сонет 33. Перевод С. Сухарева.

Помню, как я встал, шагнул к окну и стал смотреть вниз, на туманную набережную. Я ничего не ответил Виктору. Его слова больно задели меня. Что тут скажешь? В глубине души я знал, почему мне так ненавистна вся история с Монте-Верита и почему я охотно стер бы это место с лица земли: потому что Анна нашла свою Истину, а я нет...

Разговор этот между мною и Виктором стал если не водоразделом, то по крайней мере поворотным пунктом в нашей дружбе. Каждый из нас прошел свой земной путь до половины. Виктор вернулся в Шропшир и позже написал мне, что намерен передать свое имение племяннику, который еще учится, но ближайшие несколько лет будет проводить каникулы у него, чтобы на практике со всем познакомиться. О собственных планах он не распространялся, не хотел ничем себя связывать. В моей жизни тоже происходили перемены. Рабочие дела сложились так, что мне пришлось на целых два года уехать в Америку.

Вскоре, однако, привычный мировой уклад полетел вверх тормашками. Наступил тысяча девятьсот четырнадцатый год.

Виктор сразу же записался добровольцем. Думаю, служба в армии показалась ему желанным выходом. Возможно, он надеялся, что на войне его убьют. Меня призвали много позже, когда истек срок моего контракта в Штатах. Для меня это отнюдь не был желанный выход, и я еле дождался конца ненавистной службы. Пока шла война, Виктора я не видел: мы сражались на разных фронтах и не встречались даже во время отпуска. Однажды я все же получил от него весточку. Он писал:

«Наперекор всему я сумел выбраться на Монте-Верита, как обещал. Заночевал у старика в деревне и на другой день поднялся к вершине. Там ничего не изменилось – по-прежнему все мертво и немо. Я оставил под стеной письмо и весь день ждал напротив, глядя на монастырь и чувствуя, что Анна где-то близко. Увидеть ее я не надеялся. На завтра я пришел опять и, к моей радости, обнаружил ответное письмо. Впрочем, письмом это едва ли можно назвать. Просто несколько слов, нацарапанных на плоском камне. Наверное, это их единственный способ общения с миром. Она писала, что здорова, полна сил и совершенно счастлива. Передавала мне свое благословение и тебе просила передать. Просила о ней не беспокоиться. Вот и все. Я, можно сказать, получил весть с того света, как на спиритическом сеансе, и должен этим довольствоваться. Если уцелею на войне, то скорее всего уеду из Англии, поселюсь где-нибудь поближе к ней, даже если никогда больше ее не увижу и ничего о ней не узнаю – разве что получу раз в год несколько слов на камне.

Всего тебе доброго, дружище. Хорошо бы знать, где ты.

Виктор»

Как только было подписано перемирие, я сразу же демобилизовался и принялся налаживать нормальную жизнь. Первым делом я навел справки о Викторе. Я написал ему в Шропшир и в ответ получил вежливое письмо от его племянника. Он писал, что вступил во владение домом с прилегающими угодьями. Виктор был ранен, но не опасно. В данный момент он не в Англии, а где-то за границей, то ли в Италии, то ли в Испании, племянник не уточнил. Думает, что дядя уехал из Англии навсегда. Если ему станет что-либо известно, он непременно даст мне знать. Больше никаких сообщений я не получил. Послевоенный Лондон мне разонравился, его обитатели тоже. И я решил обрезать концы и уехал в Америку.

Вновь я свиделся с Виктором почти через двадцать лет.

Я твердо верю, что меня с ним свела не простая случайность. Такие вещи предопределены. Я придерживаюсь теории, что жизнь каждого отдельного человека можно уподобить колоде карт. Карты непрерывно тасуются, и каждый имеет шанс оказаться в колоде рядом с

теми, кого он знает или любит. Мы все в руках Судьбы, которая сидит за игровым столом. Игра идет, карты сбрасываются, заменяются другими...

Неважно, какие именно обстоятельства снова привели меня в Европу за два или три года до Второй мировой войны. К данной истории это не относится. Так получилось, что я оказался там; мне к тому времени уже минуло пятьдесят пять.

Я летел из одной европейской столицы в другую – названия их не имеют значения, – когда самолет совершил вынужденную посадку в глухой горной местности. К счастью, обошлось без жертв. Двое суток экипаж и пассажиры, в том числе я, провели без всякой связи с внешним миром. Мы кое-как разместились в полуразрушенном самолете и стали ждать помощи. Наше приключение наделало тогда много шума и попало на первые полосы газет, потеснив на пару дней репортажи о политических событиях в Европе.

Первые сорок восемь часов оказались не особенно тяжелыми. Нам повезло: среди пассажиров не было женщин и детей, а мужчины держались стойко. Никто не сомневался, что помощь скоро придет. Рация работала вплоть до момента посадки, и радист успел передать наши координаты. Оставалось набраться терпения и постараться не замерзнуть.

Свои дела в Европе я закончил, а нити, связывающие меня со Штатами, были не настолько крепки, чтобы я мог предполагать, будто меня там ждут с нетерпением. И поэтому я был до чрезвычайности взволнован, неожиданно попав в места, похожие на те, которые когда-то страстно любил. За прошедшие годы я сделался сугубо городским жителем, рабом комфорта. Лихорадочный пульс американской жизни, ее неистовый темп, бьющая через край энергия Нового света слились воедино, заставив забыть обо всем, что еще привязывало меня к свету Старому.

Теперь же, любуясь грандиозным горным пейзажем, я понял, чего мне не хватало все эти годы. Я забыл про своих попугачиков, забыл про покалеченный самолет (какой анахронизм в этом древнем пустынном краю!), забыл о своей седой голове, о давно утратившем легкость теле, о грузе всех моих лет. Я снова был юношей, полным надежд, горячим, нетерпеливым, увлеченным загадкой вечности. А до вечности было рукой подать – она ждала меня за горизонтом. Я чувствовал несуразность своей городской одежды, и горная лихорадка снова бурлила у меня в крови.

Мне захотелось уйти подальше от разбитого самолета, от унылых лиц моих спутников, захотелось забыть годы, растроченные впустую. Чего бы я только не отдал, чтобы снова стать молодым, бесшабашным и, презрев опасности, совершить восхождение на какую-нибудь неосвоенную вершину. Я вспомнил, что чувствует человек в горах: на высоте воздух прозрачнее и холоднее, тишина глубже и необъятнее. И странно обжигающий лед, и всепроникающее солнце. А как замирает сердце, когда нога, соскользнув с коварного уступа, вдруг лишается опоры, а руки до боли вцепляются в веревку...

Я глядел на горы, которые так любил, и чувствовал себя предателем. Я изменил им ради низменных благ – комфорта, покоя, безопасности. Но теперь, дождавшись спасателей, я постараюсь наверстать упущенное время. Никто меня не торопит возвращаться в Штаты. Я могу устроить себе каникулы и снова отправиться в горы. Куплю спортивную одежду, снаряжение, запасусь всем необходимым. У меня сразу стало легко на душе – словно камень свалился с плеч. Все остальное было уже неважно. Я вернулся к самолету, к своим товарищам по несчастью, и оставшееся время провел без всяких забот.

Помощь подоспела на третий день. Мы догадались о ее приближении, когда на рассвете заметили круживший над нами самолет. В отряде спасателей были опытные альпинисты и профессиональные проводники, ребята грубоватые, но вполне дружелюбные. Они доставили теплую одежду, рюкзаки, провиант и, по их словам, удивились, что мы в состоянии всем этим воспользоваться. Они не рассчитывали застать кого-либо в живых.

Поэтапно, часто останавливаясь и отдыхая, мы вместе со спасателями стали спускаться вниз, в долину. Это заняло целый день. Ближе к ночи мы разбили лагерь на северной стороне хребта, который совсем недавно, с места крушения теперь уже бесполезного самолета, казался таким недосыгаемо далеким. С рассветом мы снова тронулись в путь; день был погожий, ясный, и долина внизу, под нашим лагерем, лежала как на ладони. На востоке виднелся отвесный гребень, на первый взгляд совершенно непроходимый; над ним высился увенчанный снеговой шапкой пик – а может быть, два. Они выделялись на сверкающем небе, как побелевшие от напряжения костяшки пальцев.

– В молодости я немало походил по горам, но здешних совсем не знаю. Часто тут бывают альпинисты? – спросил я начальника спасательной партии, когда мы начали спускаться.

Он покачал головой и сказал, что условия здесь трудные. Люди из его отряда все нездешние. В предгорьях, в долине народ темный, невежественный, для туристов и приезжих никакие удобства не предусмотрены. Если я хочу пойти в горы, он может порекомендовать мне другие места, получше. Правда, для восхождений уже поздно.

Я все глядел на восточный гребень, далекий и красивый какой-то особенной, своеобразной красотой.

– Как называется эта двойная вершина? – спросил я.

– Монте-Верита, – ответил он.

И я понял, что снова привело меня в Европу...

Я простился со своими спутниками в маленьком городке милях в двадцати от места, где потерпел аварию наш самолет. Наземный транспорт должен был доставить их до ближайшей станции железной дороги и тем самым вернуть к цивилизации. Я никуда не поехал. Я забронировал номер в местном отеле и оставил там на хранение свой багаж. Затем купил крепкие горные ботинки, бриджи, куртку, пару рубашек и, покинув городок, пустился в путь.

Начальник спасателей был прав – сезон туристских походов прошел. Но меня это ничуть не смущало. Я был один – и снова в горах. Я забыл, как целительно может быть одиночество. Ноги и легкие обрели прежнюю силу, холодный воздух проник во все поры моего существа. В свои пятьдесят пять я готов был кричать от радости. Куда-то делась суета и тревожения, исчезли вечно спешащие потоки людей, исчезли огни и пресные городские запахи. Безумием было терпеть это все столько лет!

В таком приподнятом настроении я добрался до другого городка – в долине у восточного подножья Монте-Верита. Я помнил, как его описывал Виктор во время наших довоенных бытовых разговоров; судя по первому впечатлению, там мало что изменилось. Городишко был маленький, невыразительный, народ хмурый и нелюбимый. Я обнаружил нечто вроде постоянного двора – назвать его гостиницей язык не поворачивался – и решил там заночевать.

Встретили меня не слишком приветливо, скорее равнодушно. После ужина я попытался узнать, можно ли еще пройти по тропе к вершине Монте-Верита. Человек за стойкой бара в помещении, где я был единственным посетителем, смерил меня безучастным взглядом, отхлебывая вино, которым я его угостил по случаю знакомства.

– Пройти-то можно, до деревни всяко, а уж как дальше, трудно сказать.

– Много ваших ходит в деревню? А из деревни люди здесь бывают?

– Иногда. Не часто. Только не в это время года.

– А туристы добираются сюда?

– Редко. Они больше на север ездят. На севере лучше.

– Случайно не знаете, где в деревне я мог бы переночевать?

– Понятия не имею.

Я помолчал, глядя на его тяжелое, угрюмое лицо, и после паузы спросил:

– А что *sacerdotesse*? Они по-прежнему живут на Монте-Верита?

Он встрепенулся, облокотился на стойку и буквально впился в меня глазами:

– Кто вы такой? Откуда про них знаете?

– Значит, они существуют?

Он не спускал с меня подозрительного взгляда. Я знал, что его страна за последние двадцать лет пережила немало потрясений – насилие, революцию, вражду отцов и детей. Должно быть, и этот захолустный уголок получил свою долю. Волей-неволей здешние жители приучились держать язык за зубами.

– Разное болтают, – медленно произнес он. – А я считаю, лучше не соваться в такие дела. Иначе беды не миновать.

– Беды? Для кого?

– Для тех, кто в деревне, для тех, кто живет на Монте-Верита, – живет ли, нет ли, неизвестно. Да и для нас в долине тоже. Лучше поменьше знать. Меньше знаешь – целее будешь.

Он допил вино, сполоснул стакан и вытер стойку тряпкой. Ему явно не терпелось спроводить меня.

– В котором часу завтракать будете? – спросил он.

Я ответил, что в семь, и поднялся к себе наверх.

Распахнув застекленную дверь, я вышел на узкий балкон. Городок уже затих, и только кое-где в темноте мигали огоньки. Ночь была холодная и ясная. Возшла луна; через день-два должно было наступить полнолуние. Я чувствовал неизъяснимое волнение – я как будто вернулся в прошлое. В номере, где я собирался провести ночь, может быть, останавливались Виктор и Анна – в то роковое лето тринадцатого года. Может быть, Анна стояла на том же балконе и глядела на Монте-Верита, а Виктор, не подозревая о трагедии, до которой оставалось всего несколько часов, окликал ее изнутри...

Теперь я прибыл сюда по их следам.

Поутру я спустился вниз позавтракать, но хозяин, мой вчерашний собеседник, ко мне не вышел. Кофе и гренки мне подала молоденькая девушка, очевидно его дочь, миловидная и приветливая. Она поздоровалась и пожелала мне удачного дня.

– Я собираюсь в горы, – сказал я. – Погода, судя по всему, благоприятствует. А вы поднимались когда-нибудь на Монте-Верита?

Она мгновенно отвела глаза:

– Нет. Я из долины никуда не отлучалась.

Равнодушно, как бы мимоходом я упомянул о друзьях, которые когда-то побывали здесь (я не стал уточнять когда) и добрались до Монте-Верита. Их заинтересовал древний монастырь и таинственная тамошняя секта, но узнать толком ничего не удалось.

– Вы не слышали, они по-прежнему там? – спросил я и с напускным безразличием зажег сигарету.

Девушка с опаской покосилась через плечо, будто боялась, что нас могут подслушать.

– Вроде бы там, – ответила она. – Отец при мне ни о чем таком не говорит. Для молодых это тема запретная. Ее не обсуждают.

– Я живу в Америке, – сказал я, продолжая попыхивать сигаретой. – По моим наблюдениям, и там, и во всех других странах молодежь, когда сходится вместе, больше всего на свете любит обсуждать именно запретные темы.

Ее губы тронула едва заметная улыбка, но она промолчала.

– Смеею предположить, что и вы с подружками не прочь посудачить о том, что происходит на Монте-Верита.

Мне было стыдно за свое двуличие, но я сознавал, что в этой ситуации атака – единственный способ добыть хоть какие-то сведения.

– Да, верно, – сказала она. – Только между собой, вслух не говорим. Но вот недавно... – Она снова оглянулась назад и, понизив голос, продолжала: – Одна девушка, я хорошо ее знаю,

она скоро должна была выйти замуж... Так вот, она ушла и не вернулась, и теперь говорят, что ее позвали на Монте-Верита.

– Никто не видел, как она ушла?

– Нет. Она ушла тихо, ночью. Даже записки не оставила.

– А не могла она уйти куда-то еще? В большой город на заработки, в какой-нибудь туристский центр?

– Нет, навряд ли. И потом, она перед уходом вела себя очень странно. Говорила во сне про Монте-Верита.

Я помолчал минуту и возобновил допрос, по-прежнему стараясь не выказывать излишнего интереса:

– Что же там особенного, на этой самой Монте-Верита? Жизнь в монастыре наверняка нелегкая, даже, может быть, и жестокая.

– Не для тех, кто услышал зов. Женщины там не стареют, навсегда остаются молодыми.

– Откуда это известно? Ведь их никто не видел.

– Так всегда было. Люди в это верят. Вот поэтому у нас в долине их ненавидят и боятся. И еще им завидуют. На Монте-Верита знают секрет вечной жизни.

Она поглядела в окно на горы, и глаза у нее погрустнели.

– А вы? Вы не думаете, что и вас когда-нибудь позовут?

– Куда уж мне... – протянула она. – И потом, я боюсь.

Она забрала пустую кофейную чашку и поставила передо мной тарелку с фруктами.

– Теперь, когда эта девушка ушла, я думаю – быть беде. – Она говорила еле слышно. – Народ в долине обозлен. Мужчины в деревне хотят поднять людей, собрать отряд побольше и пойти на штурм. Наши люди совсем озверели. Могут всех перебить, кто там живет, а тогда будет еще хуже – пришлют войска, начнутся суды, приговоры, расстрелы... Все плохо кончится. Да и сейчас хорошего мало. Все боятся, открыто говорить не решаются, только шуткаются.

За дверью послышались шаги отца; девушка скользнула за стойку и стала сосредоточенно наводить там порядок, не поднимая головы.

Хозяин с подозрением оглядел нас обоих. Я затушил сигарету и встал из-за стола.

– Все-таки собираетесь на Монте-Верита? – спросил он.

– Да. Вернусь послезавтра или днем позже.

– Я вам не советую задерживаться.

– А что, погода должна перемениться?

– Погода-то переменится, само собой. Главное – небезопасно там будет.

– В каком смысле небезопасно?

– Может заваруха начаться. Мы тут сейчас как на пороховой бочке. У людей того и гляди терпенье лопнет. А терпенье лопнет – мужики совсем голову потеряют. Не приведи господь подвернуться им под горячую руку. Турист ли, иностранец – им все едино. Так что не стоит вам туда идти. Не советую. Ступайте лучше на север. На севере спокойно.

– Благодарю вас, но я уже настроился. Попробую.

Он пожал плечами и отвернулся.

– Как знаете. Дело ваше.

Я вышел из гостиницы, в конце улицы перешел через мостик над горным ручьем и оказался на тропе, ведущей из долины к восточному склону Монте-Верита. В неподвижном воздухе я еще долго различал доносившиеся снизу звуки: лай собак, звяканье коровьих колокольчиков, грубые мужские голоса. Постепенно струйки дыма из труб слились в сплошную синеватую пелену, а городок с его домишками с высоты стал казаться игрушечным.

Тропа вилась надо мной и уходила все дальше, все глубже, в самое сердце горы, пока ближе к полудню долина совсем не пропала из виду. Я думал только о том, чтобы идти вперед,

подниматься все выше, выше, преодолеть первый гребень, потом осилить второй и начать взбираться на третий, более крутой, чем первые два, почти отвесный, еще окутанный тенью. Продвигался я не слишком быстро: побаливали нетренированные мышцы, иногда сбивалось дыхание, но воодушевление мешало чувствовать усталость. Напротив, я был полон сил и думал, что могу так идти без конца.

Я глазам не поверил, когда увидел перед собой деревню, поскольку считал, что до нее еще не меньше часа. Очевидно, я все-таки уложился в неплохое время: на часах было только четыре. Деревня показалась мне убогой и заброшенной; похоже, жителей там почти не осталось. Многие окна были заколочены досками, часть домов обвалилась и разрушилась. Только из двух или трех труб шел дым, а на соседних выгонах не было ни души. Несколько коров, тощих и неухоженных, щипали траву у самой дороги; колокольчики глухо позвякивали в застывшем воздухе. Все это производило мрачное, гнетущее впечатление, особенно по контрасту с радостным возбуждением, которое я испытывал при подъеме наверх. Мысль провести здесь ночь меня не вдохновляла.

Я подошел к двери ближайшей лачуги, где над кровлей вилась струйка дыма, и постучал. Дверь не сразу открыл паренек лет четырнадцати, который, завидев меня, обернулся и кликнул кого-то. Наружу вышел мужчина примерно одних со мной лет, тяжелый, грузный, с туповатым лицом. Он сказал что-то на местном наречии, потом, спохватившись, перешел на основной язык страны. Знал он его не намного лучше меня – то и дело запинаясь и подыскивая слова.

– Ты доктор из долины? – спросил он.

– Нет. Я приезжий, провожу здесь отпуск, хочу полазать по горам. Мне нужно где-нибудь переночевать. Вы не согласитесь пустить меня на ночлег?

Он помрачнел и вместо прямого ответа сказал:

– В доме тяжелый больной. Я не знаю, что делать. Обещали прислать доктора. Ты никого не встретил по дороге?

– Боюсь, что нет. Кроме меня, сюда никто не поднимался. А кто болен? Ребенок?

Мужчина покачал головой:

– Нет-нет, здесь нет детей.

Он был явно растерян и сбит с толку. Я мог ему только посочувствовать, но понятия не имел, чем помочь. У меня не было при себе никаких лекарств, кроме пакета первой помощи и пузырька с аспирином. Если у больного жар, аспирин мог сбить температуру. Я вынул аспирин из рюкзака и отсыпал мужчине в ладонь горсть таблеток.

– Попробуйте ему дать. Это может помочь.

Он знаком поманил меня в дом:

– Послушай, дай ему сам.

У меня не было особого желания заходить внутрь и наблюдать агонию какого-то хозяйского родича, но соображения гуманности перевесили. Я последовал за хозяином. У стены стояла кровать на козлах; на ней под двумя одеялами лежал человек с закрытыми глазами. Он был бледен, небрит, черты его лица заострились, как бывает у тех, кому недолго осталось жить. Я подошел и взглянул на него. Он поднял веки. Какое-то мгновение мы, не веря себе, смотрели друг на друга. Потом он улыбнулся и протянул ко мне руку. Это был Виктор...

– Слава тебе господи, – прошептал он.

От волнения слова застряли у меня в горле. Виктор жестом подозвал хозяина и стал что-то ему втолковывать на местном наречии – очевидно, объяснял, что мы старые друзья. Хозяин как будто понял, успокоился и вышел, оставив нас вдвоем. Я молча стоял у кровати Виктора, держа его руку в своей.

– И давно ты в таком состоянии? – спросил я наконец.

– Пятые сутки. Плеврит разыгрался. Обычная моя хворь. На этот раз посильней прихватило. Старею.

Он снова улыбнулся. Я видел, что он смертельно болен, но в моих глазах он мало изменился – это был все тот же, прежний Виктор.

– А ты, судя по всему, преуспеваешь, – сказал он, продолжая улыбаться. – Вид у тебя вполне сытый, гладкий.

Я спросил, почему он перестал мне писать, как прошли для него эти двадцать лет.

– Я от всего отрешился. Как и ты, наверно, только на свой манер. Плыву по течению. В Англии не был со дня отъезда. Что ты там держишь? – спросил он.

Я показал ему аспирин:

– Боюсь, это мало поможет. Вот что я предлагаю: я останусь здесь на ночь, а с утра первым делом договорюсь с хозяином, найму пару крепких ребят, и вместе мы тебя транспортируем в долину.

Он покачал головой:

– Пустая трата времени. Мне крышка. Я знаю.

– Чепуха! Тебе нужен врач и нормальный уход. Здесь это организовать невозможно. – Я оглядел помещение, плохо освещенное, душное.

– Да не заботься ты обо мне. Есть кое-кто поважнее.

– Кто же?

– Анна. – И пока я оторопело молчал, не находя слов, Виктор добавил: – Она по-прежнему на Монте-Верита.

– Ты хочешь сказать, что она так и осталась там? В монастыре?

– Ну да. Поэтому я здесь. Бываю регулярно, раз в году – с тех самых пор. Ты забыл? Я же писал тебе, сразу после войны. Живу на побережье, в рыболовецком порту, там тихо, спокойно. И каждый год, в одно и то же время, поднимаюсь сюда. Нынче вот припозднился из-за болезни.

Все это было невероятно. Что за существование – двадцать лет одиночества, без друзей, без интересов... Месяцами ждать, пока придет час очередного безнадежного паломничества...

– Ты хоть раз ее видел? – спросил я.

– Нет.

– Ты пишешь ей?

– Каждый год. Пишу заранее, письмо беру с собой и оставляю у стены, а на другой день прихожу за ответом.

– И твое письмо забирают?

– Всегда. На его месте я каждый раз нахожу плоский камень. И там чем-то острым нацарапано несколько слов. Я уношу все эти камни с собой. Их уже много накопилось. Лежат дома у меня, на побережье.

Его слова меня поразили. Сохранить такую верность, преданность, пронести через долгие годы...

– Я пытался узнать про их религию, – продолжал он. – Вера очень древняя, древнее христианства. О ней упоминается в старых книгах – не прямо, намеками. Я кое-что раскопал. Говорил с учеными, которые изучают мистицизм, старинные обряды древней Галлии, друидов. Когда-то между горными народами существовала тесная связь. И во всех источниках особо подчеркивается власть луны и вера в то, что последователи этой религии навсегда остаются юными и прекрасными.

– Ты так говоришь об этом, Виктор, словно сам веришь, – сказал я.

– Да, верю. И дети тоже верят – те немногие, что остались в деревне.

Наш разговор явно утомил его. Он потянулся за кувшином с водой, который стоял на полу возле кровати.

– Дружище, – сказал я, – аспирин тебе не повредит. Снимет жар. Поможет заснуть.

Я заставил его принять три таблетки и поплотнее укрыл одеялами.

– Есть в доме женщины? – на всякий случай спросил я.

– Нет. И это для меня загадка. Деревня почти пустая. Говорят, всех женщин и детей помоложе переправили в долину. Осталось в общей сложности десятка два мужчин и подростков.

– А когда именно ушли женщины и дети?

– Похоже, за несколько дней до того, как я сюда добрался. Этот малый, которого ты видел, – сын старика, что жил здесь раньше. Старик давно умер, а сын дурак дураком. О чем ни спросишь, ничего не знает. В хозяйстве, впрочем, кое-что смыслит – еды принесет и постель тоже даст. А вот мальчонка у него вполне сообразительный.

Виктор закрыл глаза; я надеялся, что он уснет. Я догадывался, почему женщины и дети бежали из деревни: жителей предупредили о возможных волнениях. Виктору я об этом сказать не решился. Только бы он уступил моим уговорам и позволил перенести его в долину...

К этому времени совсем стемнело, и я проголодался. Я прошел через какую-то полутемную клетушку и очутился на задворках дома. Там никого не было, кроме хозяйского сына. Я попросил его принести мне что-нибудь поесть. Он понял и принес хлеб, масло и сыр. Пока я ел, он стоял и смотрел на меня. Виктор лежал с закрытыми глазами, и я думал, что он спит.

– Он поправится? – спросил мальчик. К счастью, он изъяснялся не на местном наречии.

– Думаю, да. Если удастся найти кого-то, кто поможет доставить его в долину, к доктору.

– Я сам помогу, – сказал мальчик. – Позову еще двух ребят. Идти надо завтра. Потом будет трудно.

– Почему?

– Послезавтра придут люди из долины, поднимется шум, все пойдут наверх. И мы с ребятами тоже пойдем.

– И что там будет – наверху?

Секунду он колебался, но не ответил и только взглянул на меня быстрыми, смысленными глазами.

– Не знаю, – бросил он и скрылся в глубине дома.

С кровати донесся голос Виктора:

– Что сказал мальчонка? Кто придет из долины?

– Я толком не понял, – ответил я с деланой беззаботностью. – Кажется, ждут какую-то экспедицию. Кстати, он предложил помочь снести тебя в долину.

– Откуда здесь возьмется экспедиция? Это какая-то ошибка.

Напрягая голос, он позвал мальчика и, когда тот появился, заговорил с ним на местном наречии. Мальчику было явно не по себе: он мялся и отвечал нехотя. Несколько раз в разговоре прозвучало «Монте-Верита». Потом мальчик ушел обратно, и мы с Виктором остались одни.

– Ты что-нибудь понял? – спросил он.

– Нет.

– Мне это страшно не нравится. Что-то тут затевается. С тех пор как я слег, чувствую – что-то не так. Мужчины в глаза не смотрят, ведут себя странно. Мальчишка сказал – в долине беспокойно, люди настроены воинственно. Ты не слыхал, что там творится?

Я не знал, что сказать. Виктор пристально глядел на меня.

– Хозяин гостиницы особенно не откровенничал, – признался я, выдержав паузу, – но почему-то усердно отговаривал меня от похода на Монте-Верита.

– И какие доводы приводил?

– В общем никаких. Просто сказал, что могут быть неприятности.

Виктор задумался и вдруг спросил:

– В долине случайно женщины не пропадали?

Лгать было бесполезно.

– Да, я слышал – пропала какая-то девушка. Неизвестно, правда или нет.

– Правда, конечно. Вот в чем причина...

Он долго молчал; я не мог различить выражение его лица. В комнате горела всего одна слабая, тусклая лампа, и лицо Виктора было в тени.

– Ты должен завтра подняться на Монте-Верита и предупредить Анну, – сказал он наконец.

Мне кажется, я этого ждал. Я спросил, как мне действовать.

– Я тебе нарисую маршрут. Сбиться нельзя. Тропа идет по старому руслу, все время на юг. Дожди еще не начались, пройдешь спокойно. Если стартуешь до рассвета, впереди у тебя будет целый день.

– А когда доберусь, что делать?

– Оставь письмо с предупреждением и уходи. Пока ты там, письмо не заберут. Я тоже напишу, что болен, застрял в деревне, что неожиданно здесь появился ты – через двадцать лет! Знаешь, я тут задремал и подумал, что ты мне приснился. Ну не чудо ли? До сих пор не верится... У меня такое чувство, будто тебя прислала Анна.

В его глазах светилась прежняя мальчишеская вера, которую я хорошо помнил.

– Может быть, – сказал я. – Либо Анна, либо пресловутая горная лихорадка.

– А это разве не одно и то же? – спросил он.

Мы долго глядели друг на друга в тишине и почти полной темноте. Потом я отошел, позвал хозяйского сына, попросил принести мне одеяло и подушку и улегся на полу возле Виктора.

Во сне он метался и тяжело дышал. Несколько раз я вставал к нему, давал аспирин, подносил воду. Он сильно потел, а я не знал, хорошо это или плохо. Ночь тянулась бесконечно; я практически не сомкнул глаз. Когда начал заниматься бледный рассвет, мы оба уже не спали.

– Тебе пора двигаться, – сказал Виктор.

Подойдя к нему, я испугался: кожа у него была холодная, липкая. Ему явно стало хуже, он совсем ослаб.

– Передай Анне, – сказал он тихо, – если люди из долины доберутся до них, то она и все, кто там есть, окажутся в смертельной опасности. Я знаю, что говорю.

– Все напишу, не беспокойся, – пообещал я.

– Она знает, как сильно я ее люблю. Я повторяю это в каждом письме, но ты повтори еще раз. Оставь письма и жди поблизости, в ложбине. Ждать придется часа два или три, может быть, дольше. Ответ найдешь на камне у стены. Его обязательно оставят.

Я дотронулся до его ледяной руки и вышел в студеное предрассветное утро. И тут сердце у меня сжалось от недоброго предчувствия: вокруг все заволокло туманом. Туман стлался не только подо мной, скрывая тропу, по которой я пришел накануне вечером; он расплзался по всей почти безлюдной деревне, окутывая крыши домов, и клубился у меня над головой, там, где тропа вилась в зарослях кустарника и пропадала из вида.

Рыхлые клочья тумана мягко касались моего лица и проплывали дальше. Влага пропитывала волосы, ощущалась даже во рту. Я стоял в полумгле, озираясь по сторонам, не зная, на что решиться. Инстинкт самосохранения говорил, что подъем лучше отменить. Согласно правилам горной науки, которые еще не полностью выветрились из моей памяти, идти на риск в такую погоду было чистым безумием. Но возвратиться в деревню и видеть в глазах Виктора слабые остатки надежды было выше моих сил. Он умирал, мы оба это знали. А у меня за пазухой лежало его последнее письмо к жене.

Я повернул к югу. Облака тумана продолжали плыть мимо, медленно и неумолимо сползая вниз с вершины Монте-Верита.

Я начал подниматься...

Виктор говорил, что до вершины часа два пути, а если солнце будет все время светить мне в спину, я доберусь быстрее. С собой у меня был набросок местности, который наспех начертил Виктор.

Не прошло и часа, как я осознал свою оплошность. В такую погоду не могло быть и речи о том, чтобы ориентироваться по солнцу. Туман полз навстречу и застилал все вокруг, на коже скапливалась липкая влага. Облака заволокли извилистое русло, по которому я шел наверх еще каких-нибудь пять минут назад; по нему уже неслись осенние горные ручьи, выворачивая со дна землю и камни.

Постепенно ландшафт менялся; когда под ногами вместо корней и кустарника осталась только голая скала, время перевалило за полдень. Все мои планы рушились. Хуже того, я сбился с дороги. Я повернул назад, но не смог найти русло, по которому поднимался. Обнаружилось другое, старое, но оно поворачивало к северо-востоку и успело превратиться в бурный поток, который стремительно низвергался по склону. Одно неверное движение – и меня бы смыло и унесло. Искать опоры среди мокрых осыпающихся камней – пустое дело. Я бы только разодрал в клочья руки.

От радостного возбуждения, владевшего мной накануне, теперь не осталось и следа. На смену горной лихорадке пришло знакомое по прежнему опыту чувство страха. Случилось то, с чем я сталкивался и раньше: все вокруг заволокло непроглядным туманом. В горах мало что делает тебя таким беспомощным, как невозможность ориентироваться по знакомым приметам. При восхождении запоминаешь каждый свой шаг, держишь в памяти весь проделанный путь, дюйм за дюймом, и знаешь, что в любой момент можешь той же дорогой спуститься обратно. Я умел выходить из положения, когда был молод, тренирован, закален. А сейчас, с грузом лет за плечами, избалованный привычкой к городской жизни, я оказался в одиночестве на незнакомой горе. И меня охватил страх.

Я уселся под большим валуном, спасаясь от тумана, доел остатки бутербродов, приготовленных для меня в гостинице, и решил подождать. Довольно скоро понадобилось встать и потопать ногами, чтобы согреться. Холод пока не пробирал до костей, он просачивался в тело понемногу – тоскливый, промозглый холод, который приходит с туманом.

Меня поддерживала только надежда, что с наступлением темноты, когда температура воздуха понизится, туман рассеется. Ночью ожидалось полнолуние – очко в мою пользу. В полнолуние туман обычно долго не задерживается – он редет и тает. Поэтому я обрадовался похолоданию. Воздух становился прозрачнее, и, глядя наверх, к югу, откуда весь день напознал туман, я кое-что различал на расстоянии десяти футов. Однако подо мною туман был по-прежнему густой и плотный. Непроницаемая пелена скрывала спуск. Я терпеливо ждал. Выше, в том же южном направлении, видимость постепенно увеличилась с двенадцати до пятнадцати футов, а вскоре и до двадцати. Туман редел, превращался в пар, на глазах таял. И неожиданно почти целиком обозначился контур горы – гигантское южное плечо, а над ним первый за весь день проблеск неба.

Я снова взглянул на часы. Без четверти шесть. К Монте-Верита приближалась ночь.

Остатки тумана на какое-то время снова заволокли пробившийся было сквозь них клочок ясного неба, но вскоре окончательно растаяли; небо очистилось. Я вышел из своего убежища. Второй раз за день передо мной встал выбор: подниматься или спуститься обратно. Путь наверх просматривался хорошо. Передо мной высилось то самое плечо, которое упоминал в своем рассказе Виктор. С юга его окаймлял узкий гребень – по нему-то я и должен был пройти двенадцать часов назад. Через два-три часа взойдет луна; при лунном свете будет нетрудно достигнуть отвесного склона Монте-Верита. В раздумье я поглядел в сторону спуска. Тропа была полностью скрыта стеной тумана. Следовательно, пока туман не растает, мне придется пребывать в том же положении, что и днем, – не зная точно, где я нахожусь, буквально не видя дальше собственного носа.

Взвесив все, я решил не поворачивать назад, а дойти до цели и сдержать слово, которое дал Виктору.

Теперь, когда туман отступил, скатился вниз, я воспрял духом. Я еще раз изучил набросок местности, сделанный Виктором, и направился к южному плечу. Я был голоден и многое бы отдал за бутерброды, которые неосмотрительно доел днем. От моих запасов осталось только немного хлеба. И еще пачка сигарет. Для дыхания курево было, разумеется, не полезно, но сигарета могла хотя бы перебить чувство голода.

Над собой я уже видел пики-близнецы, застывшие на фоне неба; я смотрел на них с новым, особым волнением. Я знал: когда я обогну плечо и вплотную подойду к вертикальному южному склону, цель моего путешествия будет достигнута.

Я карабкался вверх и видел, как предвершинный гребень сужается, а крутизна постепенно растет. Потом у меня за спиной из туманного марева выплыл край огромной луны. Ее вид обострил ощущение одиночества. Мне казалось – я один бреду по кромке земли, а подо мной и надо мной Вселенная. И никого больше нет на этом безлюдном диске, который несетя сквозь космос в конечную тьму.

По мере того как всходила луна, человек, поднимавшийся вверх, превращался в ничто. Я больше не ощущал себя как личность. Оболочка, заключавшая мою сущность, двигалась, лишенная чувств, влекомая ввысь какой-то безымянной, исходившей от луны силой. Я сам зависел от луны, подобно океанским приливам и отливам. Я не мог послушаться закона, который повелевал мною, как не мог не дышать. В крови у меня бушевала не горная лихорадка, а настоящая горная магия. Меня гнала вперед не собственная нервная энергия, а притяжение полной луны.

В какой-то момент на моем пути возникла скалистая арка, нависшая над ложбиной, о которой тоже говорил Виктор. Пригнувшись, я прошел по ней ощупью. И когда я выбрался из темноты на свет, моим глазам предстала двойная серебристо-белая вершина и отвесный склон Монте-Верита.

Впервые в жизни я созерцал столь совершенную красоту. Я забыл о своей миссии, о тревоге за Виктора, о тумане, державшем меня в страхе весь день. Я достиг своей цели. Путешествие завершено. Время потеряло значение; я о нем больше не думал. Я застыл на месте, глядя на склон горы, озаренный луной.

Не знаю, сколько я так простоял, не помню, когда заметил на стене и на башне фигуры, которых раньше там не было; их очертания отчетливо вырисовывались на фоне неба. Неподвижные и безмолвные, они были похожи на каменные изваяния.

Издали я не мог разглядеть их лиц – различал только силуэты. Одна стояла поодаль от других, в открытой башне, и была с головы до ног закутана в белое покрывало. В памяти зашевелились старинные предания о друидах, кровавых заклинаниях, жертвоприношениях. Я догадался: те, кого я вижу, поклоняются луне, а сегодня как раз полнолуние. Сейчас намеченную жертву сбросят в пропасть, и мне предстоит стать свидетелем этого страшного ритуала.

Мне не раз доводилось испытывать страх, но теперь это был не просто страх, а какой-то мистический ужас. Я поспешно отступил назад, к ложбине, и упал на колени, боясь, что меня заметят – так ярко светила луна. Я видел, как они воздели руки; до меня донеслось невнятное бормотание. Поначалу глухое, еле слышное, оно росло и делалось все громче – и наконец взорвало не нарушаемую дотоле тишину. Голоса, подхваченные эхом, то усиливались, то затихали в воздухе; потом белые фигуры все как одна обратились лицом к луне. И я понял: жертвоприношений не будет. Не будет ритуальных заклинаний. Они пели хвалебный гимн.

Я прятался в тени, снедаемый стыдом, как человек, который по невежеству вторгся в святилище, где исповедуют неизвестную ему религию; а пение все звучало – неземное, пугающее и вместе с тем невыносимо прекрасное. Я обхватил руками голову, закрыл глаза и лбом припал к земле.

Мало-помалу хвалебный гимн начал стихать. Он перешел в бормотание, потом в едва слышный вздох, прошелестел и замер. На Монте-Верита вернулась тишина.

Но я по-прежнему не смел пошевелиться. Руками я сжимал голову, лицом касался земли. Я не стыдился своего страха. Я словно затерялся между двух миров: мой собственный исчез, а их миру я был чужой. Охотнее всего я бы растворился в тумане...

Я ждал, не вставая с колен. Наконец с опаской поднял голову и поглядел наверх. Стены и башня опустели. Там больше не было ни души. Луну закрыло темное косматое облако.

Я распрямился и какое-то время стоял не шевелясь, не сводя глаз со стен и башни. Теперь, когда луна зашла за тучу, там нельзя было уловить ни малейшего движения. И таинственные фигуры, и хор неземных голосов могли оказаться плодом моего разыгравшегося воображения. На фоне страха все это могло мне просто привидеться.

Я подождал, пока туча, закрывавшая луну, уйдет, собрался с духом и нащупал за пазухой письма. Не знаю, что писал Анне Виктор, но сам я написал следующее:

«Дорогая Анна!

По необъяснимой прихоти Провидения я оказался в деревне у Монте-Верита и обнаружил там Виктора. Он безнадежно болен; боюсь, что он умирает. Если Вы хотите что-нибудь ему передать, оставьте сообщение у стены. Я ему отнесу. Кроме того, должен предупредить Вас, что вашей общине, насколько я могу судить, грозит серьезная опасность. Люди в долине напуганы и разозлены: пропала одна из местных женщин. Весьма вероятно, что они поднимутся на Монте-Верита и наделают много бед.

На прощанье хочу сказать, что Виктор всегда любил Вас и не переставал о Вас думать».

И поставил внизу свою подпись.

С письмами в руке я пошел к монастырской стене. Вблизи я уже различал оконные проемы, о которых знал из рассказа Виктора, и теперь мне почудилось, что оттуда за мной следят чьи-то глаза и за каждой щелью прячется белое привидение.

Я нагнулся и положил письма на землю. И в это мгновение стена дрогнула и раздвинулась. Из зияющей бреши протянулись руки, меня схватили, швырнули на землю, и чьи-то пальцы сдавили мне горло. Последнее, что я услышал, теряя сознание, был звонкий мальчишеский смех.

Я очнулся как от удара: меня словно выдернули из глубокого сна в реальность. Осталось чувство, что перед пробуждением я был не один. Кто-то стоял рядом со мной на коленях, всматриваясь в мое спящее лицо.

Я совсем закоченел от холода; с трудом я сел и огляделся. Я был в келье футов десять длиной; слабый, призрачный свет просачивался сквозь прорезь в каменной стене. Я взглянул на часы. Стрелки показывали без четверти пять. Выходит, я пролежал без сознания четыре часа с лишком, и сейчас в келью проникал тот белесый, обманчивый свет, какой бывает перед восходом солнца.

Первым моим ощущением была неопишуемая ярость. Я понял: меня одурачили. Деревенские жители мне бессовестно врали – и мне, и Виктору. Они заманили меня в ловушку, и они же посмеялись надо мной – я ведь явственно слышал смех. Я догадался, как было дело. Папаша и сынок обогнали меня на тропе, а потом устроили засаду. Знали, как пробраться внутрь. Многие годы они водили за нос Виктора, а теперь решили околпачить и меня. Одному Богу известно, с какой целью. Вряд ли с целью грабежа. С нас нечего было взять.

Келья, в которую меня бросили, была абсолютно пустая. Ни малейших следов обитания, даже лечь не на что. Странно, кстати, что они меня не связали. Двери там не было, а проход – такой же узкий, как окошко, – оставался открытым, сквозь него я вполне мог протиснуться.

Я решил дожидаться, пока рассветет, пока отойдут онемевшие руки и ноги. Осторожность подсказывала, что спешить не стоит. Попробуйся я сразу выбраться наружу, я мог бы впотьмах споткнуться и упасть – или потеряться в лабиринте лестниц и переходов.

Мое негодование не утихало, но вместе с ним росло отчаяние. Как мне хотелось добраться до моих мучителей, старого и малого, пригрозить разделаться с ними, наконец, вступить в рукопашную – второй раз я не дал бы застать себя врасплох. А вдруг они вообще ушли, бросили меня на произвол судьбы? Вполне допустимо, что именно так они расправляются с чужаками; что и отец нашего хозяина, и деды его, и прадеды промышляли разбоем испокон веков; что женщин в эти стены завлекали точно так же и оставляли умирать голодной смертью... Нет, лучше не заглядывать далеко вперед, нельзя поддаваться панике. Я нащупал в кармане портсигар. Несколько затяжек привели меня в равновесие; запах и вкус сигареты вернули связь с привычным миром.

И тут я увидел фрески. Их высветил постепенно разгоравшийся день. Фрески покрывали все стены и даже потолок. Они не были похожи на неумелое, наивное творчество крестьянских художников-самоучек; не были они похожи и на канонические изображения святых, сделанные богобоязненным иконописцем. В этих фресках была жизнь, чувство, цвет, глубина. Не знаю, имелся ли там какой-либо определенный сюжет, но лейтмотив прослеживался четко: поклонение луне. Одни персонажи были представлены коленопреклоненными, другие стояли во весь рост, и все простирали руки к полной луне, нарисованной на потолке. При этом каким-то непостижимым образом их глаза, выписанные с необыкновенным мастерством, были устремлены не вверх, на луну, а прямо на меня, вниз. Я курил и старался смотреть в сторону, но мне никак было не скрыться от этих глаз. Казалось, что я снова стою перед стеной, снаружи, и сквозь прорези окон за мной наблюдают безмолвные соглядатаи.

Я поднялся и затушил ногой окурок. Я готов был на что угодно, лишь бы не оставаться наедине с этими изображениями. Я шагнул к дверному проему – и снова услышал смех. Не такой громкий, скорее приглушенный, но явно издевательский – и молодой! Чертов мальчишка...

Я бросился прочь из кельи, проклиная его на ходу. У него мог оказаться нож, но мне было уже все равно. Он ждал, прижавшись к стене. Я различал его блестящие глаза, стриженные волосы. Я хотел дать ему пощечину, но он ловко увернулся и снова рассмеялся. И он был не один! За ним стоял кто-то еще! Их было трое! Все вместе они набросились на меня и повалили наземь, как куклу. Первый придавил мне коленом грудь и стиснул руками горло.

Я начал задыхаться, и он ослабил пальцы. Вся троица внимательно следила за мной, продолжая непонятно чему улыбаться. Теперь я разглядел их как следует. Этих мальчишек – или юношей – я видел первый раз. Никакого сходства с хозяйским сыном у них не было, да и с прочими здешними жителями тоже. Лица у них были необычные – такие, как на фресках.

Их загадочные миндалевидные глаза с тяжелыми веками, слегка раскосые, бесстрастные, напомнили мне глаза, которые я когда-то видел на египетском саркофаге и на древней вазе, пролежавшей не одно тысячелетие под слоем пыли и щебня в городе, стертом с лица земли. Все трое были в туниках до колен, с обнаженными руками и ногами, с короткими волосами; они поразили меня строгой, аскетической красотой и какой-то дьявольской грацией. Я попытался подняться, но тот, кто держал меня за горло, еще плотнее придавил меня к земле. Я понимал: тягаться с ними мне не под силу; им ничего не стоит швырнуть меня в пропасть у подножья Монте-Верита. Мне конец – раньше ли, позже ли... И Виктор умрет в деревенской лачуге один...

– Ну, давайте кончайте со мной, – сказал я, отчаявшись и не надеясь на пощаду. Вот-вот я снова услышу смех – звонкий, молодой, издевательский, – вот-вот меня подхватят на руки и сбросят в темноту, в смерть. Мои нервы были натянуты как струна; я закрыл глаза и приготовился к худшему. Но ничего страшного не случилось. К моим губам прикоснулись лег-

кие пальцы. Открыв глаза, я увидел юное улыбающееся лицо. Мальчик держал в руках чашу с молоком и молча, знаком предлагал мне утолить жажду. Я замотал головой, но двое других приблизились, встали на колени, взяли меня за плечи и, подложив руки под спину, приподняли – и я стал пить, жадно, благодарно, как малый ребенок. Недавние кошмары отступили: казалось, будто из их рук исходит и передается мне какая-то животворящая сила, наполняющая все мое существо.

Когда я кончил пить, первый юноша забрал чашу, поставил ее на землю и приложил обе ладони к моей груди. Чувство, которое охватило меня, не поддается описанию. На меня словно снизошел божественный покой, всепобеждающий, безмолвный. Чудо прикосновения затмило тревогу и страх, усталость и ужасы прошлой ночи. Туман по дороге наверх, умирающий в одиночестве Виктор – все это разом выветрилось у меня из головы, превратилось в ничто по сравнению с необыкновенным ощущением красоты и могущества, которое я испытывал. Даже если Виктор умрет, в этой жалкой лачуге останется одна телесная оболочка, а его сердце будет биться здесь, как бьется мое, и душа присоединится к нам.

Я говорю «к нам» потому, что тогда, в монастырской келье, мне показалось, что они приняли меня в свой таинственный круг. Я приобщился к ним, я стал одним из них. Еще не веря, растерянный, счастливый, я говорил себе: вот такой и должна быть смерть. Смерть как отрицание всех болей, всех печалей. И жизнь как родник, берущий начало в сердце, а не в лукавом человеческом разуме.

Юноша снял ладони с моей груди, по-прежнему улыбаясь, но ощущение силы и могущества не покидало меня. Он поднялся на ноги; я тоже встал и вслед за ним и двумя другими вышел наружу. Вопреки ожиданиям за пределами кельи я не увидел ни извилистых переходов, ни темных аркад – был только просторный, открытый двор, куда на три стороны выходили кельи. Четвертой служила отвесная стена, над которой высились пики-близнецы, увенчанные снежными шапками и непередаваемо прекрасные в розоватых лучах восходящего солнца. К вершине Монте-Верита вели ступени, вырубленные во льду; во дворе, как и в стенах обители, царил тишина, и теперь я понял почему. На всех ступенях безмолвными рядами выстроились белые фигуры – в одинаковых туниках с поясами из цветных камешков, коротко подстриженные, с обнаженными руками и ногами.

Мы пересекли двор и стали подниматься по ступеням, чтобы присоединиться к стоявшим. Вокруг не раздавалось ни звука: они не обращались ни ко мне, ни друг к другу, только улыбались, как и первые трое. Их улыбка не была просто вежливой или дружеской, такой, какую видишь в нашем мире. Это была улыбка торжествующая – в ней сливались воедино мудрость, ликование и страсть. Невозможно было определить их возраст, понять, мужчины это или женщины, но красота их лиц, грация тел поразила и взволновала меня до глубины души. И мне вдруг захотелось стать таким же, как они: одеваться, как они, любить, как любят они, смеяться вместе с ними, поклоняться тому же, что они, и так же, как они, хранить молчание.

Я поглядел на собственную одежду – на куртку, рубашку, спортивные бриджи, толстые носки, горные ботинки, – и внезапно вся эта унылая амуниция, годная только на то, чтобы обрядить покойника, сделалась мне отвратительна. Я сорвал с себя все и швырнул ком одежды вниз, во двор, чтобы поскорей от нее избавиться. Я стоял под солнцем обнаженный, не испытывая смущения или стыда. Меня не заботило, как я выгляжу, мне это было безразлично. Я знал, что хочу покончить со всеми атрибутами мира, в котором пребывал до сих пор; избавляясь от одежды, я символически прощался со своей прежней сущностью.

Мы взошли по ступеням к вершине, и нам открылось необъятное пространство, свободное от облаков. Цепи гор меньшей высоты терялись в бесконечности, а далеко внизу в легкой дымке лежали тихие зеленые долины, реки, объятые сном города, до которых нам больше не было дела. Повернув голову, я увидел, что пики-близнецы разделяет глубокая расселина – неширокая, но непроходимая. Голубоватые стены, гладкие, без единой выбоины, отвесно ухо-

дили вниз, образуя пропасть, навечно скрытую в сердце горы. На столь безмерную глубину не могли бы проникнуть ни лучи высокого полуденного солнца, ни свет полной луны, ни тем более слабый человеческий глаз. И эта зажатая между двумя вершинами расселина показалась мне похожей на гигантскую чашу в ладонях какого-то высшего божества.

Кто-то с головы до ног закутанный в белое стоял на краю обрыва. И хотя я не мог различить лица – его скрывал капюшон, – высокий, стройный силуэт, гордая посадка головы, простертые навстречу мне руки заставили мое сердце бешено забиться.

Я сразу понял, что это Анна. Так стоять не мог никто, кроме нее. Я забыл о Викторе, забыл о своей миссии, забыл о времени, о том, где я нахожусь, обо всем, что случилось за последние двадцать шесть лет. Помнил я только покой, нисходивший на меня в ее присутствии, помнил, как она тихо сказала мне: «Мы ведь оба ищем одно и то же». И я окончательно понял, что всегда, всю жизнь любил ее. Она познакомилась с Виктором раньше, чем со мной, она его выбрала, вышла за него замуж, – пусть так, это ничего не меняло. Узы брака ни для меня, ни для нее никогда не имели значения. Наши души встретились, соприкоснулись и ощутили родство с той секунды, когда Виктор представил нас друг другу. И этот странный, необъяснимый союз сердец, способный сломать любые преграды, одолеть любые препятствия, помог нам сохранить близость – невзирая на молчание, разлуку и прожитые врозь годы.

Какую страшную я совершил ошибку, отпустив их на Монте-Верита одних! Если бы я присоединился тогда к ним обоим, как они предлагали во время нашей последней встречи в книжном магазине, интуиция подсказала бы мне, что задумала Анна, я услышал бы зов, который слышала она. Я не проспал бы всю ночь, как Виктор, встал бы с рассветом, ушел вместе с ней, и годы, истраченные мною впустую, могли бы стать нашими общими, и мы провели бы их вместе, вдвоем, в этих горах, отрезанных от мира.

Я еще раз взглянул вокруг, на лица стоявших рядом, и с ревнивой завистью, доходящей почти до боли, подумал, что они – не в пример мне – владеют секретом какой-то высшей формы любви. Причина их молчания – не обет, обрекающий на прозябание во тьме: гора дарила им покой, умиротворение, настраивала на единый лад их души. Слова не нужны, когда мысли можно выразить улыбкой и взглядом, когда неудержимый радостный смех, идущий из самого сердца, сближает и роднит.

Их сообщество не было похоже на закрытый монашеский орден, мрачный, как могила, отрицающий все, чем наделил нас природный инстинкт. Жизнь здесь была полная, яркая, интенсивная; жар солнца просачивался в вены, вливался в общий кровоток, становился частью живой плоти, а холодный воздух, впитывая солнечный свет, очищал мышцы и легкие, заряжал их силой и могуществом – силой, которую я ощутил, когда их пальцы прикоснулись к моему сердцу.

За ничтожно короткое время изменились все мои ценности. Тот я, который совсем недавно карабкался в гору, терзаемый гневом и страхом, больше не существовал. А нынешний я – пожилой человек с седой головой, который нормальным людям, доведись им увидеть меня сейчас, показался бы шутком, посмешищем, безумцем, – я стоял обнаженный среди других солнцепоклонников на Монте-Верита. Солнце поднялось уже высоко и светило прямо на нас; оно до пузырей жгло кожу, пронизывало жаром сердце и легкие, наполняя тело блаженством и болью.

Я продолжал не отрываясь смотреть на Анну. Я так ее любил, что машинально повторял вслух ее имя: «Анна... Анна...» Она знала – я здесь, она подала мне знак, подняла руку. Вокруг все приняли это как должное. Они молча радовались вместе со мной, они понимали.

И тут от стоявших на ступенях отделилась девушка в простом крестьянском платье, в чулках и башмаках, с распущенными волосами. Руки у нее были сложены на груди, как для молитвы, но, приглядевшись, я увидел, что она прижимает их к сердцу.

Она подошла к краю пропасти, туда, где стояла Анна. Прошлой ночью, при полной луне, я бы наверняка застыл от ужаса, но сейчас страха не было. Я приобщился к ним; я стал одним из них. Прорезавшись на миг из бесконечного пространства над нами, луч солнца скользнул по краю обрыва и озарил своим блеском голубой лед. В едином порыве мы опустили на колени, обротив лицо к солнцу, и я вновь услышал звуки хвалебного гимна.

Вот так, подумал я, люди в древности поклонялись животворящему солнцу; так будут поклоняться ему и впредь, до конца. Нет ни веры, ни Спасителя, ни божества. Только солнце, которое дает нам свет и жизнь. И так было с незапамятных времен.

Солнечный луч скользнул дальше, и тогда девушка, поднявшись с колен, сбросила чулки и башмаки, за ними платье, и Анна ножом обрезала ей волосы – коротко, почти до корней. Девушка стояла не двигаясь, прижимая к сердцу ладони.

Теперь она свободна, думал я, она больше не вернется в долину. Родители ее оплачут, жених погорюет и утешится, и никто так и не узнает, ради чего она осталась на Монте-Верита. Дома ее ждал бы свадебный пир, поздравления, подарки, танцы, а потом на смену недолгому романтическому всплеску пришла бы рутина семейной жизни: заботы о доме, о детях, болезни, беды и напасти – и долгое унылое старение. Здесь это ей не грозит. Здесь все чувства остаются неизменными. Любовь и красота не умирают и не меркнут. Жизнь здесь суровая, ибо сурова Природа, чуждая милосердия. Но об этой жизни она и мечтала, ради этого пришла сюда. Здесь она узнает все, чего не знала прежде, чего никогда бы не открыла для себя, оставшись в своем привычном мире. Страсть, радость, смех, жар солнца и притяжение луны, любовь без надрыва, сон без ночных кошмаров... Вот почему люди в долине ненавидят и боятся Монте-Верита. Здесь есть то, чего нет и никогда не будет у них. И недаром они злятся, завидуют и чувствуют себя обделенными.

Анна повернулась и от края обрыва стала спускаться вниз. И девушка, отныне бесполоая, отбросившая свое естество вместе с прошлой жизнью и деревенской одеждой, последовала за ней – босиком, с голыми руками, коротко остриженная, как все остальные. Она улыбалась, светилась счастьем, и я понял, что отныне ничто не нарушит ее душевный покой.

Все сошлись во дворе. Я остался на вершине один. Я чувствовал себя изгоем, перед которым захлопнулись врата рая. Момент торжества мелькнул и исчез. Они все были частью этого мира, а я как был, так и остался чужаком.

Я снова оделся, и это волей-неволей меня отрезвило: я вспомнил Виктора и его поручение. Я спустился по ступеням во двор и, подняв голову, увидел, что Анна успела подняться на башню и ждет меня там.

Наверх вела крутая лестница; стоявшие прижались к стене, чтобы дать мне пройти. Отличие Анны от остальных обитателей сразу бросалось в глаза: она одна носила длинный белый плащ с капюшоном. Над башней, открытой сверху, синело небо. Анна сидела на ступеньке, согнув одну ногу и опершись локтем о колено, – в той самой памятной мне позе, в какой сживала когда-то на низком табурете у камина в Шропшире. Сегодня превратилось во вчера. Время отступило; мы, словно двадцать шесть лет назад, оказались вдвоем в доме Виктора, и на меня, как всякий раз в ее присутствии, снова снизошел благодатный покой. Мне хотелось упасть перед ней на колени, прижаться губами к ее руке. Но я не смел и молча стоял у стены, скрестив руки.

– Наконец-то ты нас нашел, – проговорила она. – Долго же ты искал.

Голос был тихий, спокойный, точно такой, как прежде.

– Это ты привела меня сюда? – спросил я. – Ты позвала меня, когда мой самолет разбился?

Она засмеялась знакомым смехом. Мы словно никогда не разлучались. На Монте-Верита остановилось время.

– Я пыталась позвать тебя и раньше, – сказала она. – Но ты так поспешно закрылся от меня, будто бросил на рычаг телефонную трубку. А в одиночку по телефону не поговоришь. Телефоны еще существуют?

– Да, только более усовершенствованные – телефонисток упразднили, соединение осуществляется автоматически. Но ведь души, как и раньше, в посредниках не нуждаются.

– Твоя душа столько лет была как наглухо закрытый ящик. Жаль – у нас могло бы быть так много общего. Виктор должен был излагать свои мысли в письмах, а с тобой писем бы не понадобилось.

Для меня блеснул лучик надежды. Теперь надо было действовать с особой осторожностью.

– Ты успела прочесть его письмо? – спросил я. – И мое прочла? Ты знаешь, что он умирает?

– Да, знаю. Он болен уже много недель. Поэтому я постаралась сделать так, чтобы ты был здесь. Был при нем, когда придет его час. Ему станет легче, если ты вернешься и расскажешь, что видел меня и говорил со мной. Он будет рад.

– Ты не хочешь пойти сама?

– Не стоит. Пусть его иллюзии останутся с ним до конца.

Иллюзии? Что она хочет сказать? Стало быть, они на Монте-Верита не всеильны? Она понимает, что их жизнь сопряжена с опасностями?

– Анна, я сделаю, как ты говоришь, – начал я. – Я вернусь к Виктору и останусь при нем до конца. Но время поджимает. Тебе и всем, кто тут есть, угрожает опасность. Здесь оставаться нельзя. Завтра, может быть, даже нынче ночью люди из долины прорвутся на Монте-Верита, возьмут эти стены штурмом и уничтожат всех. Необходимо опередить события. Если у вас нет никаких средств самозащиты, разреши мне помочь вам. Мы не окончательно отрезаны от цивилизации, все это осуществимо. Я могу спуститься в долину, разыскать телефон, поднять на ноги полицию, вызвать на подмогу армию, связаться с компетентными властями...

Мои слова повисли в воздухе. В голове у меня еще не созрел четкий план; для начала было важно, чтобы она доверилась мне, решила, что на меня можно положиться.

– Пойми, – убеждал я ее, – жизнь здесь не сможет продолжаться, как раньше. Если на сей раз беду удастся отвести, в чем я сильно сомневаюсь, все повторится через неделю, через месяц. Дни вашей безопасности сочтены. Вы столько лет прожили в изоляции; вряд ли вы понимаете, в каком состоянии сейчас находится мир. Даже эту небольшую страну разрывает взаимная подозрительность и враждебность. Люди из долины уже далеко не те суеверные, темные крестьяне, как когда-то. Они вооружены современным оружием и не остановятся перед массовым убийством. Вас всех ждет верная гибель.

Она не отвечала. Только слушала, не вставая, кутаясь в свой белый плащ, – далекая, отрешенная.

– Анна, Виктор умирает, – сказал я. – Может быть, его уже нет в живых. Он больше не сможет тебе помочь, но я смогу. Я всегда тебя любил. Слова ни к чему – ты и так знаешь. Ты сломала две жизни, его и мою, когда ушла на Монте-Верита двадцать шесть лет назад. Но речь сейчас не об этом. Важно, что я снова нашел тебя. И на свете сохранились еще уголки, не тронутые цивилизацией, куда мы могли бы уехать вместе, ты и я... и все, кто здесь с тобой, если они пожелают к нам присоединиться. У меня достаточно денег, я все устрою, тебе не придется ни о чем беспокоиться.

Мысленно я уже видел, как улаживаю практические вопросы в посольствах и консульствах, оформляю паспорта, выправляю нужные бумаги, запасаюсь одеждой...

И одновременно перед глазами у меня разворачивалась карта мира с нехоженными горными массивами – от Южной Америки до Гималаев, от Гималаев до Африки. А еще малоисследованные просторы Северной Канады, обширные области Гренландии... И острова – бес-

конечное множество затерянных в океане островов, пристанище морских птиц, куда не ступала нога человека. Безразлично, что это будет – гора или остров, заросли или пустыня, дремучий лес или ледяные равнины Арктики. Пусть Анна выбирает сама. Я слишком долго жил вдали от нее и теперь хотел одного: быть с ней вечно.

И это было реально: ведь Виктор, ее законный муж, на грани смерти. Я повторил ей это еще раз – без прикрас, с предельной откровенностью. И теперь ждал от нее ответа.

Она засмеялась мягким, негромким смехом, который я так любил и так хорошо помнил; мне захотелось подойти и обнять ее – столько жизни было в этом смехе, столько радости и надежды.

– Ну так как? – спросил я.

Она поднялась и встала рядом со мной.

– Жил-был один человек, – заговорила она, – и поехал он на вокзал Ватерлоо, и попросил кассира продать ему билет в рай. Один билет. В один конец. И когда кассир ответил, что такой станции не существует, он схватил стеклянную чернильницу и запустил кассиру в голову. Вызвали полицию, буяна увезли и посадили в тюрьму. Тебе не кажется, что ты просишь у меня билет в рай? А здесь гора Истины, это совсем другое.

Признаться, я был уязвлен. Она не приняла моих слов всерьез, она надо мной насмеялась!

– А что ты тогда предлагаешь? – спросил я. – Сидеть на месте и ждать, когда они явятся и всех перебьют?

– Не беспокойся за нас, – сказала она. – Мы знаем, что нам делать.

Она говорила ровным голосом, словно о вещах безразличных, и я с болью видел, как нарисованное мною наше общее будущее ускользает и тает.

– Может быть, вы владеете каким-то секретом? – укоризненно спросил я. – Ты способна сотворить чудо, спасти себя и всех остальных? А как же я? Мне нельзя уйти с вами?

– Ты и сам не захочешь. – Она положила мне руку на плечо. – Построить еще одну Монте-Верита непросто. Отказаться от одежды и начать поклоняться солнцу – это далеко не все.

– Согласен. Я готов начать с нуля, с чистого листа, готов усвоить новые ценности. Все, что занимало меня в этом мире, не стоит и гроша. Талант, успех, работа – все это суета. И если бы я мог быть с тобой...

– Со мной? В каком смысле? – спросила она.

Я растерялся и не знал, что сказать. Прямой ответ прозвучал бы чересчур откровенно. Видит Бог, мне хотелось всего, что могут дать друг другу мужчина и женщина. Я жаждал близости – пусть не сразу, потом, когда мы найдем для себя другую гору, или остров, или любое место, где мы сможем скрыться от мира. Сейчас не стоило пускаться в объяснения. Я готов был следовать за ней куда угодно – лишь бы она согласилась.

– Я люблю тебя и всегда любил. Разве этого не достаточно?

– На Монте-Верита – нет.

Она откинула капюшон, и я увидел ее лицо.

Я смотрел на нее, застыв от ужаса, не в силах пошевелиться, не в силах вымолвить ни слова. Меня словно парализовало. Одна сторона ее лица была чудовищно обезображена. Болезнь захватила лоб, щеку, шею, иссушила и покрыла пятнами кожу. Глаза, которые я так любил, потускнели и глубоко запали в черных глазницах.

– Видишь, – сказала Анна, – это место – отнюдь не рай.

Кажется, я отвернулся. Не помню. Помню, что сделал шаг в сторону и взглянул вниз, но увидел только пелену облаков.

– Недуг безжалостен, – произнесла она. – Многие умерли. Если я еще жива, то только потому, что я физически крепче. От проказы никто не защищен, даже мы, живущие на Монте-Верита, хоть нас и считают бессмертными. Но меня это мало заботит. Помнишь, я когда-то

говорила: если горы для тебя важнее всего на свете, им нужно отдавать все до последнего? Вот я и отдала. Худшее позади, я уже не страдаю, и не надо страдать за меня.

Я молчал. По щекам у меня катились слезы; смахнуть их я не пытался.

– На Монте-Верита нет ни иллюзий, ни грез, – продолжала она. – Они достояние земного мира – твоего мира. Прости, если я разрушила образ, созданный твоей фантазией. Ты потерял Анну, которую когда-то знал, и нашел другую, незнакомую. Тебе решать, какую помнить дольше. А теперь возвращайся в свой мир и попробуй построить собственную Монте-Верита.

Где-то внизу росла трава, кусты, деревья; где-то была земля и камни, журчала в ручьях вода. Там, в долине, стояли дома, где жили мужчины и женщины, где рожали и растили детей. В каждом доме был очаг, дым над кровлей, свет в окнах. Еще дальше петляли проезжие дороги, тянулись железнодорожные пути, высились города. Великое множество городов, бесконечное множество улиц. Тесно стоящие здания, ярко горящие окна. Всё там, внизу, под облаками, далеко от Монте-Верита.

– Не тревожься и не бойся за нас, – заключила она. – Люди из долины ничего нам не сделают. И вот еще что... – Она помедлила, и я не глядя почувствовал, что она улыбается. – Не отнимай у Виктора его иллюзии.

Она взяла меня за руку, и мы вместе спустились из башни и прошли через двор, к отвесной стене горы. Обитатели Монте-Верита в своих коротких туниках, с обнаженными руками и ногами стояли и смотрели на нас. Я увидел деревенскую девушку, ту самую новообращенную, отказавшуюся от мира, принятую в их круг. Я увидел, как она повернулась и взглянула на Анну, которая уже не закрывала лицо, и уловил выражение ее глаз – в них не было ни ужаса, ни отвращения. Все глядели на Анну с любовью и восторгом, с полным знанием и полным пониманием. Они разделяли, принимали на себя муки, которые ей выпали. Она была не одинока.

Потом они взглянули на меня, и выражение их лиц изменилось: вместо восторга и любви я прочел в их глазах сострадание.

На прощанье Анна слегка дотронулась до моего плеча и исчезла в проеме стены. Солнце уже клонилось к западу. Снизу медленно наплзала плотная гряда облаков. Я повернулся и пошел прочь от Монте-Верита.

Когда я добрался до деревни, наступил вечер. Луна еще не восходила. Часа через два, а то и раньше она должна была зависнуть над восточным гребнем дальних гор и осветить своим блеском все небо. Люди из долины стояли группами и ждали; их скопилось не менее трех сотен. Все успели вооружиться кто чем мог: у одних были ружья и гранаты, у других, попроще, – топоры и мотыги. На улице, между рядами домов, горели костры; мужчины сидели и стояли у огня, ели принесенную с собой провизию, пили, курили и что-то обсуждали. У некоторых были собаки на поводке.

Мой давешний хозяин стоял у дверей вместе с сыном. Оба были вооружены. У мальчика из-за пояса торчал топор. Хозяин, как всегда угрюмо, покосился на меня и пробурчал:

– Твой друг умер. Много часов.

Я бросился в дом. У постели Виктора горели свечи, одна в изголовье, другая в ногах. Я наклонился и взял его за руку. Хозяин солгал мне: Виктор еще дышал. Ощувив мое прикосновение, он открыл глаза.

– Ты видел ее?

– Да.

– Я знал, что ты ее увидишь. Я это предчувствовал. Она моя жена, все эти годы я любил ее, но свидеться с ней дано было только тебе. Впрочем, ревновать поздновато...

Свечи еле теплились, в комнате был полумрак. Виктор не видел беспокойного движения у дверей, не слышал шагов и приглушенных голосов за окном.

– Ты передал ей мое письмо? – спросил он.

– Она его прочла. И просила сказать, чтобы ты не волновался, не тревожился. Она здорова. Все у нее хорошо.

Виктор улыбнулся и отпустил мою руку.

– Значит, это правда, – сказал он. – Правда все, что мне снилось про Монте-Верита. Анна счастлива, довольна, она никогда не состарится, никогда не потеряет свою красоту. Скажи: ее волосы, глаза, улыбка все те же?

– Точно те же. Она навеки останется самой красивой из всех женщин, которых мы с тобой знали.

Он промолчал. И пока я сидел у его постели, я услышал сигнал охотничьего рога. Ему начал вторить другой, третий. До меня донесся шум и беготня; мужчины вскидывали на плечо ружья, гасили костры, возбужденно перекрикивались. Я слышал лай собак, грубый смех. Когда все звуки затихли, я вышел на опустевшую деревенскую улицу и долго стоял один, глядя, как полная луна всходит над темной долиной.

Перевод И. Комаровой

Яблоня

Впервые он заметил это дерево, когда со дня ее смерти прошло уже месяца три. Он, конечно, видел его и раньше, знал, что оно растет у него в саду перед домом, на лужайке, полого поднимавшейся вверх, к полям. Однако до сих пор он не замечал в этой старой яблоне ничего необычного, ничего, что отличало бы ее от соседних деревьев; помнил только, что росла она немного в стороне, ближе к террасе, и была третья по счету слева.

В то погожее весеннее утро он брился, стоя у открытого окна, и когда высунулся наружу, чтобы глотнуть свежего воздуха, с намыленными щеками и бритвой в руке, его взгляд случайно задержался на старой яблоне. Может быть, весь фокус был в освещении – солнце как раз поднималось над лесом, и в его косых лучах он вдруг увидел дерево по-новому, – только сходство сразу бросилось в глаза.

Он положил бритву на подоконник и взгляделся как следует. Яблоня была чахлая, невзрачная и жалкая на вид – не то что соседние деревья, крепкие и узловатые. Ветвей было не много, и росли они ближе к верхушке, придавая дереву сходство с костлявой, узкоплечей фигурой; ветки словно зябли в утренней прохладе и старались потеснее прижаться к стволу с каким-то унылым, обреченным выражением. Проволока, которой был обмотан низ дерева, напоминала болтающуюся на тощих бедрах серую юбку, а у самой верхушки, провисая под собственной тяжестью, торчала одинокая ветка, похожая на поникшую голову.

Сколько раз он видел свою жену в точно такой понурой позе! Сколько раз она вот так же останавливалась и замирала, чуть подавшись вперед и ссутулившись, – дома ли, в саду или даже в магазине, когда они ездили в город за покупками. Она показывала всем своим видом, будто жизнь к ней особенно жестока и несправедлива, будто ей, в отличие от прочих людей, от рожденья суждено нести непосильную ношу, но она ее покорно тащит и дотащит до конца без единого слова жалобы. «Мидж, у тебя совершенно измученный вид, посиди отдохни, ради бога!» Но на это она отвечала неизменным вздохом, неизменным пожиманием плеч: «За меня ведь никто не сделает» – и, с усилием распрямив спину, принималась за нескончаемый ряд обременительных и никому не нужных дел, которые выдумывала себе сама, – и так изо дня в день, из года в год.

Он не отрываясь глядел на яблоню. Ее согбенная, страдальческая поза, поникшая верхушка, уныло опущенные ветви, несколько сухих листьев, которые случайно уцелели во время зимней непогоды и теперь подрагивали под свежим весенним ветерком, как неряшливо подбритые пряди волос, – во всем этом сквозил немой укор: «Смотри, какая я – и все из-за тебя, ты совсем обо мне не думаешь!»

Он отвернулся от окна и снова начал бриться. Нет, нельзя давать волю нелепым фантазиям и вбивать себе в голову бог весть что, когда только-только начинаешь привыкать к долгожданной свободе. Он принял душ, оделся и сошел в столовую. Стол был накрыт к завтраку – на один прибор. На электрической плитке стояла сковородка с яичницей; он снял ее и перенес к столу, где его дожидался свежий, аккуратно сложенный, еще пахнувший типографской краской номер «Таймса». Когда жива была Мидж, он – по многолетней привычке – сперва передавал газету ей и после завтрака, унося «Таймс» к себе в кабинет, видел, что страницы смяты, перепутаны, сложены кое-как, и удовольствие от чтения бывало уже наполовину испорчено. И газетные новости утрачивали остроту, потому что самое интересное жена успевала прочесть за завтраком вслух, тоже по привычке, хотя ее никто не просил, да еще добавляла от себя язвительные комментарии. Если в газете сообщалось, что у кого-то, кого они знали, родилась дочь, она цокала языком и говорила, сокрушенно качая головой: «Вот не везет им, опять девочка», а если сообщалось о рождении сына, опять вздыхала: «В наше время дать мальчику приличное образование... да, они с ним еще наплачутся!» Поначалу он считал, что такая неодобритель-

ная реакция на приход в мир новой жизни психологически вполне объяснима – у них самих не было детей, но с течением времени он убедился, что точно так же она реагирует на любое приятное или радостное событие, словно радость сама по себе была в ее глазах чем-то оскорбительным и преступным.

«Тут пишут, что этим летом зарегистрировано рекордное количество отпускников. Будем надеяться, что им всем удалось хорошо отдохнуть». Но в голосе у нее звучала не надежда, а откровенный скепсис. После завтрака она отодвигала стул и говорила со вздохом: «Ну что уж тут...» – останавливаясь на полуслове; но то, как она вздыхала, как пожимала плечами, как сутулилась над столом, собирая грязную посуду – она все боялась чересчур обременять прислугу, – все эти мелочи, даже самый вид ее согнутой тощей спины, складывались в один привычный многолетний упрек, молчаливо обращенный к нему, – упрек, который уже давно отравлял их совместное существование.

Он молча вставал и предупредительно открывал перед ней дверь на кухню, и она молча проходила мимо, сгибаясь под тяжестью подноса с посудой, хотя убирать со стола самой не было ни малейшей надобности; потом до него доносился плеск воды в мойке на кухне. Он возвращался и снова усаживался на место, глядя на прислоненную к тостеру смятую газету со следами джема, и уже в который раз в его мозгу начинал стучать вопрос: «Что не так? В чем я виноват?»

Она не ворчала, не пилила его. Избитые шутки насчет сварливых жен, как и анекдоты о тещах, – это было что-то из области дешевой эстрады. Он не помнил, чтобы Мидж когда-нибудь вспылила, повысила голос, закатила ему скандал. Однако невысказанный вечный упрек в сочетании с позой благородной, безропотной страдальницы делал атмосферу жизни в доме совершенно невыносимой, заставлял его лгать по мелочам, лицемерить и при этом испытывать постоянное чувство вины.

Бывало так, что в какое-нибудь осеннее дождливое утро он спешил уединиться у себя в кабинете, включал на полную мощность обогреватель, не спеша закуривал трубку и, дымя в свое удовольствие, усаживался за письменный стол под предлогом того, что ему надо написать какие-то письма; на самом деле ему просто хотелось спокойно побыть одному в своей собственной комнате. Но вскоре дверь приоткрывалась и в кабинет заглядывала Мидж в низко надвинутой на глаза широкополой фетровой шляпе; натягивая дождевик, она недовольно морщила нос и замечала:

– Фу, как накурено, дышать невозможно!

Он ничего не говорил в ответ, только поворачивался к ней в кресле, прикрывая локтем наугад снятый с полки роман.

– Ты случайно в город не собираешься? – спрашивала она.

– Да нет, мне незачем.

– А... Ну что уж тут... Неважно. – И она отходила от двери.

– А что такое? – спрашивал он вслед. – Тебе что-то нужно в городе?

– Надо бы рыбы к обеду купить. Ты же знаешь, по средам доставки на дом нет. Но раз ты занят, я как-нибудь сама. Я просто подумала...

И, не закончив фразы, исчезала.

– Мидж, стой! – окликал он ее. – Хорошо, сейчас выведу машину, съезжу за твоей рыбой. Какой смысл тебе мокнуть под дождем?

Не получая ответа и думая, что она не расслышала, он выходил в холл. Она стояла у распахнутой входной двери, повесив на руку садовую корзину, и надевала рабочие перчатки. Ветер задувал в дом со двора моросивший дождь.

– Все равно уж, так и так мокнуть, – говорила она. – Надо привести в порядок цветы, подпорки укрепить, пока совсем не повалились. Управлюсь с цветами, сама съезжу.

Спорить было бесполезно. Она решила и сделает по-своему. Он захлопывал за ней дверь и возвращался в кабинет. Почему-то там казалось уже не так уютно. Через некоторое время, взглянув в окно, он видел, как она несет из сада корзинку с пожухлыми, намокшими цветами. Ему отчего-то становилось стыдно, и он наклонился и убавлял в обогревателе жар.

А весной или летом часто бывало так, что он выходил в сад без всякой цели – просто погреться на солнышке, полюбоваться на лес, на поля, на лениво текущую реку; он прохаживался взад и вперед, сунув руки в карманы, а из окон верхнего этажа слышался пронзительный вой пылесоса. Вдруг вой со всхлипом обрывался, Мидж подходила к окну и окликала мужа:

– Ты собираешься что-нибудь делать?

Делать он ничего не собирался. Он просто вышел подышать ароматным весенним воздухом, порадоваться, что вот он уже на пенсии, не надо каждый день ездить на службу в Сити; что он волен наконец распорядиться своим временем и тратить его на что угодно, в том числе на ничегонеделанье.

– Нет, ничего я делать не намерен, – отвечал он, – какие дела в такую погоду! А что?

– А, неважно, – говорила она, – просто я вспомнила... Этот несчастный сток под мойкой в кухне опять не работает. Окончательно засорился, вода совсем не проходит. За ним все время надо следить, прочищать, а кто об этом позаботится? Придется сегодня самой заняться.

Она отходила от окна, пылесос со всхлипом взывал опять, и уборка возобновлялась. И такая вот глупость могла испортить ему настроение, омрачить целый прекрасный день! Дело было не в ее несвоевременной просьбе и даже не в самой работе: что такое прочистить засорившуюся трубу? Пара пустяков, даже весело, напоминает школьное детство – мальчишки всегда рады повозиться в грязи. Все дело было в выражении ее лица, в том, как она смотрела из окна вниз, на залитую солнцем террасу, каким усталым жестом поправляла выбившуюся прядь волос, как по обыкновению вздыхала, прежде чем отойти от окна, ничего не сказав, но наверняка подумав про себя: «Мне вот некогда бездельничать и греться на солнышке. Ну что уж тут...»

Один раз он решился спросить, для чего всякий раз затевать такую грандиозную уборку. Почему надо переворачивать все вверх дном? Зачем ставить стулья один на другой, скатывать ковры, собирать и составлять на газету все безделушки? И главное – чего ради натирать до блеска, буквально вылизывать не только полы во всем доме, но даже плинтусы в длинном верхнем коридоре, на которые никогда не ступала нога человека? Он видеть не мог, как Мидж и приходящая прислуга часами ползают там на коленках, как рабы из незапамятных времен.

Мидж взглянула на него с недоумением.

– Ты же первый станешь возмущаться, если в доме будет беспорядок, – сказала она. – Самому будет противно жить в свинарнике. Ты ведь у нас привык к удобствам.

Так они и жили – словно в разных мирах, без всяких точек соприкосновения. Всегда ли было так? Он уже и не помнил. Поженились они почти двадцать пять лет назад – и сейчас это были просто два чужих человека, по привычке жившие под одной крышей.

Пока он ежедневно ездил на службу, он как-то этого не чувствовал, не замечал. Домой он приезжал в основном поесть и поспать, а назавтра спозаранку садился в поезд и снова ехал в город. Но когда он вышел на пенсию, его внимание поневоле сосредоточилось на жене, и с каждым днем его все сильнее задевало и раздражало ее всегдашнее недовольство, молчаливое неодобрение.

Особенно сильно он стал ощущать это в последний год ее жизни. Это чувство угнетало его до такой степени, что он вынужден был пускаться на всевозможные ухищрения, лишь бы не оставаться с ней один на один; поэтому он выдумывал, будто ему срочно надо в Лондон – постричься или запломбировать зуб, или что какой-нибудь из бывших сослуживцев пригласил его вместе пообедать, а на самом деле он просто заезжал к себе в клуб и сидел там, глядя в окно, в тишине и покое.

Болезнь, которая свела ее в могилу, по счастью, длилась недолго. Сначала грипп, потом осложнение на легкие – и через неделю ее не стало. Он даже не успел понять, как это все произошло, знал только, что она, как всегда, была вымотана, измучена, подхватила простуду и с обычным упрямством переносила ее на ногах. Как-то раз, уже после того как она заболела, он съездил в Лондон и по дороге завернул в кино, где очень приятно провел время в теплом и уютном зале, среди веселых, дружелюбных людей – это было в середине декабря, погода стояла холодная и ветреная, – и когда он поздним вечером вернулся домой, то застал жену в подвале: она шуровала кочергой в топке, вороша уголь, который не хотел разгораться. На звук его шагов она подняла голову, и он увидел ее лицо – бледное, изможденное, осунувшееся.

– Господи, Мидж, что это ты делаешь? – спросил он.

– Что-то с топкой, – сказала она. – Целый день с ней бьюсь: гаснет, и все тут. Как хочешь, надо завтра вызывать рабочих. Самой мне с этим не управиться.

Щека у нее была перепачкана углем. Она уронила на пол кочергу, закашлялась и тут же поморщилась от боли.

– Ты должна лечь в постель, – сказал он. – Чертовщина какая-то! Что тебе так далась эта топка?

– Я думала, ты вернешься пораньше, – сказала она, – что-нибудь сообразишь, наладишь. На улице весь день ужасный холод. И какие только дела у тебя могут быть в Лондоне, не понимаю.

Она стала медленно подниматься из подвала наверх и, одолев ступеньки, остановилась, бессильно опустив плечи и устало прикрыв глаза; он заметил, что ее бьет дрожь.

– Ты уж меня извини, – сказала она, – ужинать еще рано, но я тебя лучше сейчас накормлю, пока еще стою на ногах. Я сама ничего не хочу.

– Какой к чертям ужин! Не надо меня кормить, сам соображу, что поесть. Иди ложись. Я тебе принесу попить чего-нибудь горяченького.

– Я же тебе говорю: ничего я не хочу, ни есть, ни пить. Грелку я сама себе налью. У меня к тебе единственная просьба. Перед тем как ляжешь спать, погаси везде свет.

И, ссутулившись, она повернула из кухни в холл.

– Ну хоть стакан горячего молока... – начал он неуверенно, стягивая с себя пальто; и в этот момент из кармана на пол выпала оторванная половинка билета в кино. Она заметила, но промолчала, только снова закашлялась и медленно, с видимым трудом пошла наверх.

Наутро температура у нее поднялась почти до сорока. Пришел врач и определил воспаление легких. Она спросила, нельзя ли устроить ее в платную палату в местной больнице, потому что нанимать сестру, которая находилась бы при ней постоянно, слишком хлопотно. Врач приходил во вторник утром; в тот же день ее отвезли в больницу, а вечером в пятницу, когда муж заехал ее навестить, ему сказали, что она вряд ли доживет до утра. Он долго стоял посреди палаты, глядя на высокую, казенного вида кровать, и сердце у него сжималось от жалости; под голову больной зачем-то подложили несколько подушек, она полулежала-полусидела, и ей было, наверно, страшно неудобно. Он принес цветы, но понял, что ей уже не до цветов, и не стал просить поставить их в вазочку, а молча положил на стол у ширмы, пока сестра, нагнувшись, поправляла подушки.

– Может быть, ей что-то нужно? – спросил он. – Я бы с радостью... – Он не договорил, и начатая фраза повисла в воздухе – он думал, что сестра поймет, что он имеет в виду: не надо ли съездить на машине, привезти какое-то лекарство...

Сестра покачала головой.

– Если положение изменится, мы вам позвоним, – пообещала она.

Что же тут, собственно, может измениться, думал он, выходя на улицу. Исхудавшее, бескровное лицо, которое белело на подушках, уже не могло вернуться к жизни; оно было уже нездешнее, ничье.

Мидж умерла в субботу утром.

Он не был человеком религиозным и не верил в загробную жизнь, но первое время после похорон ему не давала покоя мысль о том, что жена лежит, зарытая в землю, в новеньком гробу с медными ручками, совершенно одна, в темноте: и кто только придумал этот примитивный, бесчеловечный похоронный обряд? Смерть должна происходить по-другому. Она должна быть похожа на расставанье на вокзале, на прощание перед дальней дорогой, только без скорби и надрыва. А в поспешном стремлении закопать в землю то, что еще могло бы жить, дышать – если б не досадная случайность, – было что-то явно непристойное. Когда гроб опускали в могилу, ему даже почудилось, будто Мидж напоследок вздохнула и сказала, как всегда: «Ну что уж тут...»

Он от души надеялся, что загробная жизнь все-таки существует и что теперь Мидж попадет в царство небесное и будет разгуливать по райским кушам, не ведая, как люди на земле распорядились ее бранными останками. Только с кем ей там разгуливать, подумалось ему. Ее родители умерли в Индии, много лет назад; даже если они встретят свою дочь у райских врат, разговаривать им будет не о чем. Он вдруг представил себе, как она стоит в очереди перед этими самыми райскими воротами, как обычно где-то в хвосте, со своей неизменной плетеной авоськой в руках и со своим всегдашним терпеливо-страдальческим выражением... Стоит она долго, а перед тем как наконец пройти в ворота, оглядывается и смотрит на него с привычной укоризной.

Эти две картины – гроб и очередь в рай – примерно с неделю маячили у него перед глазами, но с каждым днем становились все менее четкими, пока и вовсе не исчезли. И он забыл о ней. Он был свободен; просторный, залитый светом дом целиком принадлежал ему; он наслаждался морозными, солнечными зимними днями. Он сам распоряжался своим временем и делал что хотел. Он и не вспоминал о жене до той минуты, когда на глаза ему попала старая яблоня.

В тот день, попозже, он вышел прогуляться, и любопытство потянуло его в сад. Ну конечно, все это дурацкая фантазия, чистая игра воображения. Ничего особенного в этом дереве нет. Яблоня как яблоня. Он припомнил, что она всегда была хилая и невзрачная по сравнению с соседними деревьями, половина ветвей у нее засохла, и одно время даже велись разговоры о том, чтобы ее срубить, но дальше разговоров не пошло. Отлично, будет чем заняться в конце недели. Поработать топором полезно, а дрова для камина никогда не лишние – яблоневое дерево хорошо горит, и дух от него приятный.

К сожалению, погода после того дня почти на целую неделю испортилась, и он не смог осуществить намеченное. Возиться в саду под дождем не стоило – так и простудиться недолго. Из окна своей спальни он время от времени посматривал на яблоню. Она все сильнее раздражала его – уродливая, тощая, словно съезжившаяся под дождем. В воздухе было по-весеннему тепло, дождик шел мягкий, ласковый. Остальные деревья в саду радовались дождю: ни одно не стояло с таким понурым видом. Справа от старой яблони росла молоденькая – он хорошо помнил, что ее посадили всего несколько лет назад, – стройная и крепкая, с гибкими ветвями, которые она с удовольствием подставляла под дождь и на глазах хорошела и свежела. Он залюбовался молоденьким деревцем и улыбнулся про себя. Неизвестно отчего ему на память пришел вдруг давний эпизод, связанный с девушкой, которую во время войны прислали на несколько месяцев поработать на соседней ферме. Он много лет не вспоминал о ней. Да и вспоминать было, собственно, нечего. Тогда он сам по субботам и воскресеньям отправлялся на ферму помочь с сельскохозяйственными работами – людей не хватало, и каждый старался внести посильный вклад в общее дело военных лет, – и всякий раз видел там эту девушку, хорошенькую, веселую, с милой улыбкой; у нее была короткая мальчишеская стрижка – шапка темных кудрявых волос, а кожа точь-в-точь румяное яблочко.

Всю неделю он ждал субботы, чтобы снова увидеть ее: это было как противоядие от опостылевших военных сводок – Мидж включала радио по нескольку раз в день – и от бесконечных разговоров о войне. Ему было приятно смотреть на эту девочку – она и впрямь была еще девочка, лет девятнадцати, не больше; работала она в комбинезоне и в какой-нибудь яркой клетчатой рубашке, а улыбалась так открыто и радостно, будто готова была обнять весь мир.

Он сам толком не знал, как все произошло, и в сущности это была такая мелочь – однажды днем он в сарае возился с трактором, что-то там не ладилось в двигателе, и девушка была там же, стояла к нему почти вплотную, и они оба чему-то смеялись; а потом он повернулся, хотел взять ветоши прочистить фильтр – и неожиданно для себя обнял ее и стал целовать. Это получилось как-то само собой, непринужденно, непосредственно – он до сих пор помнил ощущение теплой близости, ее свежие, молодые губы. Потом они снова занялись трактором, но теперь между ними была уже новая, более тесная связь, им было как-то особенно весело и покойно. Когда девушка вспомнила, что пора кормить поросят, он вышел из сарая вместе с ней, полуобняв ее за плечи ничего не значащим, чисто дружеским жестом; но во дворе, напротив сарая, он сразу увидел Мидж: она стояла и смотрела на них.

– Мне надо на собрание Красного Креста, – сказала она, – а машина никак не заводится. Я тебя звала, звала. Ты, наверно, не слышал.

Ее лицо было как застывшая маска. Она не сводила глаз с девушки. Чувство вины нахлынуло на него, затопило его с головой. Девушка как ни в чем не бывало поздоровалась с Мидж и зашагала через двор к свинарнику.

Он пошел за женой к машине и с помощью ручки завел мотор. Мидж поблагодарила его с непроницаемым лицом. Он не решался взглянуть ей в глаза. Значит, вот как это бывает: прелюбодеяние, смертный грех. Он мысленно увидел газетный заголовок – сенсация местного масштаба: «Муж пойман с поличным. Жена обвиняет его в измене». Когда он вернулся в дом, руки у него тряслись, и он вынужден был налить себе выпить. Вслух так ничего и не было сказано. Мидж ни единым словом не обмолвилась об этом эпизоде. На следующей неделе какое-то малодушное чувство удержало его от очередного похода на ферму, а потом он услышал, что у девушки захворала мать и ее срочно вызвали домой.

Больше он ее не видел. А сегодня, пока он глядел в окно на фруктовые деревья под дождем, она ему почему-то вспомнилась – ни с того ни с сего... Надо будет непременно срубить старую яблоню – только заслоняет солнце молоденькой, не дает ей расти как следует. Это никуда не годится.

В пятницу днем он пошел платить жалованье Виллису – садовнику, который приходил поработать три раза в неделю. По дороге он заглянул в сарай для инструментов проверить, на месте ли пила и топор. В сарае все было в полном порядке – сказывалась выучка Мидж, – и пила с топором висели на стене, на своих привычных местах.

Он отдал Виллису деньги и уже собирался повернуть к дому, когда садовник неожиданно спросил:

– Ну, как вам это нравится, сэр? Старая-то яблоня, а?

Вопрос застиг его врасплох и даже напугал. Он почувствовал, что бледнеет.

– Яблоня? Какая яблоня?

– Да та, что с краю растет, у террасы. Сколько уж лет я у вас, а ни разу на ней не видал ни цветочка, ни яблочка. Помните, мы еще срубить ее хотели в тот год, когда были морозы, да как-то руки не дошли. А нынче у нее вроде как новая жизнь началась. Не заметили?

Садовник смотрел на него улыбаясь, с хитрецей в глазах.

О чем это он? Не может быть, чтобы и Виллис обратил внимание на это фантастическое, странное сходство, – нет, нет, исключено, тут было бы что-то кошунственное, непристойное; ведь он и сам успел забыть всю эту чушь, напрочь выкинул ее из головы.

– А что такое я должен был заметить? – спросил он с плохо скрываемым раздражением.

Виллис ухмыльнулся:

– Пойдемте к террасе, сэр, я вам покажу.

Они вместе обогнули дом, и Виллис, подойдя к старой яблоне, поднял руку и оттянул вниз ближайшую ветку: при этом раздался чуть слышный скрип, как будто ветке было трудно сгибаться. Виллис смахнул с нее клочья засохшего лишайника и провел рукой по отросткам.

– Смотрите, сэр, – сказал он, – она почки пустила. Вон, пощупайте сами. Так что жива старушка! Она еще свое возьмет! В жизни бы не подумал. Гляньте, и на этой ветке почек полно! – Он отпустил первую ветку и потянул к себе другую, повыше.

Виллис оказался прав. На ветках яблони и в самом деле высыпали почки – правда, мелкие и невзрачные, похожие на прыщики. Он сунул руки в карманы. Вид веток вызывал у него странную брезгливость – ему противно было даже думать о том, чтобы дотронуться до них.

– Вряд ли из них выйдет что-нибудь путное, – заметил он.

– Ну, это как сказать, сэр, – отозвался Виллис, – лично я на старушку надеюсь! Зимы простояла, самые холода, так что кто ее знает, – может, она нас удивить задумала! Вот будет потеха, если она зацветет! Да еще и яблочек даст! – И он похлопал по стволу ладонью – фамильярно, но ласково.

Хозяин молча отвернулся. В нем нарастала неприязнь к Виллису. Так обхаживает эту чертову яблоню, будто она живое существо. И теперь, конечно, нечего и думать о том, чтобы незаметно от нее избавиться. Все планы побоку.

– А по-моему, – начал он, – эта ваша хваленая яблоня только заслоняет свет соседней. Срубить бы ее – и дело с концом. Тогда молоденькой было бы и просторнее, и светлее.

Он подошел к молодой яблоньке и, пригнув одну ветку, провел по ней пальцами. Гладкая, ровная кора. Ни лишайника, ни корявых наростов. И на каждой веточке почки – тугие, плотные. Он отпустил ветку, и она упруго откачнулась на место.

– Как это срубить, сэр? – возразил Виллис. – Зачем же ее рубить, ежели она еще живая? И несколько она молодой не мешает. Нет, я бы дал старушке испытательный срок. Не будет яблочек – тогда ладно, срубим на будущую зиму.

– Хорошо, Виллис, будь по-вашему, – сказал он и быстро зашагал прочь. Обсуждать эту тему дальше ему почему-то не хотелось.

Вечером, перед тем как лечь спать, он, как всегда, открыл окно и раздвинул занавеси – он не любил просыпаться поутру в душной комнате. В небе стояла полная луна, и терраса и подымающийся от нее склон, на котором росли деревья, были залиты ровным, призрачно-бледным светом. Ни шороха, ни дуновения. Он перегнулся через подоконник, наслаждаясь тишиной. Невысокая молоденькая яблонька в лунных лучах светилась, словно сказочная. Стройная, гибкая, устремленная вверх, она похожа была на балерину, стоящую на пуантах, готовую к прыжку, к полету. Сколько в ней задорной легкости, изящества! Славное деревце... А слева от нее, полускрытая тенью, торчала старая яблоня. Даже лунный свет не красил ее. И почему эта чертова уродина сутулится и горбится, вместо того чтобы поднять голову и радоваться лунной ночи? Только портит весь пейзаж своим несчастным видом. Дурак он, что послушался Виллиса и согласился ее не трогать. Смешно думать, что такие почки распустятся, да если и распустятся...

Мысли в беспорядке бродили у него в голове, и уже во второй раз на этой неделе ему вспомнилась девушка с фермы и ее сияющая улыбка. Интересно, что с ней стало, как сложилась ее жизнь. Наверняка давно замужем, куча детей... Здорово кому-то повезло. Ну что уж тут... Он поймал себя на том, что машинально повторил любимое присловье жены, и усмехнулся. Бедняжка Мидж! Но вдруг у него перехватило дух, и он замер, вцепившись в занавесь. Лунный свет теперь падал прямо на старую яблоню, и сухие ветви у верхушки показались ему похожими на протянутые с мольбой костлявые руки. Закочневшие, скрюченные от боли. Воздух по-прежнему был неподвижен, другие деревья стояли не шелохнувшись, и только в

ветвях старой яблони что-то шелестело и подрагивало, словно их шевелил неведомо откуда налетевший ветерок. Вдруг одна ветка обломилась и упала на землю. Это была та самая ветка с жалкими почками, которую утром показывал ему Виллис, – та самая, до которой он не мог заставить себя дотронуться. Остальные деревья застыли в молчании. Луна освещала упавшую ветку, и он еще долго смотрел на нее. Она лежала в траве, поперек тени, которую отбрасывала ее молоденькая соседка, и словно указывала в ее сторону обвиняющим жестом.

Впервые за всю свою жизнь он задернул на ночь занавеси, чтобы в комнату не проникал лунный свет.

Виллис прежде занимался только огородом. В сад при жизни Мидж он и ногой не ступал. За цветами Мидж всегда ухаживала сама. Даже траву на лужайке она подстригала сама и упорно таскала тяжеленную механическую косилку вверх-вниз по склону, низко нагибаясь над ручками. Это было одно из тех идиотских, бессмысленных дел, которые она для себя придумывала, вроде бесконечного вылизывания комнат. Теперь же, когда дом остался без хозяйки, а сад без присмотра и ждать указаний Виллису было не от кого, он взял на себя и сад. Ему это, видимо, нравилось, придавало важности в собственных глазах.

В свой очередной приход, в понедельник, он опять обратился к хозяину:

– Не могу понять, сэр, отчего это ветка упала.

– Какая ветка?

– Да с яблони. Вот что мы с вами смотрели в пятницу, помните?

– Гнилая, наверно. Я же говорил, что дерево никудышное.

– Да нет, сэр, в том-то и дело, что ветка здоровая. Вот пойдемте, сами поглядите. Обломилась ни с того ни с сего.

Еще раз ему пришлось отправиться в сад. Виллис поднял с земли упавший сук. Лишайник на нем намок и свисал клочьями, как нечесанные, слипшиеся волосы.

– Вы часом эти дни ее не трогали, ветку-то? Может, оттянули или надавили ненароком, она и надломилась?

– Ничего я не трогал, и не думал даже! – произнес с досадой хозяин. – Я, кстати, в ночь на субботу слышал, как что-то шмякнулось. Я как раз вставал открыть окно.

– Странно. И ветра-то вроде не было.

– Ничего странного – дерево свой срок отжило. И что оно вам покоя не дает? Можно подумать...

Он осекся, не зная, как закончить фразу.

– Можно подумать, что это бог вещь какая ценность.

Садовник покачал головой:

– Да нет, при чем тут ценность. Ценности в ней нету никакой, я и сам знаю. Просто чудно как-то – на нее все вроде рукой махнули, а она вон что выкинула: рано, мол, вы меня хороните, я еще живая, еще хочу, как говорится, себя показать. Чудо природы! То-то порадуемся, когда она зацветет. Хоть бы остальные ветки все были в целости.

Когда хозяин дома вышел на свою обычную дневную прогулку, он увидел, что Виллис срезает вокруг яблони сухую траву и обматывает низ ствола новой проволокой. Смешно, честное слово. Не за то ему платят жалованье, чтобы он носился с этой старой корягой, как курица с яйцом. Занимался бы лучше огородом, овощи выращивал! Но вступать с ним в пререкания, тратить нервы было неохота.

Домой он вернулся в шестом часу. Вместо неперемного чая, который при жизни Мидж подавался около пяти, он теперь наливал себе порцию виски с содовой и располагался у камина, попыхивая трубкой, в блаженной тишине.

Камин, как видно, затопили недавно, и дыма было больше, чем огня. К тому же в комнате стоял какой-то подозрительный запах. Он открыл окно и поднялся наверх сменить уличную

обувь на шлепанцы. Когда он снова вернулся в гостиную, там было по-прежнему дымно и запах чувствовался так же отчетливо. Совершенно непонятный запах. Сладковатый, удушливый. Он подошел к дверям и кликнул прислугу.

Женщина, которая приходила убирать и готовить, вышла из кухни в холл.

– В доме пахнет какой-то дрянью, – сказал он. – Что это может быть?

– Чем же тут может пахнуть, сэр? – возразила она обидчиво.

– В гостиной не продохнуть. И полно дыма. Вы что-нибудь жгли в камине?

Ее лицо просветлело.

– А, это, наверно, дрова из сада, – сказала она. – Виллис их нарочно принес, сэр, думал, вы будете довольны.

– Какие еще дрова?

– Да он яблоневый сук распилил, сэр, сказал, что вы знаете. Яблоня хорошо горит, лучше всякого другого дерева, все говорят. Я лично никакого запаха не слышу, правда я простыла немного, нос заложило.

Они вместе подошли к очагу. Виллис распилил сук на мелкие чурки, и прислуга, думая угодить хозяину, сунула в камин сразу все, чтобы огонь горел подольше. Но пламя еле теплилось. Дрова не столько горели, сколько чадили, от них шел дым – слабенькими, тонкими струйками какого-то зеленоватого оттенка. Неужели она действительно не чувствует этот мерзкий, тошнотворный запах?

– Дрова сырые, – сказал он отрывисто. – Виллис мог бы сообразить. Смотрите сами. Совершенно не горят.

Женщина поджала губы и насупилась.

– Извините, пожалуйста, – сказала она. – Я когда растапливала, ничего такого не заметила. Занялись они дружно. Я от людей слышала, что яблоневое дерево хорошо горит, и Виллис то же самое сказал. Велел, чтоб я обязательно сегодня этими дровами затопила, он так уж для вас старался. Я думала, вы знаете, сами распорядились...

– Хорошо, хорошо, – перебил он ее. – Прогорят постепенно, надо полагать. Вы тут ни при чем.

Он повернулся к ней спиной и поворошил кочергой в камине, пытаясь разбить груды обгорелых поленьев. Пока прислуга в доме, руки у него связаны. Он не может вытащить мокрые дымящиеся головешки и выкинуть их с заднего крыльца во двор, не может взять охапку сухого хвороста и растопить камин заново. Это вызовет ненужную реакцию. За растопкой придется пройти через кухню в закуток, где хранятся хворост и щепки, и прислуга, разумеется, это заметит и удивится, да еще, чего доброго, вмешается: «Позвольте, сэр, я сама. Что, разве огонь совсем погас?» Нет, надо подождать, пока она подаст ужин, уберет со стола, перемывает посуду и отправится ночевать домой. А до этого придется потерпеть, приноровиться как-нибудь к этому мерзкому запаху.

Он плеснул в стакан виски, закурил трубку и снова перевел взгляд на камин. Огонь не давал никакого тепла, а центральное отопление уже не работало, и его стало познабливать. Время от времени над еле тлевшими дровами поднималась струйка зеленоватого дыма, а с нею новая волна сладковатого, тошнотворного запаха, не похожего ни на какой обычный запах. Болван садовник! Что ему только в голову взбрело? Чего ради было распиливать этот сук? Ясно ведь, что он сырой, насквозь пропитан сыростью. Он наклонился и всмотрелся попристальней. Что-то сочилось из поленьев, поблескивало на белесой коре – влага? Нет, не влага – древесный сок, клейкий, тягучий.

Он схватил кочергу и принялся яростно шуровать в очаге, круша головешки, пытаясь заставить их наконец разгореться, чтобы вместо чада и дыма запыхал бы нормальный огонь. Но все усилия были напрасны. Поленья по-прежнему едва тлели, и клейкий ручеек все продолжал сочиться на каминную решетку, и сладковатый запах висел в комнате, вызывая у него дурноту.

Он взял стакан и книгу, перешел в кабинет, включил там электрический обогреватель и уселся в кресло у стола.

Идиотизм какой-то! Ему вспомнилось, как раньше, стараясь избавиться от общества Мидж, он притворялся, будто хочет заняться своей корреспонденцией, и подолгу отсиживался у себя в кабинете. По вечерам, покончив с домашними делами, она обычно бралась за вязанье и через некоторое время начинала безудержно зевать. На редкость неприятная привычка – сама она ее не замечала, но его это просто выводило из себя. Она усаживалась на диване в гостиной, минут пятнадцать вязала – слышалось только быстрое пощелкивание спиц; и вдруг раздавался первый зевок – мучительно-протяжный, исходящий из самого нутра: «А-а-а... а-а-а... х-ха!», а за ним неизменно следовал вздох. Потом снова наступала тишина, нарушаемая одним звяканьем спиц; но он уже не мог читать и напряженно ждал, заранее зная, что через несколько минут раздастся новый зевок, новый вздох.

В нем подымалась волна бессильной ярости; ему хотелось швырнуть книгу на пол и грубо сказать: «Слушай, если ты так устала, пойди да ляг!» Но вместо этого он, стиснув зубы, еще некоторое время сидел на месте, а когда уже не мог больше терпеть, вставал, выходил из гостиной и укрывался в своем кабинете. И вот сейчас он поймал себя на том, что поступает точно так же, что все как будто повторяется снова – из-за чего? Из-за каких-то поганых дров. Из-за мерзкого, тошнотворного запаха.

Он остался сидеть в кабинете и решил дожидаться ужина там. Пока прислуга подавала на стол, уносила посуду, готовила ему постель и собиралась домой, стрелки часов подошли к девяти.

Он вернулся в гостиную. За время его отсутствия огонь в камине почти погас. Головешки, должно быть, честно пытались разгореться – они заметно уменьшились в размерах и глубже осели в очаге. Золы было не много, но от кучки тлеющих углей шел все тот же омерзительный запах. Он отыскал в кухне совок, вернулся с ним в гостиную и выгреб из очага золу и головешки. Совок, наверно, был мокрый, а может быть, из поленьев еще не испарились остатки влаги – так или иначе, головешки на глазах потемнели, и на них выступила какая-то пена. Он спустился в подвал, открыл дверцу котла и сбросил все с совка в топку.

Только тогда он вспомнил, что котел уже недели две как не топят – с началом весны центральное отопление обычно отключали – и что если он не протопит сейчас, головешки так и пролежат до будущей зимы. Он взял бумагу, спички, канистру с керосином, развел большой огонь и закрыл топку, с удовольствием слушая, как гудит в котле пламя. Ну вот, как будто все. Он постоял секунду, поднялся наверх и в закутке за кухней набрал щепок, чтобы снова затопить в гостиной. Пока он ходил за углем, пока подкладывал и разжигал растопку, прошло довольно много времени, но он делал все не торопясь и основательно, и когда уголь в камине наконец занялся, с облегчением уселся в кресло и раскрыл книгу.

Прошло минут двадцать, когда ему показалось, что где-то хлопает дверь. Он отложил книгу и прислушался. Нет, ничего. А, вот опять. Звук доносился со стороны кухни. Он встал и пошел посмотреть, в чем дело. Хлопала дверь, которая вела на лестницу в подвал. Он готов был поклясться, что, уходя, закрыл ее как следует. Видимо, защелка как-то отошла, и дверь раскрылась. Он включил за дверью свет и нагнулся осмотреть дверной замок. Вроде бы все в порядке. Он собирался уже снова закрыть и защелкнуть дверь, как вдруг почувствовал знакомый запах. Тот самый тошнотворный, сладковатый запах. Он просачивался наверх из подвала и растекался по кухне.

Вдруг его охватил безотчетный, почти панический страх. Что если запах ночью заполнит весь дом, проникнет во второй этаж, дойдет до спальни – и он задохнется во сне?.. Эта мысль была нелепа, почти безумна – и все же...

Он заставил себя снова сойти по лестнице в подвал. Пламя в топке уже не гудело; из котла не доносилось ни звука. Через щели вокруг дверцы тонкими зеленоватыми струйками выползал дым – и вместе с ним струился запах, который он почувствовал в кухне.

Он подошел и рывком открыл дверцу. Бумага и щепки прогорели до конца, но остатки яблоневых дров и не думали загораться. Они так и лежали беспорядочной грудой, обуглившись, почерневшие, словно кости казненного на костре. Его замутило. Он сунул в рот носовой платок, чтобы подавить тошноту. Потом, плохо соображая, что делает, кинулся вверх по лестнице, схватил пустой совок и, орудуя щипцами и лопатой, стал вытаскивать головешки через узкую дверцу. Желудок у него то и дело сводили рвотные спазмы. Наконец он выгреб все и, нагрузив полный совок, прошел через кухню и открыл дверь на заднее крыльцо.

На этот раз ночь стояла безлунная; накрапывал дождь. Он поднял воротник и огляделся кругом, прикидывая, куда бы деть головешки. До огорода, где была компостная куча, надо было пройти пару сот шагов, и тащиться туда под дождем, в темноте не хотелось. Ближе было дойти до гаража – за ним, по ту сторону забора, росла густая высокая трава, и если бросить головешки туда, их никто не заметит. Он пересек усыпанный гравием автомобильный въезд и швырнул свою ношу в траву через забор, отделявший его землю от фермерской. Пусть лежат и гниют, пусть мокнут под дождем, покрываются грязью и плесенью – теперь ему нет до них дела. Главное – он избавился от них, выкинул вон, а дальнейшее его не касается.

Он возвратился в дом и еще раз проверил, крепко ли заперта дверь в подвал. Запах успел уже выветриться; воздух был чистый.

Он перешел в гостиную, чтобы согреться у огня, но озноб никак не проходил – он изрядно промок под дождем, да и желудок еще продолжало сводить, так что он чувствовал себя совершенно разбитым.

Ночью он плохо спал и наутро проснулся в довольно мутном состоянии. Болела голова, и во рту был неприятный вкус. По-видимому, приступ печени. Он решил посидеть день дома. Свою досаду он за завтраком сорвал на прислуге.

– Я вчера допоздна по вашей милости возился с камином и в результате расхворался, – сказал он ей. – А все яблоня, будь она неладна. Никакого проку, одна вонь – меня от этой вони чуть наизнанку не вывернуло. Можете порадовать Виллиса, когда он явится.

Она посмотрела на него недоверчиво.

– Извините ради бога, сэра. Я вчера сестре рассказала, так она тоже удивлялась. Никак в толк взять не могла. Яблоневое дерево всегда прекрасно горит, прямо роскошь считается топить яблоней.

– Я вам повторяю, эти дрова не горели, – сказал он, – и я больше ни видеть, ни слышать о них не желаю. А уж запах... До сих пор в горле ком, все нутро сводит от этого запаха.

Она поджала губы, повторила: «Извините, сэра» – и повернулась, чтобы выйти из столовой, но по дороге кинула взгляд на буфет, где стояла порожняя бутылка из-под виски. Секунду помедлив, она взяла бутылку, поставила ее на поднос, который держала в руках, и спросила:

– Бутылка больше не нужна, сэра? Можно забрать?

Разумеется, не нужна! Идиотский вопрос: видно ведь, что пустая! Но тут же он понял скрытый смысл этого вопроса: она хотела сказать, что нечего все валить на дым, что его плохое самочувствие вызвано совсем другими причинами, что он попросту перепил накануне. Неслышанная наглость!

– Пустую заберите, – сказал он, – и принесите полную.

Вперед ей наука: не будет соваться не в свое дело.

Несколько дней он чувствовал себя прескверно: голова кружилась, то и дело подташнивало. В конце концов он позвонил доктору и попросил его зайти. Доктор осмотрел его и без особого участия выслушал историю насчет дыма – больной и сам, рассказывая, сознавал, что все это звучит неубедительно.

– Печень пошаливает, – заключил доктор. – И небольшая простуда – ноги вы промочили, возможно, еще и съели что-то не то. Вот все вместе и вызвало такое состояние. Вряд ли один дым мог так на вас подействовать. Надо больше бывать на улице. Моцион для печени – полезнейшая вещь. Отчего вы не играете в гольф? Я не представляю себе, как бы я жил без гольфа. Каждый уик-энд играю обязательно. – Он хмыкнул, закрывая свой чемоданчик. – Попринимаете лекарство, я вам выпишу, и на вашем месте я бы начал выходить на воздух, как только установится погода. Уже тепло, теперь бы только солнышка побольше – и все тронется в рост. У вас вот-вот фруктовые деревья зацветут. Мои пока что не торопятся. – И, прощаясь, доктор добавил: – Не забывайте, вы не успели свыкнуться с потерей. Такие встряски бесследно не проходят. Вы еще остро чувствуете отсутствие жены, это естественно. Так что не сидите в четырех стенах, выходите, общайтесь с людьми. Всего наилучшего.

Больной оделся и спустился вниз. Конечно, доктор желает ему добра, но по существу этот визит – пустая трата времени. «Вы еще остро чувствуете отсутствие жены...» Ничегошеньки-то он не смыслит, этот доктор. Бедняжка Мидж... По крайней мере себе самому можно честно признаться, что ее отсутствие он воспринимал как облегчение, что он впервые за много лет почувствовал себя человеком: короче говоря, если забыть о нынешнем недомогании, ему никогда еще не было так хорошо.

За те дни, что он провел в постели, прислуга успела сделать в гостиной генеральную уборку – совершенно бессмысленное мероприятие, но так уж было заведено у Мидж: ежегодно с приближением весны весь дом переворачивался вверх дном. Гостиная приобрела чужой вид: все было вычищено, выскоблено, ни одной нужной бумажки на месте не найти, все книги и газеты сложены в аккуратные стопки. Какое все-таки неудобство, что приходится держать прислугу! Она так раздражала его, что он не раз готов был махнуть на все рукой и дать ей расчет. Как-нибудь он и сам бы о себе позаботился. Правда, его останавливала мысль о том, что каждый день придется что-то готовить, мыть грязные тарелки и заниматься подобной чепухой. Идеальный вариант был бы, конечно, поселиться где-нибудь на Востоке или на островах южных морей и взять в жены туземку. Это разом решает все проблемы. Тишина, безупречный уход, великолепная еда, никто не пристает с разговорами; а если захочется кой-чего еще, она всегда тут, всегда к твоим услугам – юная, покорная, ласковая... Никогда ни попреков, ни недовольства, истинно собачья преданность – и при этом веселый нрав и непосредственность ребенка... Да, они не дураки – все эти художники и прочие знаменитости, которые решались порвать с условностями цивилизации. Дай им бог...

Он подошел к окну и выглянул в сад. Дождь понемногу затихал; завтра, если будет хорошая погода, можно выйти на воздух, как советовал доктор. Доктор, кстати, верно заметил: фруктовые деревья вот-вот зацветут. Бутоны на молоденькой яблоньке готовы были распуститься; на одной ее ветке сидел черный дрозд, и ветка прогнулась и чуть покачивалась под тяжестью птицы. Сейчас эти полураскрытые бутоны, обрызганные капельками влаги, казались чуть розоватыми, но завтра, если выглянет солнце, они окутают все дерево пушистым облаком, ослепительно-белым на фоне голубого неба. Надо бы отыскать старый фотоаппарат, зарядить его и снять эту юную яблоньку в цвету. Остальные деревья тоже скорее всего расцветут в самые ближайшие дни. Только старая яблоня, та самая, выглядела так же уныло и безжизненно, как раньше, – а может быть, отсюда были просто незаметны ее мелкие бурые почки, если можно назвать их почками. Не зря же тогда обломился сук. Как видно, отживает свое. Ну и бог с ней.

Он отошел от окна и принялся перекидывать и переставлять все по-своему, пытаясь вернуть комнате ее обычный вид, – выдвигал и задвигал ящики, что-то вынимал, что-то клал обратно. На глаза ему попался красный карандаш – должно быть, когда-то завалился за книги, а прислуга, наводя чистоту, нашла его и положила на видное место. Он взял его, не торопясь очинил и старательно заострил кончик. В одном из ящиков он нашел нераспечатанный рулон фото пленки и выложил его на стол, чтобы утром зарядить аппарат. В этом же ящике, впере-

мешку со всякими бумажонками, лежала куча старых фотографий, в том числе десятки любительских снимков. Мидж когда-то ими занималась – разбирала, рассматривала, клеила в альбомы; потом, в годы войны, то ли потеряла интерес, то ли одолели другие заботы.

Весь этот хлам давно пора было выкинуть, сжечь. Знать бы в тот злополучный день, сколько этого старья здесь в ящиках! С такой растопкой, пожалуй, и мокрые поленья прогорели бы. К чему это все хранить? Хотя бы вот этот ужасный снимок Мидж, сделанный бог знает сколько лет назад, судя по платью и прическе – вскоре после замужества. Неужели она так взбивала волосы, носила этот пышный кок? Он ей совсем не шел – лицо у нее и в молодости было узкое и длинное. Платье с низким треугольным вырезом, в ушах болтаются серьги, на лице заискивающая, жалкая улыбка, рот кажется еще больше, чем был... И надпись в левом углу: «Родному Кусику от любящей Мидж». Он успел начисто забыть это идиотское прозвище. Ему становилось неловко, когда она называла его так при посторонних, и он всякий раз ей выговаривал. К счастью, довольно скоро она прекратила.

Он разорвал снимок пополам и бросил в огонь. Он стал сворачиваться в трубочку, потом потемнел и вспыхнул, и напоследок в пламени мелькнула улыбка. Родному Кусику... Внезапно он вспомнил платье, которое было на Мидж в тот день, – зеленое, совершенно не ее цвет, она казалась в нем еще бледнее. И купила она его для торжественного случая, – кажется, какие-то знакомые праздновали годовщину своей свадьбы, и им пришла идея собрать вместе всех соседей и друзей, которые поженились приблизительно в одно время с ними. Прислали приглашение и им с Мидж.

Был шикарный обед, море шампанского, какие-то застольные речи, общее веселье, смех, шутки, часто малопрстойные; он припомнил, что когда все стали разъезжаться и они с Мидж садились в машину, хозяин с хохотом крикнул им вслед: «Идешь объясняться – не забудь про цилиндр³: незаменимая вещь!» Он не столько смотрел на Мидж, сколько чувствовал ее молчаливое присутствие. Она сидела рядом в своем дурацком зеленом платье, с жалкой, просительной улыбкой на лице – такой же, как на только что сгоревшей фотографии, – сидела напряженно и тревожно, не зная, как реагировать на сомнительную шутку, которую отпустил пьяный хозяин и которая неожиданно громко прозвучала в вечернем воздухе; и при этом ей хотелось казаться вполне современной, хотелось угодить мужу – но больше всего хотелось, чтобы он повернулся к ней, обратил на нее внимание: она ожидала какого-то знака, жеста...

Когда он поставил машину в гараж и вернулся в дом, она ждала его – неизвестно зачем. Пальто она сняла и бросила на диван – как видно, для того, чтобы еще покрасоваться в вечернем платье, – и стояла посреди гостиной, улыбаясь своей всегдашней неуверенной улыбкой.

Он зевнул, уселся в кресло и раскрыл какую-то книжку. Она постояла минуту-другую, потом взяла с дивана пальто и медленно пошла наверх. По-видимому, вскоре после того вечера и была сделана фотография, которую он порвал. «Родному Кусику от любящей Мидж». Он подбросил в огонь сухих веток. Они затрещали, занялись, и остатки снимка превратились в пепел. Сегодня огонь горел нормально...

На другой день настала ясная и теплая погода. Солнце светило вовсю, кругом распевали птицы. Внезапно его потянуло в Лондон. В такой день хорошо пройтись по Бонд-стрит, полюбоваться столичной толпой. Можно заехать к портному, зайти постричься, съесть в знакомом баре дюжину устриц... Он чувствовал себя вполне здоровым. Впереди было много приятных часов. Можно будет и в театр заглянуть, на какое-нибудь дневное представление.

День прошел в точности так, как он предполагал, – беззаботный, долгий, но не утомительный день, внесший желанное разнообразие в вереницу будней, похожих друг на друга. Домой он вернулся около семи вечера, предвкушая порцию виски и сытный ужин. Погода была такая

³ Слово «цилиндр» (top hat) в 1920–1930-х гг. употреблялось в Англии как шуточный эвфемизм для обозначения презерватива.

теплая, что пальто ему не понадобилось; тепло было даже после захода солнца. Сворачивая к дому, он помахал рукой соседу-фермеру, который как раз проходил мимо ворот, и крикнул:

– Отличный денек!

Фермер кивнул, заулыбался и крикнул в ответ:

– Хоть бы подольше постояла погода!

Симпатичный малый. Они сохранили приятельские отношения с военных лет, с той поры, как он приходил на ферму поработать на тракторе.

Он поставил машину в гараж, налил себе виски, выпил и в ожидании ужина вышел прогуляться по саду. Как много перемен за один только солнечный день! Из земли проклюнулось несколько белых и желтых нарциссов; живые изгороди покрылись первой нежной зеленью, а на яблонях дружно распустились бутоны, и все они стояли в праздничном белом наряде. Он подошел к своей любимице, молоденькой яблоньке, и дотронулся до нежных лепестков, потом слегка качнул одну ветку. Ветка была крепкая, упругая, такая уж наверняка не обломится. Запах от цветов шел легкий, едва уловимый, но еще денек-другой – и воздух наполнится тонким, нежным ароматом. Как чудесно пахнет яблоневый цвет – скромно, не резко, не навязчиво. Надо самому искать и находить этот запах, как ищет и находит его пчела. И вдохнув этот запах однажды, ты запомнишь его на всю жизнь – он всегда будет радовать и утешать тебя... Он потрепал ладонью яблоньку и пошел ужинать.

На другое утро, за завтраком, кто-то постучал в окно столовой. Прислуга пошла узнать, в чем дело; оказалось, что Виллис просит разрешения с ним поговорить. Он распорядился позвать его в дом.

Лицо у садовника было мрачное. Что там еще стряслось?

– Вы уж извините, сэр, – начал он, – только на меня тут мистер Джексон напустился. Возмущается.

Джексон был его сосед, фермер.

– Чем это он возмущается?

– Да вот говорит, что я накидал ему через забор каких-то головешек, а у него кобыла ходит с жеребеночком, и жеребенок будто бы ногу повредил и захромал. У меня отродясь такой моды не было – через забор кидать. А он свое талдычит. Мол, ценный жеребенок, а теперь неизвестно, что с ним делать, кто же хромого купит.

– Ну, вы его, надеюсь, успокоили? Сказали, что это недоразумение?

– Да сказать-то я сказал, сэр. Но кто-то на его участок и правда головешек накидал. Он меня повел, показал это место. Прямо против гаража. Я пошел ради интереса, и верно – лежат в траве головешки. Я решил по первости вам доложить, а потом уж кухарку пытать, а то сами знаете, как бывает, начнутся всякие обиды.

Он почувствовал на себе Виллисов пристальный взгляд. Придется признаваться, делать нечего. Впрочем, садовник, по существу, сам виноват.

– Не надо кухарку пытать, – сказал он сухо. – Это я выбросил туда дрова из очага. Вы безо всякого моего распоряжения распилили гнилой сук от яблони, прислуга этими дровами затопила – и в результате огонь потух, весь дом провонял дымом, и вечер у меня был испорчен. Я действительно тогда вышел из себя и не глядя выкинул прочь эти несчастные головешки, и если соседский жеребенок пострадал, извинитесь за меня перед Джексоном и скажите, что я готов возместить ему убытки. И прошу вас самым настоящим образом прекратить самодетельность и не снабжать меня больше подобным топливом.

– Слушаюсь, сэр. Я и сам вижу, что ничего хорошего из этого не вышло. Я, правда, никогда бы не подумал, что вы станете так утруждаться – выносить их во двор, выкидывать...

– Тем не менее я поступил именно так. И довольно об этом.

– Слушаюсь, сэр. – Он уже повернулся к дверям, но на пороге задержался и добавил: – Ума не приложу, почему они у вас гореть не хотели. Я одно поленце домой прихватил, супруга его сунула в печку на кухне – так полыхало, любо-дорого было смотреть.

– А вот здесь, представьте, не горели.

– Ну ладно, главное – старушка не подвела, даром что один сук обломился. Вы еще не видели, сэр?

– Это вы о чем?

– Вчера-то целый день солнышко грело, да и ночь была теплая, вот она и взяла свое. Прямо красавица стоит, вся в цвету! Обязательно подите гляньте!

И Виллис удалился, оставив его доедать остывший завтрак.

Некоторое время спустя он вышел на террасу, но на деревья глядеть не торопился и даже всячески оттягивал этот момент – сначала решил, раз погода уже установилась, вытащить из сарая большую садовую скамейку, потом пошел за секатором и принялся подстригать розы под окном. Но в конце концов что-то потянуло его к старой яблоне.

Все было так, как сказал Виллис. То ли из-за того, что вчера был солнечный, погожий день, то ли подействовала тихая и теплая ночь, только все невзрачные бурые почки лопнули, и теперь дерево было сплошь окутано завесой влажных белых цветов. Гуще всего они росли у верхушки, – казалось, будто ветки покрыты комьями мокрой ваты, и вся эта масса, сверху донизу, была одинаково унылого, мертвенно-белого цвета.

Яблоня вообще стала не похожа на дерево. Она скорее напоминала брошенную походную палатку, которая провисла под дождем и еле хлопает промокшей парусиной, или огромную швабру из мочалы, которую вынесли просушить на улицу и которую нещадно выбелило солнце. Цветов было непомерно много, этот груз был чересчур обременителен для хилого ствола; вдобавок цветочные кисти набрякли от влаги и оттого казались еще тяжелее. Похоже было, что старая яблоня расцвела из последних сил – на нижних ветках цветы уже начинали съеживаться, темнеть, как от дождя, хотя погода стояла безоблачная.

Ну что ж. Виллис угадал верно. Она расцвела. Но это не был расцвет жизни, праздник красоты; тут чувствовалось что-то болезненное, словно в самой природе этого дерева была заложена какая-то неправильность, уродство, а теперь все это вылезло наружу. Уродство, которое само не сознает, до какой степени оно уродливо, и еще надеется понравиться. Старая яблоня как будто говорила со смущенной, кривой ухмылкой: «Смотри, как я стараюсь, и все для тебя».

Вдруг сзади послышались шаги. К нему подходил Виллис.

– Здрóрово, правда, сэр?

– Увы, не могу разделить ваш восторг. Слишком густо цветет.

Садовник только посмотрел и ничего не сказал. Ему пришло на ум, что Виллис, наверно, считает его тяжелым человеком, капризным чудаком, которому ничем не угодишь. И должно быть, перемывает ему косточки с прислугой на кухне.

Он заставил себя улыбнуться.

– Послушайте, – начал он, – я совсем не хочу портить вам настроение. Просто все это меня мало трогает. Яблоневого цвет я люблю, но только легкий, нежный, розовый, вот как на соседнем деревце. А с этого можете ломать сколько угодно, снесите букет домой жене. Ломайте на здоровье, мне не жалко. Я буду только рад.

И он сделал широкий приглашающий жест. Да, так и надо: пусть Виллис приставит лестницу, поскорее оборвет и унесет эту мерзость.

Но садовник с ошарашенным видом покачал головой:

– Нет, что вы, сэр, как можно, мне и в голову такое не придет. Обрывать цвет – это же для дерева гибель! Нет, я теперь надеюсь на яблочки. Хочу поглядеть, что за яблочки будут.

Продолжать разговор не имело смысла.

– Хорошо, Виллис. Как знаете.

Он направился назад, к террасе. Но, усевшись на солнышке и окинув взглядом поросший фруктовыми деревьями склон, он обнаружил, что отсюда молоденькую яблоньку совсем не видно. Он, конечно, знал, что она стоит на своем месте, полная скромного достоинства, и тянет к небу гибкие цветущие ветки. Но ее заслоняла и подавляла эта старая уродина, с которой уже падали и усеивали землю вокруг сморщенные грязно-белые лепестки. И куда он ни переставлял свое кресло, в какую сторону его ни поворачивал, он никак не мог избавиться от старой яблони: она все время лезла ему в глаза, нависала над ним, словно напоминая с немым укором, что ждет одобрения, ждет похвалы – того, что он не мог ей дать.

В то лето, впервые за многие годы, он решил отдохнуть по-человечески, устроить себе полноценные каникулы: в Норфолке, у своей матери, прожил всего десять дней вместо месяца, как обычно бывало при Мидж, а остаток августа и весь сентябрь провел в Швейцарии и в Италии.

Он поехал на своей машине и потому мог переезжать с места на место когда и как заблагорассудится. Его мало интересовали достопримечательности и избитые туристские маршруты; лазить по горам он тоже был не особый любитель. Больше всего ему нравилось приехать под вечер в какой-нибудь маленький городок, выбрать небольшую, уютную гостиницу и прожить там пару дней без всякой цели, просто так.

Утро он обычно проводил в уличном кафе или ресторанчике за стаканом вина, греясь на солнце и от нечего делать наблюдая за толпой; видимо, мода на путешествия захватила и молодежь – кругом была масса веселых молоденьких девушек. Он охотно прислушивался к оживленным разговорам вокруг и радовался от сознания, что в них не надо вступать; иногда ему кто-то улыбался, иногда постоялец из той же гостиницы бросал на ходу два-три приветливых слова – но это ни к чему его не обязывало, просто означало, что он такой же полноправный участник этой праздной, бездумной жизни, что он независим и волен, как все, проводить свой досуг за границей.

В прежние времена, если он куда-то ездил вместе с Мидж, ему ужасно досаждала ее привычка заводить новые знакомства, в любом месте выискивать какую-нибудь подходящую супружескую пару (как она выражалась, «из нашего круга»). Начиналось обычно с обмена любезностями за завтраком, затем обсуждалось, что надо посмотреть, и вырабатывался общий план действий, а кончалось тем, что по всем знаменитым местам они уже ездили только вчетвером, – его это, конечно, выводило из себя, и весь отпуск бывал испорчен.

Теперь, слава богу, никто не навязывал ему спутников. Он мог делать что хотел и тратить столько времени, сколько хотел. Никто его не торопил и не подталкивал. При нем уже не было Мидж, которая говорила бы: «Ну что, пора?», стоило ему присесть и расслабиться за стаканом вина, и которая тянула бы его осматривать какую-нибудь допотопную церковь, ничуть его не занимавшую.

За время каникул он заметно располнел, но это его мало заботило. Рядом с ним не было никого, кто всякий раз уговаривал бы его пройтись пешком, чтобы чересчур жирная пища не откладывалась в виде лишнего веса, и перебивал этими уговорами приятную сонливость, которая приходит после кофе и десерта; никого, кто бы бросил осуждающий взгляд на его не по возрасту яркую рубашку или кричащий галстук.

И, прохаживаясь по улицам малознакомых городов и городков, с непокрытой головой, с сигарой во рту, он ловил встречные улыбки на молодых, жизнерадостных лицах вокруг и от этого сам молодел. Так и надо жить – без хлопот, без забот. Без докучных напоминаний: «Мы должны быть дома не позже пятнадцатого числа, шестнадцатого заседание благотворительного комитета», без вечного беспокойства: «Мы не должны бросать дом больше чем на две недели, без хозяев что угодно может случиться». А вместо всего этого – разноцветные огни провинци-

альной ярмарки в какой-то деревеньке, название которой он даже не потрудился узнать, звонкая музыка, толпа молодежи, смех – и он сам, осушив бутылочку местного вина, подходит к какой-то девчужке в пестрой косынке и с поклоном приглашает ее танцевать. И вот они уже кружатся на площади под тентом, ему весело и жарко, он никак не попадает в такт, он столько лет не танцевал – но все равно это прекрасно, это то, что надо, это жизнь. Музыка смолкает, он отпускает партнершу, и она, хохоча, убегает к друзьям, к своим ровесникам, и они вместе, наверно, смеются над ним... Подумаешь! Все равно хорошо!

Он уехал из Италии, когда погода стала портиться – под конец сентября, – и в начале октября уже был в Англии. Никаких проблем: послал телеграмму на имя прислуги, сообщил примерную дату – и все. Не то что при Мидж: даже если они уезжали ненадолго, перед возвращением домой вечно начинались сложности. Надо было почему-то заранее отправлять подробные письменные распоряжения насчет закупки продуктов, напоминания прислуге – заблаговременно просушить матрацы, проветрить все одеяла, протопить в гостиной, предупредить на почте, чтобы возобновили утреннюю доставку газет... В общем, сплошные заботы вместо отдыха.

Он подъехал к дому в теплый осенний вечер: из труб шел дым, парадная дверь была распахнута – он с удовольствием увидел, что его ждут. Он не станет кидаться сломя голову на кухню узнавать, что успело стрястись за время его отсутствия, спрашивать, не засорилась ли где труба, не было ли в доме аварий, перебоев с водой, с продуктами. Да и прислуга достаточно тактична, чтобы не докучать ему подобной ерундой. «Добрый вечер, сэр. Хорошо отдохнули? Ужин подавать как обычно?» И больше ни словечка, блаженная тишина. Он мог спокойно налить себе выпить, закурить трубку, расслабиться; письма – впрочем, писем не много – подождут. Никто не бросится вскрывать их с лихорадочной поспешностью, а потом не повиснет на телефоне, и ему не надо будет слушать бесконечные и бессмысленные женские разговоры: «Как дела?.. Что новенького?.. Что ты говоришь?.. Ах, моя дорогая... И что же ты ей сказала?.. Не может быть!.. Нет, нет, в среду я никак не могу...»

Один, один... Какое счастье! Он потянулся, расправляя плечи, затекшие от долгой езды, и с удовольствием оглядел уютную, ярко освещенную столовую. От Дувра он ехал без остановок и успел проголодаться, так что домашний ужин – довольно тощая отбивная – показался ему недостаточным, особенно после итальянской и швейцарской еды. Ну, что делать, придется возвращаться к менее изысканному рациону... Он съел еще бутерброд с сардинкой и с минуту посидел, размышляя, что бы такое сообразить на десерт.

На буфете стояла ваза с яблоками. Он поднялся, переставил ее на стол и внимательнее поглядел на яблоки. М-да, яблочки не бог весть какого качества. Мелкие, невзрачные, какие-то бурые. Он надкусил одно и тут же выплюнул. Ну и дрянь! Он попробовал другое: то же самое. Кожира шершавая, грубая; внутри такие яблоки обычно бывают твердые и кислые. Но у этих мякоть была рыхлая, вязкая, как вата, а сердцевина темная, точно тронутая гнилью. Кусочек волокнистой мякоти застрял у него между зубами, он с трудом его вытащил. Надо же было подсунуть ему такую гадость!..

Он позвонил, и прислуга пришла из кухни.

– Что-нибудь другое на десерт у нас есть? – спросил он.

– Боюсь, что нету, сэр. Я вспомнила, что вы любите яблоки, и Виллис нарвал вот этих. Сказал – поспели в самый раз, очень вкусные.

– К сожалению, он ошибся. Это нечто совершенно несъедобное.

– Извините, пожалуйста, сэр. Я бы их не приносила, если б знала. Он там целую корзину собрал – стоит у дома.

– И все такие же?

– Все одинаковые, сэр. Меленькие, буренькие.

– Неважно, не беспокойтесь. Я сам утром выйду в сад, погляжу.

Он встал из-за стола и перешел в гостиную. Чтобы избавиться от неприятного привкуса во рту, он выпил рюмку портвейна, съел печенинку, но и это не помогло. Что-то вязкое, противное обволакивало язык и небо, и в конце концов он был вынужден подняться в ванную и как следует вычистить зубы. Самое обидное, что именно сейчас, после пресного ужина, очень кстати было бы настоящее, хорошее яблоко – с гладкой и чистой кожицей, с хрустящей, сочной мякотью, не слишком сладкое – лучше даже чуть-чуть с кислинкой. Такое, чтоб его приятно было съесть: спелое, но не перезревшее. Главное – уметь вовремя сорвать яблоко с дерева.

Ночью ему приснилось, что он в Италии и танцует под тентом на мощенной брусчаткой площади. Когда он проснулся, у него в ушах еще звучала музыка, и за утренним чаем он все пытался вспомнить лицо своей партнерши, вспомнить, как прижимал ее к себе, как смешно она спотыкалась о его ноги. Но ощущение ускользало, и оживить его в памяти никак не удавалось.

Он встал и подошел к окну посмотреть, какая погода. Вполне приличная: небо ясное, воздух свежий, бодрящий.

И тут его взгляд упал на старую яблоню. Зрелище было такое неожиданное, что он застыл на месте. Теперь ему стало ясно, откуда взялись вчерашние яблоки. Дерево буквально гнулось под бременем невиданного урожая. На каждой ветке, вплотную друг к другу, сидели мелкие коричневатые яблоки, чем ближе к верхушке, тем мельче – на самых верхних ветках они и размером, и цветом смахивали на орехи. Дерево осело под их тяжестью, скривилось, скособо-чилось, нижние ветки отвисли до земли, а в траве вокруг валялись бесчисленные падалицы – те яблоки, которые выросли первыми, а потом были вынуждены уступить место своим же более настойчивым младшим братьям и сестрам. Яблоки устилали землю сплошным ковром; многие успели лопнуть и растрескаться, и теперь по ним ползали осы. В жизни он не видел такого количества яблок на одном дереве. Просто чудо, что оно устояло, не рухнуло.

До завтрака он вышел в сад – любопытство не давало ему покоя – и еще раз, вблизи, поглядел на старую яблоню. Да, так и есть: эти самые яблоки стояли вчера на буфете. Мелкие, как мандарины, а многие и того мельче, они росли так тесно, что если захотеть сорвать одно, пришлось бы сорвать целую гроздь.

В этом зрелище было что-то отталкивающее, противоестественное – и в то же время вызывающее жалость. За что несчастному дереву такая мука? А это была поистине мука – другого слова не подберешь. Было видно, как яблоня страдает, корчится, изнемогает под тяжелым грузом; сколько месяцев она готовилась к тому, чтобы дать этот небывалый – и, что самое ужасное, совершенно несъедобный урожай! Ни одно яблоко нельзя было взять в рот, все они никуда не годились. Он ступал по ним, давил каблуками, и они тут же превращались в чавкающее, скользкое месиво; ему пришлось сорвать несколько пучков травы и обтереть ботинки.

Гораздо лучше было бы, если бы дерево погибло, пока оно еще стояло голое, пока не зацвело. А что теперь с ним делать? Кому и зачем нужна куча гниющих яблок, которая только портит весь вид в саду? Какая польза в этой старой яблоне, осевшей, скрюченной, словно от боли, но всем своим видом – он готов был поклясться – выражающей тайное торжество, почти злорадство?

Дерево против воли притягивало взгляд. Как тогда, весной, когда оно покрылось несметным числом набрякших грязно-белых цветов, так и теперь, со всей этой безумной массой яблок. От него было некуда деться. Все окна жилой половины выходили в сад, и он знал, что ему предстоит. Яблоки провисят еще весь октябрь и ноябрь, дожидаясь, пока их снимут, а снимать их никто не станет, потому что есть их нельзя. Он с ужасом подумал, что старая яблоня может простоять в таком виде целую вечность – и всякий раз, как он будет выходить на террасу, она будет торчать у него перед глазами, ненавистная, кособокая уродина.

Удивительно все-таки, до чего он ее невзлюбил. Она неотвязно напоминала ему о том... о чем, собственно, он сам толком не знал... в общем, обо всем, что он всей душой ненавидел. Определить это точнее он не мог. И немедленно принял решение: надо, чтобы Виллис снял

все яблоки, увез их, продал, любым способом сбыв с рук – лишь бы не смотреть на них всю осень, не видеть, как корчится под их тяжестью злополучная яблоня.

Он повернулся к ней спиной и с облегчением заметил, что ни одно другое дерево не опозорило себя излишеством. Яблоки были на многих, но в нормальном, умеренном количестве, и стоявшая рядом со старой молоденькая яблонька тоже, как он и предполагал, не подвела. На ней росли очень славные, не слишком крупные яблоки, аппетитно подрумяненные солнцем. Пожалуй, надо сорвать одно яблочко, съесть после завтрака. Он выбрал самое симпатичное и едва успел к нему прикоснуться, как яблоко само с готовностью упало ему на ладонь. Оно было такое соблазнительное, что он не утерпел и откусил кусочек – и оно не обмануло его ожиданий: ароматное, сочное, немного терпкое, сбрызнутое росой. Он не стал больше смотреть по сторонам и пошел в дом завтракать – он уже успел проголодаться.

Садовник провозился с яблоками почти неделю – он работал с явной неохотой.

– Меня не касается, куда вы денете эти яблоки, – предупредил его хозяин. – Можете продать их и деньги оставить себе, можете забрать домой, скормить свиньям. Я не желаю их видеть, вот и все. Запаситесь лестницей повыше и сразу же беритесь за дело.

Ему казалось, что Виллис тянет из чистого упрямства. Он не раз наблюдал из окна за его действиями – это было похоже на замедленный фильм. Сперва садовник подтаскивал и долго устанавливал лестницу. Потом не спеша взбирался по ней, потом слезал опять и принимался подпирать лестницу снизу. Потом начинал по одному обрывать яблоки и складывать в корзину. Изодня в день Виллис маячил у него перед глазами – либо торчал на лестнице, либо копошился под деревом; ветки скрипели и стонали, а внизу, на земле, стояли корзины, ведра, тазы, и все это заполнялось яблоками, и конца этому не было видно.

Но конец все же наступил. Лестницу унесли, корзины и ведра тоже. В тот вечер он с удовлетворением оглядел дерево. Слава богу! Больше нет этой гнили, которая так действовала ему на нервы. Все яблоки до последнего обобраны.

Но и освобожденная от бремени, яблоня как будто не испытывала облегчения: она выглядела так же уныло – если это только возможно, еще более уныло, чем прежде. Ветки понуро свисали вниз, а листья, уже тронутые первыми холодами, съежились и зябко дрожали. «И это мне награда? – словно спрашивала старая яблоня. – После всего, что я для тебя сделала?»

По мере того как сгущались сумерки, силуэт старой яблони становился все мрачнее, все угрюмее. Скоро зима. Скоро придут короткие, скучные дни.

Он не любил это время года. Когда он еще работал и каждый день ездил в Лондон, приходилось вставать и выходить затемно, и по утрам его прохватывал холод. В конторе уже часа в три дня, а то и раньше зажигали свет: город часто окутывал туман – влажный, гнетущий. Отработав день, он снова долго трясся в поезде бок о бок с такими же, как он, добывателями хлеба насущного – по пять человек на сиденье, многие с кашлем, с насморком. Потом наступал невыносимо долгий вечер дома, когда они с Мидж сидели друг против друга у камина и он слушал – или притворялся, что слушает, – ее подробный отчет о том, что произошло за день и что где сломалось или вышло из строя.

Если в доме вдруг выдавался день без катастроф, она выискивала любой предлог, чтобы все-таки испортить ему настроение: «Тут пишут, что проезд по железной дороге опять подорожает, – сколько же теперь будет стоить твой сезонный билет?» Или: «Не нравятся мне эти беспорядки в Южной Африке, сегодня в шестичасовых новостях только о них и говорили». Или: «В инфекционную больницу доставили еще троих с полиомиелитом. Прямо не знаю, куда смотрит наша медицина...»

Теперь ему по крайней мере не приходилось играть роль слушателя, но память об этих нескончаемо долгих вечерах не отступала, и когда зажигался свет и задергивались занавеси, он как будто снова слышал позвякивание спиц, бессмысленную болтовню, протяжные зевки... И

тогда перед ужином или после он стал захаживать в ближайший пивной бар – у шоссе, за четверть мили от дома. Там ему никто не докучал. Он здоровался с хозяйкой, приветливой толстой миссис Хилл, усаживался в уголке у стойки и подолгу сидел, потягивая виски с содовой, покуривая и наблюдая за окрестными жителями, которые заходили пропустить кружку пива, покидать дроттики, посудачить.

В каком-то смысле это было продолжение летнего отдыха. Он даже находил что-то общее между беззаботной атмосферой европейских кафе и ресторанчиков и живой, непринужденной обстановкой в ярко освещенном, насквозь прокуренном баре, заполненном простыми, славными людьми, которые ничуть ему не мешали: это было приятно, действовало успокаивающе. Часы, проведенные в баре, разнообразили и скрашивали долгие зимние вечера.

В середине декабря он простудился и больше недели просидел дома. И тут он с удивлением заметил, как не хватает ему этих вечерних выходов, до какой степени он успел к ним привыкнуть и как невыносимо тоскливо проводить вечера в одиночестве у себя в гостиной или в кабинете, не зная, чем заняться, – разве что читать да слушать радио. Простуда и вынужденное безделье привели к тому, что он стал угрюм, раздражителен; снова начала пошаливать печень. Нет, нельзя сидеть без движения. На исходе очередного холодного, пасмурного дня он решил, что завтра, независимо от погоды, непременно выйдет из дому. Небо хмурилось уже часов с двух, обещая в скором времени снегопад, но что бы там ни было, он не может оставаться в четырех стенах еще целые сутки, ему нужна какая-то разрядка.

Последней каплей, переполнившей его терпение, оказался эпизод за ужином. Он только начал приходить в себя после простуды и вступил в тот период, когда вкусовые ощущения притупились, аппетит еще не восстановился, но организм уже требует чего-то нестандартного. Хочется, например, птицы. Скажем, половинку жареной куропатки, безусловно приготовленной, а на десерт воздушное сырное суфле. М-да, с таким же успехом можно требовать с неба луну... Прислуга, начисто лишенная воображения, подала на ужин камбалу – из всех видов рыбы самую безвкусную и пресную. К рыбе он почти не притронулся. Убрав тарелку, прислуга принесла из кухни какой-то пирог, и поскольку он по сути дела остался голоден, он отрезал себе солидный кусок.

Но стоило ему только взять его в рот, как он тут же, давясь и кашляя, выплюнул все в тарелку. Потом встал и позвонил.

Прислуга вышла из кухни и вопросительно взглянула на него.

– Это что за чертовщина, позвольте вас спросить?

– Пирог с повидлом, сэ.

– С каким еще повидлом?

– С яблочным. Это домашнее повидло, сэ, не покупное. Я сама варила.

Он в ярости швырнул на стол салфетку.

– Так я и думал. Разумеется, из тех самых яблок, которые вы один раз уже пытались мне подсунуть. Я ведь сказал тогда и вам, и Виллису, и сказал, кажется, ясно, что не желаю больше видеть эти яблоки.

Она поджала губы, и лицо ее приняло напряженное, сухое выражение.

– Вы приказали, сэ, не готовить компот и не подавать их на сладкое. А насчет повидла вы не говорили. Я подумала, что уж в таком-то виде ничего в них плохого нету. Я и сварила – сперва на пробу, очень вкусно получилось. А потом взяла у Виллиса еще яблок, сварила побольше и закатала в банки. Мы с хозяйкой всегда делали такие заготовки.

– Напрасно утруждались. Я эту дрянь есть не буду, вы уж меня извините. Я эти яблоки не переношу – меня от них тошнит, понимаете? И в виде повидла, и в любом другом виде. Заберите пирог – и чтобы больше я не видел ваше повидло. Подайте мне кофе в гостиную.

Он вышел из столовой, дрожа от бешенства. Такая, казалось бы, мелочь – и чтобы так вывести человека из себя! О боже! Что за олухи! Ведь и она, и Виллис прекрасно знали, что

он терпеть не может эти яблоки, – и все-таки, со своей пошлой мелочностью и крохоборством, решили их пустить на повидло. И его же этой дрянью накормить!

Он одним глотком, ничем не разбавляя, выпил виски и закурил сигарету.

Вскоре прислуга принесла ему кофе, но, поставив поднос на столик, почему-то не ушла.

– Я хотела с вами поговорить, сэр, если можно.

– Что такое?

– Наверно, будет лучше, если я возьму расчет.

Только этого еще не хватало! Ну и денек! Ну и вечерок!

– С чего вдруг? Из-за того, что я не ем пирог с повидлом?

– Нет, сэр, не в этом дело. Просто в доме теперь всё как-то не так. Я уж сколько раз хотела вам сказать, да не решалась.

– Я вам, кажется, особых хлопот не доставляю.

– Верно, сэр. Только раньше, при хозяйке, я знала, что мою работу видят и ценят. А теперь никому не интересно – делаю я что, не делаю... Вы месяцами слова не скажете, выходит, я вроде бы зря стараюсь – не пойму, угодила или нет. Мне, наверно, лучше подыскать другое место, где семья, где есть хозяйка. Она хоть поругает, хоть похвалит, а все ж таки заметит.

– Вам, разумеется, виднее. Поступайте как знаете. Мне жаль, что вам здесь разонравилось.

– И летом, сэр, вас очень долго не было. При хозяйке вы уезжали не больше чем на две недели. Да и вообще теперь все по-другому. Не знаем прямо, на каком мы свете. Что я, что Виллис.

– Вот как? Виллис тоже вознамерился уволиться?

– Я за него не скажу, сэр. Знаю, что из-за яблок он сильно расстроился, но это уж дело прошлое. Надумает уходить – сам вас предупредит.

– Ну что ж, я насильно никого не держу. Честно говоря, не предполагал, что до такой степени вам досаждаю. Ладно, на сегодня хватит. Всего хорошего.

Прислуга вышла. Он долго не вставал из-за стола, угрюмо озираясь по сторонам. Черт с ними, хотят уходить – пусть катятся, невелика потеря. В доме все как-то не так... Теперь все по-другому... Бред какой-то! Виллис, видите ли, расстроился из-за яблок. Вот наглость! Может быть, он не имеет права распоряжаться фруктами из собственного сада?! Ладно, плевать и на погоду, и на простуду. Он не в состоянии больше впустую изводить себя из-за кухарки и садовника. Лучше пойти в бар и постараться забыть всю эту глупую историю.

Он надел пальто, нахлобучил на голову старую фуражку, замотал шею шарфом и вышел на улицу. Через двадцать минут он уже сидел на своем привычном месте, в уголке, а миссис Хилл отмеривала ему в стакан порцию виски и радовалась, что он снова тут. Двое-трое постоянных клиентов тоже дружелюбно улыбнулись ему, спросили о здоровье.

– Малость простыли, сэр? Сейчас везде одно и то же. Все ходят с простудой.

– Это точно.

– Такое уж время простудное. Ни осень ни зима.

– Да, простуда – скверная штука. Особенно когда грудь заложит.

– А насморк что, лучше? Голова как котел.

– Что верно, то верно. Одно худо и другое не легче. Тут уж ничего не скажешь.

Симпатичные, открытые лица. Славные люди. Не нудят, не действуют на нервы.

– Еще виски, пожалуйста.

– Извольте, сэр. Дай бог на пользу. Хорошо простуду выгоняет.

Миссис Хилл улыбалась ему через стойку. Добродушная, гостеприимная толстуха. Сквозь пелену дыма до него доносились разговоры, громкий смех, пощелкивание дротиков, одобрительный гогот, когда кто-то попадал точно в цель.

– ...а если еще снег пойдет, то прямо не знаю, что и делать, – говорила миссис Хилл. – Уголь вовремя опять не завезли. Был бы запасец дров, можно бы перебиться до ближайшей доставки, а за дрова сейчас знаете сколько берут? По два фунта за воз!

С удивлением он услышал собственный голос – он шел откуда-то издалека:

– Я вам привезу дров.

Миссис Хилл обернулась. Она говорила с каким-то клиентом.

– Простите, сэр?

– Я вам привезу дров, – повторил он. – У меня в саду старое дерево, давно пора его пустить на дрова. Я его спилю. Завтра же. Для вас. – И он кивнул с довольным видом.

– Ну что вы, сэр, зачем же так себя утруждать! Уголь привезут, не беспокойтесь.

– Мне не трудно. Наоборот, приятно. Поработать... на воздухе... одно удовольствие. Для здоровья полезно. Жирок растрясти. Завтра спилю.

Он слез с табурета и стал медленно, старательно натягивать пальто.

– Это яблоня, – уточнил он напоследок. – Будете яблоней топить?

– Да чем угодно, сэр, были бы дрова... А что, разве эта яблоня у вас лишняя?

Он кивнул с таинственным видом. Дело слажено. Об остальном – молчок.

– Завтра привезу. На трейлере. К вечеру.

– Осторожнее, сэр, – сказала она ему вслед. – Не забудьте – ступенька!

На дворе было свежо, морозно. Шагая домой, он улыбался своим мыслям. Он не помнил, как разделся и лег в постель, но поутру первое, что пришло ему в голову, было данное накануне обещание спилить старую яблоню.

Был четверг – день, когда Виллис не приходил. Вот и отлично. Никто не помешает. Небо было хмурое, мглистое – ночью шел снег. Наверно, потом опять пойдет. Но пока что волноваться не о чем, пока препятствий нет.

После завтрака он пошел на огород и взял в сарае для инструментов пилу, топор и пару клиньев. Все это может понадобится. Он провел пальцем по лезвию топора. Ничего, сойдет. Он вскинул топор и пилу на плечи и пошел в сад, усмехаясь про себя, – со стороны он, наверно, был похож на палача из незапамятных времен, который вот так же отправлялся в Тауэр, чтобы обезглавить очередную жертву.

Он сложил инструменты под яблоней. По существу, это будет акт милосердия. В жизни он не видел более удручающего, жалкого зрелища. Казалось, что жизнь из старой яблони безвозвратно ушла. Листья облетели все до одного. Уродливая, сгорбленная, скрюченная, она только портила вид перед домом. Без нее весь сад будет смотреться совершенно по-другому.

На руку ему упала снежинка, за ней другая. Он перевел взгляд на окно столовой. Через стекло было видно, как прислуга накрывает на стол. Он спустился к террасе и вошел в дом.

– Знаете что, – сказал он прислуге, – поставьте мне все в духовку, я поем, когда найду нужным. Я тут должен кое-чем заняться и не хочу себя связывать определенным временем. Кроме того, видите – снег начинается, так что лучше вам уйти пораньше и спокойно добраться до дому, пока метель не разыгралась. Я прекрасно управлюсь сам, уверяю вас. Мне так даже удобнее.

Она, должно быть, подумала, что он хочет поскорее избавиться от ее присутствия, что он в обиде за вчерашнее. Ну и бог с ней, пусть думает что хочет. Главное – он должен остаться один. Не хватает еще, чтобы кто-то пялился на него из окон.

Прислуга распрощалась в полпервого; как только она ушла, он открыл духовку и вынул то, что она приготовила. Ему хотелось поскорее покончить с едой, чтобы успеть за немногие светлые часы сделать все, что было намечено.

Снег, который начался было час назад, прекратился и на земле успел уже растаять. Но все равно мешкать было нельзя. Он скинул пиджак, закатал рукава и взял в руку пилу. Другой

рукой он сорвал проволоку, которой был обмотан низ ствола. Потом приставил пилу к дереву, примерно в футах от земли, и принялся пилить.

Поначалу все шло гладко. Пила со скрежетом вгрызалась в дерево и двигалась ритмично. Но через минуту-две пилу стало заедать. Этого-то он и опасался.

Он попробовал освободить пилу, но щель на месте распила была еще довольно узкая, и пила накрепко завязла в древесине. Дерево словно зажало ее тисками и не отпускало. Он забил в щель клин – безрезультатно. Потом забил второй; щель немного расширилась, но не настолько, чтобы можно было вытащить пилу.

Он тянул ее, дергал – все напрасно. Он начал терять терпение. Как быть? Он поднял с земли топор и принялся подрубать дерево; во все стороны полетели щепки.

Вот это другое дело. Так-то лучше.

Тяжелый топор поднимался и опускался; ствол трещал и крошился под его ударами. Сначала кора, потом влажный волокнистый луб. Так, так ее, сильнее, глубже, отбрось топор, рви голыми руками неподатливую древесную плоть! Мало, мало, надо еще...

Вот шлепнулись на землю клинья, забитые в щель, за ними пила. Еще, еще... Ага! Еще немного – последние, самые упорные жилы... Вот она застонала, покачнулась, вот уже качается вовсю, держится на одном волоске... Ногой ее! Поддай как следует! Еще, еще! Вот накрепчилась... падает... рухнула! Так ее, так ей и надо! Наконец-то... будь она проклята... оглушительный треск – и вот она лежит перед ним на земле, распластав свои уродливые ветки.

Он выпрямился и вытер пот со лба и шеи. Следы разгрома окружали его со всех сторон, а у самых ног торчал расщепленный, голый, обезображенный пенек.

Пошел снег.

Первым делом с поваленного дерева надо было обрубить сучья и ветки и рассортировать их по толщине, чтоб удобней было перетаскивать к машине.

Всю мелочь, веточки и щепки, тоже надо было подобрать и связать – сгодятся на растопку, миссис Хилл будет довольна. Он подогнал машину с прицепленным трейлером к садовой калитке у террасы. С ветками потоньше нетрудно было справиться без топора – он пустил в ход кривой садовый нож. Тяжелее оказалось складывать их и увязывать, а потом перетаскивать вдоль террасы к калитке и загружать на трейлер. Самые толстые сучья он отсекал топором и разрубал на три-четыре части, чтобы можно было накинуть на них веревочную петлю и протащить по земле волоком.

Он чувствовал, что время поджидает. К половине пятого начнет темнеть – уже сейчас смеркалось, а снег все шел и шел. Земля побелела, и когда он останавливался передохнуть и вытереть пот, снежинки покалывали ему лицо и, попадая за воротник, неприятно холодили кожу. Если он поднимал голову, снег тут же налипал ему на ресницы, слепил глаза. Снег валил все быстрее, все гуще; вокруг роились снежные вихри, небо превратилось в сплошную снеговую завесу, которая опускалась ниже и ниже, грозя окутать и задушить землю. Обрубленные сучья и ветки сразу же заносило снегом. Стоило ему ненадолго прервать работу, чтобы перевести дух, как снег спешил укрыть мягким белым одеялом сваленные в беспорядке обрубки.

В перчатках он работать не мог: в них было неудобно держать топориче или рукоятку ножа, завязывать узлом веревку. Руки у него заоченели от холода, пальцы сгибались с трудом. Где-то под сердцем он чувствовал ноющую боль – от усталости, от напряжения, а работа все никак не кончалась. Когда он, перетаскив и взвалив на трейлер очередную охапку дров, возвращался за новой, ему казалось, что груда разнокалиберных сучьев и ветвей ничуть не уменьшается; или он вдруг замечал в стороне случайно забытую, почти полностью занесенную снегом кучку растопки – и опять все начиналось сначала: складывать, связывать, волочить по земле или взваливать на спину...

Время уже близилось к пяти; кругом совсем стемнело, когда он разделался с ветками и сучьями. Оставалось перетащить и погрузить на трейлер ствол, предварительно уже разрубленный на три части.

Он окончательно выбился из сил и держался только благодаря решимости сегодня же, любой ценой избавиться от старой яблони. Дышал он тяжело, с трудом; снег то и дело попадал ему в рот, в глаза, и работал он чуть ли не ощупью.

Он взял веревку, нагнулся, подсунул ее под холодное, скользкое бревно и рывком затянул узел. Какая тяжесть, какая неподъемная тяжесть! Какая грубая, жесткая кора, как болят его заочеченные руки!

– Ну ничего, – пробормотал он сквозь зубы, – теперь тебе конец, крышка!

Шатаясь, он выпрямился, перекинул веревку через плечо и потащил бревно вниз по склону к террасе и дальше, к садовой калитке. Оно рывками перемещалось по мокрому снегу, вихляясь и стучаясь о ступеньки террасы. Один за другим безжизненные, голые останки старой яблони проделали последний скорбный путь.

Ну, все. Задача выполнена. Он постоял у нагруженного трейлера, хватая ртом воздух. Теперь остается только доставить груз в пивную миссис Хилл, пока дорогу еще не занесло. К счастью, он заранее сообразил надеть на колеса цепи.

Он вернулся в дом сменить одежду, потому что вымок насквозь, и проглотить порцию виски. Огонь в камине он разводить не стал, не стал и задергивать занавеси. Думать об ужине тоже было некогда. Все то, чем занималась обычно прислуга, он просто выкинул из головы: сейчас было не до того. Сейчас надо выпить, чтобы согреться, и не мешкая трогаться в путь.

Его мозг был измучен и тоже словно заочеченел, как руки, как все его тело. Секунду он колебался: не отложить ли все до завтра, а сейчас рухнуть в кресло, закрыть глаза... Нет, нельзя. Завтра снега навалит еще больше, чего доброго фута на два, на три, и на шоссе вообще будет не выехать. Он знал, чем грозит такой снегопад. Трейлер с грузом намертво застрянет у калитки. Нет, надо во что бы то ни стало все закончить сегодня.

Он допил виски, переоделся в сухое и вышел из дому. Снег по-прежнему падал не переставая, но с наступлением темноты воздух сделался суше, морознее; температура ощутимо понизилась. Снежные хлопья стали крупнее, реже и слетали на землю медленно, кружась и опускаясь в четком ритме.

Он завел мотор и стал потихоньку съезжать вниз к шоссе, таща за собою трейлер. Он знал, что быстро ехать с грузом опасно. После нескольких часов напряженной физической работы было особенно трудно вглядываться в дорогу, еле различимую сквозь снежную пелену; то и дело приходилось протирать переднее стекло. Никогда еще освещенные окна придорожной пивной не радовали его так, как в ту минуту, когда он наконец свернул с шоссе во двор.

Он шагнул через порог и остановился, щурясь от яркого света и довольно усмехаясь про себя:

– Принимайте груз! Я привез вам дрова.

Миссис Хилл изумленно воззрилась на него из-за стойки. Двое-трое посетителей повернулись и тоже посмотрели с удивлением, а игроки как по команде притихли.

– Неужто вы... – начала было миссис Хилл, но он со смехом мотнул головой в сторону двери.

– Идите посмотрите, – сказал он, – только чур – разгружать сегодня не просите.

И он уселся на свое излюбленное место в уголке, посмеиваясь про себя, а все вокруг принялись ахать и восторгаться, и кто-то вышел во двор посмотреть, а потом народ столпился у дверей, и его, как героя дня, стали забрасывать вопросами, а миссис Хилл все подливала ему виски, и рассыпалась в благодарностях, и растроганно качала головой.

– Пейте на здоровье, сэр, с вас платы не берем! – объявила она.

– Вот еще! Ни в коем случае, – возразил он, – наоборот, сегодня я всех угощаю. Налейте всем два раза за мой счет! Давайте, ребята!

Было славно – весело, тепло, непринужденно; и он без конца желал им здоровья, удачи – им всем, и миссис Хилл, и себе самому, и всем людям на свете. Когда Рождество? Через неделю, через две? Надо выпить и по этому случаю. Счастливого всем Рождества! Он забыл про снег, про мороз. В первый раз он пил со всеми вместе, участвовал в общем веселье, даже попробовал сам кинуть дротик. В пивной было тесно, шумно, но ему в этом теплом, душном, насквозь прокуренном помещении все равно было хорошо, он был доволен, видел, что вокруг друзья, он не чувствовал себя чужаком, человеком из другой среды; он был одним из них.

Время шло – кто-то прощался и уходил домой, другой тут же занимал освободившееся место, а он все сидел и сидел в баре, впитывая в себя уютное тепло, перемешанное с табачным дымом. В голове у него был туман – он не особенно вникал в то, что творилось вокруг, но его это мало заботило; толстуха миссис Хилл не забывала наполнять его стакан и благодушно улыбалась через стойку.

Перед глазами у него замаячило знакомое лицо – ну да, это работник с фермы, во время войны они подменяли друг друга на тракторе. Он наклонился, тронул его за плечо и спросил:

– Что стало с девочкой?

Работник поставил свою кружку на стойку:

– Вы о ком, сэр?

– Ну, помните, молоденькая девочка. Работала на ферме. Коров доила. Кормила поросят. Хорошенькая, кудрявая. Темные волосы. Всегда с улыбкой. Помните?

Миссис Хилл кончила обслуживать очередного клиента и повернулась в их сторону:

– Может, это они про Мэй?

– Да, да, именно. Я вспомнил, так ее и звали: Мэй.

– Разве вы не слыхали, сэр? – спросила миссис Хилл, доливая ему в стакан. – Мы тогда все так переживали, только об этом и говорили, верно, Фред?

– Точно, миссис Хилл.

Работник вытер рот рукой.

– Погибла Мэй, – сказал он, – поехала на мотоцикле с одним парнем и разбилась. Вот-вот должна была замуж выйти. Года четыре уж прошло. Прямо вспомнить страшно. Хорошая была девушка.

– Мы тогда собрали деньги на венки, – сказала миссис Хилл. – Потом мать ее написала, поблагодарила, и вырезку прислала из местной газеты. Верно, Фред? Такие были пышные похороны, цветов видимо-невидимо. Бедняжка Мэй. Ее тут все любили.

– Это точно, – подтвердил Фред.

– Подумать только, сэр, что вы не знали! – вздохнула миссис Хилл.

– Нет, я не знал, – ответил он. – Никто мне не сказал. Жаль. Очень жаль девочку.

И он замолчал, глядя на свой стакан, уже наполовину пустой.

Разговоры вокруг шли своим чередом, но он их больше не слышал. Он опять остался наедине с собой, отрешившись от окружающего. Погибла! Такая славная, совсем молоденькая! Уже четыре года как погибла... Согласилась прокатиться с каким-то безмозглым идиотом, он хотел перед ней поковырять, погнал всюду, не тормознул на повороте... А она обхватила его руками сзади, прижимается к нему, смеется... и вдруг удар... конец! И нет больше кудрявых волос, нет больше смеха...

Да, так ее и звали – Мэй, теперь он окончательно вспомнил. И мысленно увидел, как она улыбнулась ему через плечо, когда кто-то ее окликнул. «Иду-у-у!» – ответила она нараспев, поставила на землю громыхнувшее ведро и пошла через двор, насвистывая, стуча тяжелыми, не по росту большими сапогами. Всего-то и успел он, что обнять ее, поцеловать, заглянуть в ее смеющиеся глаза. Один короткий миг... Ах, Мэй, Мэй...

– Уже уходите, сэр? – сказала миссис Хилл.

– Да, надо двигаться.

Кое-как он добрался до выхода и открыл дверь. За прошедший час мороз усилился. Небо очистилось от мутной снежной пелены, и выглянули звезды.

– Подсобить вам с машиной, сэр? – спросил кто-то сзади.

– Спасибо, не нужно, – ответил он, – я справлюсь.

Он отцепил свой груз, и трейлер одним концом уткнулся в снег. От толчка часть дров сползла вперед. Ничего, до завтра полежат. Завтра, если будет настроение, он вернется и поможет с разгрузкой. Только не сегодня. На сегодня все. Он внезапно ощутил смертельную усталость. Из него словно разом ушли последние силы.

Довольно долго он провозился с зажиганием и когда наконец тронулся с места и одолел примерно треть пути, понял, что зря связался с машиной – проще было ее оставить. На дороге, которая сворачивала от шоссе к его дому, снег лежал толстым, рыхлым слоем; след от колес успело замести. Машину дергало и заносило; вдруг правое переднее колесо куда-то повело, и машина завалилась набок. По-видимому, въехала в сугроб.

Он вылез и огляделся. Действительно, машина увязла глубоко, и без помощи двоих-троих дюжих мужчин сдвинуть ее нечего было и думать. Даже если вернуться и кликнуть помощников, ехать дальше по таким сугробам не имеет смысла. Лучше бросить ее там, где стоит, и прийти поутру, отоспавшись и собравшись с силами. Не стоит биться с ней полночи, понапрасну тянуть и толкать, когда это прекрасно можно сделать утром. Здесь, в стороне от шоссе, с машиной ничего не случится – в такую поздноту мимо уже точно никто не поедет.

Он зашагал в сторону дома. Да, не повезло, что машина угодила в сугроб. На середине дороги снега было не так уж много, по щиколотку. Он поглубже засунул руки в карманы пальто. Дорога шла в гору; слева и справа тянулась ровная белая пустыня.

Он вспомнил, что еще днем отпустил прислугу и что дом стоит холодный, неприятный. Огонь в камине скорее всего давно погас; чего доброго, котел в подвале тоже. Окна с незадернутыми занавесями чернеют на фасаде, как пустые глазницы. Еще придется что-то изобретать на ужин... Ну что ж, сам виноват. Кроме самого себя, винить некого. В такой вечер кто-то должен был бы поджидать его дома – выбежать в холл навстречу, зажечь свет, поскорее отпереть парадную дверь... «С тобой все в порядке, дорогой? Я уже волнуюсь!»

Одолев подъем, он остановился передохнуть и увидел невдалеке, за деревьями, свой дом. Без единого огонька, дом казался мрачным, зловещим. Стоять под открытым небом, усеянным звездами, на белом хрустящем снегу было как-то веселее и спокойнее, чем возвращаться в безлюдный, темный дом.

Садовая калитка была открыта настежь; он прошел и затворил ее за собой. В саду, занесенном снегом, царила тишина; нигде не раздавалось ни звука. Он как будто вступил в заколдованное снежное царство.

Он медленно пошел по снегу вдоль террасы.

Теперь молоденькая яблонька осталась на краю одна – никто ей не мешал. Она стояла, горделиво расправив запорошенные снегом ветки, и сама в этом сверкающем наряде была как легкий призрак, явившийся из мира сказок и фантазий. Ему захотелось подойти к ней поближе, коснуться ее, убедиться, что она жива, не застыла под снегом, что весной расцветет опять.

Он был уже почти рядом с ней, но неожиданно споткнулся, упал и больно подвернул ногу. Пошевелив ногой, он почувствовал, что она застряла в какой-то западне. Он дернул посильнее и по резкой боли в лодыжке понял, что нога завязла крепко и вытащить ее будет нелегко. И только тут сообразил, что попал ногой в расщепленный, искореженный пень, оставшийся от старой яблони.

Лежа ничком и опираясь на локти, он попробовал сдвинуться вперед и вбок; но упал он так неудачно, что любая попытка изменить положение приводила к тому, что пень еще сильнее

сдавливал ногу. Он стал шарить руками вокруг, но пальцы сквозь снег натыкались на острые щепки, торчки и обломки, которыми была усеяна земля под яблоней. Тогда он стал звать на помощь, понимая в глубине души, что никто не услышит, никто не отзовется.

«Отпусти меня, – кричал он, – отпусти», – словно то, что держало его, как клещами, способно было сжалиться, освободить его; он кричал, и по лицу у него катились слезы страха и отчаяния. Неужели придется лежать тут всю ночь? Неужели эти адские тиски не разомкнутся? Никакого выхода, никакой надежды на спасение! Надо ждать, пока наступит утро, пока кто-нибудь появится, найдет его... а вдруг будет уже слишком поздно? Вдруг он не дотянет до утра и люди наткнутся на замерзший, занесенный снегом труп?

Он снова попытался вытащить ногу, мешая рыдания с проклятиями. Никакого результата. Полная неподвижность. В изнеможении он уронил голову на руки. Из глаз у него текли слезы, он все глубже и глубже оседал в снег, и когда его губ случайно коснулась какая-то веточка, мокрая и холодная, ему почудилось, что это чуть заметное прикосновение руки, робко тянувшейся к нему в темноте.

Перевод И. Комаровой

Маленький фотограф

Маркиза сидела в своем кресле на балконе отеля. На ней был один капот, а ее блестящие золотистые волосы, только что уложенные и заколотые шпильками, перехвачены широкой бирюзовой лентой того же тона, что и глаза. Возле кресла стоял маленький столик, а на нем три флакончика с лаком для ногтей, разных оттенков. Из каждой бутылочки она нанесла тонкий слой на три пальца и теперь, вытянув руку, изучала полученный эффект. Нет, лак на большом пальце слишком яркий, слишком красный, он придает ее тонкой смуглой руке беспокойный, несколько возбужденный вид, словно на нее упала капелька крови из свежей раны.

Лак на указательном пальце был розовый, резкого оттенка, он тоже казался ей неверным, не соответствующим ее нынешнему настроению. Это был красивый сочный розовый цвет, уместный в гостиной или в бальном зале, на приеме, когда стоишь, медленно обмахиваясь веером из страусовых перьев, а вдали раздаются звуки скрипок.

Средний палец покрывала тончайшая шелковистая пленка, цвет которой трудно было определить. Не малиновый и не алый, а какой-то более тонкий, мягкий оттенок. В нем виделся блеск пиона, который еще не совсем распустился навстречу утреннему солнцу, он еще в бутоне и покрыт капельками утренней росы. Прохладный и тугой, он глядит на пышную зелень лужайки с высоты бордюра на террасе и раскроет свои нежные лепестки только под лучами полуденного солнца.

Да, этот оттенок – именно то, что нужно. Она взяла кусочек ваты и стерла неподходящий лак с двух ногтей, а затем обмакнула кисточку в выбранный флакон и быстрыми, уверенными мазками, словно художник-профессионал, стала наносить лак на ногти.

Закончив, она устало откинулась на спинку кресла, помахивая перед собой руками, чтобы высох лак, – странные жесты, напоминающие движения жрицы. Потом наклонилась, рассматривая ногти на ногах, видные сквозь сандалии, и решила, что вот сейчас, через минуту, она их тоже покрасит; смуглые руки, смуглые ноги, спокойные и незаметные, вдруг наполнятся жизнью.

Но сначала нужно отдохнуть, перевести дух. Слишком жарко, не хочется отрывать спину от уютного кресла и наклоняться вперед, словно мусульманин на молитве, ради того, чтобы покрасить ногти на ногах. Времени для этого сколько угодно. В сущности говоря, у нее впереди целый день, целый томительный длинный день, так похожий на все остальные.

Она закрыла глаза.

Отдаленные звуки гостиничной жизни доносились до нее как бы сквозь сон; звуки были приглушенные, приятные, ибо она была частью этой жизни и в то же время свободна, не связана неумолимыми требованиями домашнего уклада. На верхнем балконе кто-то с шумом отодвинул стул. Внизу, на террасе, официанты устанавливали яркие полосатые зонтики над маленькими столиками, готовясь к обеду. Было слышно, как в зале ресторана отдает распоряжения *maître d'hôtel*⁴. В соседнем номере *femme de chambre*⁵ убирала комнаты. Передвигали мебель, скрипнула кровать. Этажом выше *valet de chambre*⁶ сметал метелкой пыль с широких перил балкона. Слышались их приглушенные голоса, иногда недовольное ворчанье. Потом они ушли. Наступила тишина. Ничего, кроме ленивого плеска волн, ласкающих горячий песок; а где-то вдали, достаточно далеко, чтобы это не мешало, смех и голоса играющих детей, в том числе и ее собственных.

⁴ Метрдотель (фр.).

⁵ Горничная (фр.).

⁶ Камердинер (фр.).

Внизу на террасе кто-то из гостей заказал кофе. Дым от его сигареты, поднимаясь вверх, долетел до ее балкона. Маркиза вздохнула, и ее прелестные руки упали, словно две лилии, по обе стороны шезлонга. Вот он, покой, полное умиротворение. Если бы можно было удержать этот миг еще хотя бы на один час... Однако что-то говорило ей, что, когда минует этот час, к ней снова вернется демон неудовлетворенности и скуки, будет терзать ее даже теперь, когда она наконец свободна, отдыхает от домашней рутины.

На балкон залетел шмель, покружился возле бутылочки с лаком и, сев на распутившийся цветок, принесенный кем-то из детей, заполз внутрь. Когда он оказался внутри цветка, жужжанье прекратилось. Маркиза открыла глаза и увидела, что опьяненное запахом насекомое заползает все глубже внутрь цветка. Потом шмель снова взмыл в воздух и полетел своей дорогой. Очарование было нарушено. Маркиза подобрала с пола письмо, которое получила от Эдуара, своего мужа.

«...Итак, моя драгоценная, как выяснилось, я не сумею к вам приехать. Дома слишком много дел, которые я не могу никому доверить. Конечно, я сделаю все возможное, чтобы забрать вас отсюда в конце концов. А пока купайтесь, отдыхайте и старайтесь не скучать. Я уверен, что морской воздух принесет вам большую пользу. Вчера я ездил навестить маман⁷ и Мадлен, и у меня такое впечатление, что старый кюре...»

Крохотная морщинка, единственный предательский знак, портивший прелестное гладкое лицо маркизы, обозначилась возле уголка ее губ. Опять та же история. Вечно у него дела. Именье, леса, арендаторы, коммерсанты, с которыми он должен встречаться, неожиданные поездки, которые никак невозможно отложить. Вот и получается, что у Эдуара, ее мужа, несмотря на всю его любовь, никогда не остается времени для жены.

Еще до свадьбы ее предупредили, как все это будет. «C'est un homme très sérieux, Monsieur le Marquis, vous comprenez»⁸. Как мало ее это смущало, как охотно она согласилась – ведь что может быть лучше, чем маркиз, да еще к тому же серьезный человек? Что может быть прекраснее, чем это шато и огромные поместья? Или дом в Париже и целый штат покорных почтительных слуг, которые называют ее Madame la Marquise?⁹ Сказочный мир для такой девушки, как она, выросшей в Лионе, дочери вечно занятого врача и больной матери. Если бы не появился вдруг маркиз, она бы вышла за молодого доктора, помощника своего отца, и была бы обречена на такую же монотонную жизнь в Лионе.

Романтический брак, ничего не скажешь. Конечно же, его родня отнеслась поначалу к этому событию неодобрительно. Однако Господин Маркиз, человек немолодой и sérieux¹⁰ – ему было уже за сорок, – знал, чего хочет. А она была красавица, так что и рассуждать было не о чем. Они поженились. У них родились две дочери. Они были счастливы. И все-таки иногда... Маркиза поднялась с кресла и, пройдя в спальню, села перед зеркалом и вынула шпильки из волос. Даже это усилие ее утомило. Она сбросила капот и осталась безо всего. Иногда она ловила себя на мысли, что жалеет об этой однообразной жизни в Лионе. Вспоминала, как они смеялись и шутили с подругами, как хихикали тайком, когда случайный прохожий на улице бросал в их сторону взгляд, вспоминала, как писали записочки и шептались в спальне, когда подруги приходили в гости пить чай.

А теперь она – Госпожа Маркиза, и ей не с кем ни посмеяться, ни поговорить по душам. Все ее окружение составляют скучные немолодые люди, накрепко привязанные к прошлой, давно прожитой жизни, которая никогда не меняется. Эти бесконечные визиты в их шато родственников Эдуара. Мать, сестры, братья, их жены. Зимой в Париже – то же самое. Ни одного

⁷ Мать (фр.).

⁸ Вы понимаете, Господин Маркиз – человек весьма серьезный (фр.).

⁹ Госпожа Маркиза (фр.).

¹⁰ Серьезный (фр.).

нового лица, никогда не появится незнакомый человек. Раз только было интересно, когда пришел, кажется к обеду, кто-то из деловых знакомых Эдуара. Пораженный ее красотой, когда она вошла в гостиную, он бросил на нее дерзкий восхищенный взгляд и, поклонившись, поцеловал ей руку.

Глядя на него во время обеда, она рисовала в своем воображении тайные встречи с этим человеком, как она едет в такси к нему, в его квартиру, входит в тесный, темный ascenseur¹¹, звонит и попадает в чужую незнакомую комнату. Однако по окончании обеда гость откланялся и отправился по своим делам. Потом, после его ухода, она вспомнила, что он далеко не красавец, что даже зубы у него не свои, а вставные. Но этот восхищенный взгляд, мгновенно отверженный, – вот чего ей не хватало.

Сейчас она причесывалась, сидя перед зеркалом. Сделав пробор сбоку, внимательно смотрела, как это будет выглядеть. Нужно просто повязать ленту в тон лаку на ногтях, она будет отлично гармонировать с золотом волос. Да, да... А потом белое платье и тот шифоновый шарф, небрежно накинутый на плечи, так что когда она выйдет на террасу вместе с детьми и гувернанткой и maître d'hôtel с поклонами поведет их к столику под пестрым полосатым зонтиком, люди станут шептаться между собой, следить восхищенным взглядом, как она, нарочно, нагнется к одной из дочерей и ласковым материнским жестом оправит локоны на детской головке, – очаровательная картинка, полная изящества и грации.

Однако сейчас, когда она сидела перед зеркалом, в нем отражалось только ее обнаженное тело и капризный печальный рот. У других женщин бывают любовники. Рассказанные шепотом скандальные истории доходили до ее ушей даже во время тех бесконечно утомительных обедов, когда на другом конце стола сидел Эдуар. Скандалы случались не только среди блестящего общества нуворишей – знаясь с ними ей не дозволялось, – но и в том узком кружке старой noblesse¹², к которому она теперь принадлежала. «Вы знаете, говорят, что...» – а потом шептали друг другу на ухо, удивленно поднимали брови, пожимали плечами.

Иногда какая-нибудь гостья уходила после чая, не дожидаясь шести часов, извинившись и объяснив, что ей нужно побывать еще в одном месте, и маркиза, выражая в свою очередь сожаление и прощаясь с гостьей, спрашивала себя: а может быть, она спешит на свиданье? Может, через двадцать минут, а то и раньше эта смуглая маленькая графиня – ничего в ней нет особенного, – дрожа и тайно улыбаясь, будет сбрасывать с себя одежды?

Даже у Элизы, ее подруги по Лионскому лицу, которая уже шесть лет была замужем, был любовник. В своих письмах она никогда не упоминала его имени. Всегда называла его mon ami¹³. Между тем они встречались два раза в неделю, в понедельник и в четверг. У него был автомобиль, и они отправлялись за город, даже зимой. И Элиза писала своей подруге: «Воображаю, какой плебейской кажется тебе моя интрижка. У тебя-то, наверное, толпы любовников. Какие, должно быть, интересные истории! Расскажи мне о Париже, о балах, на которых ты бываешь. Кто твой избранник в нынешнем сезоне?» Ответные письма маркизы были полны намеков и многозначительных умолчаний. В ответ на некоторые вопросы она отделялась шуткой и углублялась в описание платья, в котором была на последнем приеме. Однако ничего не писала о том, что это был официальный, невероятно скучный прием, который кончился уже к полуночи. Не писала она и о том, что Париж она знает лишь постольку, поскольку видит его из окна автомобиля на прогулке с детьми или по дороге к couturier¹⁴, когда едет примерять очередное платье, или к coiffeur¹⁵, чтобы попробовать новую прическу. Что касается жизни в

¹¹ Лифт (фр.).

¹² Аристократия (фр.).

¹³ Мой друг (фр.).

¹⁴ Портной (фр.).

¹⁵ Парикмахер (фр.).

имении, то она описывала комнаты, да, да, и многочисленных гостей, длинные тенистые аллеи парка, бесконечные гектары леса и ни слова не писала о затяжных дождях по весне или о том, как тяжело переносится летний зной, когда кажется, что все вокруг – леса и долины – окутано саваном молчания. «Ah! Pardon, je croyais que madame était sortie...»¹⁶

Он вошел в комнату без стука, этот *valet de chambre*, держа в руках свою метелку, и тут же скромно ретировался, успев, однако, увидеть, как она сидит перед зеркалом совершенно нагая. Конечно же, он знал, что она никуда не выходила, ведь буквально минуту назад он видел ее на балконе. А что за выражение мелькнуло у него в глазах, прежде чем он выскочил из комнаты? Неужели в его восхищенном взгляде сквозила жалость? Словно он хотел сказать: «Такая красавица и совсем одна? У нас в отеле не часто такое встретишь, сюда приезжают, чтобы приятно провести время».

Боже мой, какая жара! Даже от моря никакой прохлады. Капельки пота собрались под мышками, струйками побежали по бокам.

Лениво, неспешно она оделась, надела прохладное белое платье и вышла на балкон; дернув за шнурок, откинула тент над балконом и стояла так, под лучами знойного полуденного солнца. Яркими пятнами выделялись подкрашенные губы, ногти на руках и на ногах и шарф, накинутый на плечи. Темные очки придавали особую глубину всему, на что падал глаз. Море, нежно-голубое, если смотреть без очков, приобретало лиловый оттенок, а белый песок становился зеленовато-коричневым. Яркие, кричащие цветы в кадках напоминали о тропиках. Маркиза оперлась о перила, и нагретое дерево обожгло ей руки. Снова донесся запах дыма от сигары неизвестного курильщика. Внизу на террасе звякнула рюмка, официант принес кому-то аперитив. Заговорила женщина, ей ответил мужской голос, потом оба засмеялись.

Эльзасская овчарка, высунув язык, с которого капала слюна, побрела через террасу к стенке, в поисках прохладного местечка. Группа молодых людей прибежала с пляжа – на их бронзовых обнаженных спинах все еще блестели капельки теплой морской воды; официанту крикнули, чтобы он принес мартини. Американцы, конечно. Полотенца они побросали на стулья. Один из них свистнул собаке, однако та не пошевелилась. Маркиза смотрела на них с презрением, к которому, однако, примешивалась зависть. Они были свободны, могли приехать и уехать, сесть в машину и двинуться дальше, в какое-нибудь другое место. Вся их жизнь – бурное, бездумное веселье, и ничего больше. Они всегда в компании, человек шесть – восемь. Конечно же, разбиваются на пары, сидят рядом друг с дружкой, обнимаются. Однако в их веселье – именно это казалось маркизе достойным презренья – не было ничего таинственного. Не было в их жизни, открытой для всех, этих минут, полных тревожной неизвестности. Никому из них не приходилось ждать, замирая от страха, у полузатворенной двери.

Прелесть любви совсем не в этом, подумала маркиза и, сорвав розу со шпалеры на балконе, приколола ее к вырезу платья. Любовное приключение должно быть безгласным, исполненным нежности и невысказанных признаний. В нем не должны звучать грубые слова или незапный смех, в нем должно быть робкое любопытство, смешанное со страхом, а когда исчезнет страх, приходит полное доверие, в котором нет места стыду. Любовь – это не доброе согласие друзей, это страсть, которая вспыхивает внезапно, охватывая двух чужих друг другу людей.

Один за другим обитатели отеля возвращались с пляжа. Столики начинали заполняться. Знойная терраса, пустовавшая все утро, снова ожила. Гости, приехавшие в автомобилях для того, чтобы пообедать, смешались с привычными лицами постоянных обитателей. Компания из шести человек в правом углу. Внизу еще трое. И вот уже общее движение, разговоры, звон бокалов, стук расставляемой посуды, так что плеск волн – доминирующий звук раннего утра – как бы отодвинулся на второй план, слышался как бы издали. Начинался отлив, море отступало, оставляя на песке журчащие ручейки.

¹⁶ Ах! Простите, я думал, что мадам вышла... (фр.)

Внизу показались ее дети со своей гувернанткой мисс Клей. Охорашиваясь, словно маленькие птички, они шли по каменным плитам веранды, а мисс Клей, одетая в простое полосатое платье, с непричесанными, развившимися после купания волосами, следовала за ними. Они посмотрели вверх на балкон и стали приветственно махать руками.

– Мaman... Мaman...

Она облокотилась на перила, улыбаясь детям, и вот, как всегда, возник легкий гул голосов, привлекая всеобщее внимание. Кто-то взглянул вверх вслед за девочками, господин за столиком слева улыбнулся, засмеялся, показал соседу, и поднялась первая волна восхищения, которая вернется снова, выше и полнее, когда она спустится вниз, красавица-маркиза и ее ангелочки-дети, шепот, доносившийся до нее, как дымок от сигареты, как обрывки разговора людей, сидящих за столиками на террасе. Вот все, что сулит ей обед на террасе отеля сегодня, завтра, и так день за днем. Шепот восхищения, почтительные взгляды, а потом забвение. Все после обеда отправятся по своим делам – на пляж, играть в теннис или гольф, кто-то поедет кататься, а она останется одна, прелестная и безмятежная, в обществе детей и гувернантки.

– Посмотрите, татап, что я нашла в песке. Это морская звезда. Я возьму ее с собой, когда мы будем уезжать.

– Нет, так нечестно, это я нашла, я первая увидела, значит она моя.

Девочки ссорились между собой, личики у них покраснели.

– Элен, Селеста, перестаньте, у меня голова болит от вашего шума.

– Мадам устала? Надо отдохнуть после обеда, и станет легче. Сейчас такая жара. – Мисс Клей унимала детей. – Все устали, всем нужно отдохнуть, – сочувственно говорила она.

Отдохнуть... Но ведь я только и делаю, что отдыхаю, думала маркиза. Вся моя жизнь – один сплошной отдых. «Il faut reposer. Repose-toi, ma chérie, tu as mauvaise mine»¹⁷.

И зимой и летом она постоянно слышала эти слова. От мужа, от гувернантки, от золовок, от всех этих скучных старух, бывавших в доме. Прилечь отдохнуть, встать, снова прилечь – вся жизнь проходит в чередовании этих нескончаемых «отдыхов». Она была бледна, сдержанна в проявлении чувств, и поэтому считалось, что у нее хрупкое здоровье.

Подумать только, сколько часов своей замужней жизни она провела, отдыхая в раскрытой постели, с задернутыми шторами, в их доме в Париже или в деревне, в шато. От двух до четырех – обязательный отдых.

– Я ничуть не устала, – сказала она мисс Клей, и в голосе ее, обычно таком мягком и мелодичном, вдруг появились резкие раздраженные нотки. – После обеда я хочу погулять. Схожу в город.

Дети смотрели на нее, широко раскрыв глаза, а мисс Клей, похожая на испуганную козу, так изумилась, что осмелилась возразить:

– Вы убьете себя, если выйдете в такую жару. К тому же магазины от часа до трех закрыты. Почему бы вам не пойти после чая? Гораздо благоразумнее подождать. Вы могли бы взять с собой детей, а я бы в это время погладила.

Маркиза ничего не ответила. Она встала из-за стола. Дети замешкались за обедом – Селеста всегда медленно ела, и терраса почти опустела. Некому будет смотреть на то, как они поднимаются наверх, к себе в номер.

Маркиза прошла в свою комнату, еще раз провела пуховкой по лицу, подкрасила губы и чуть-чуть надушилась. Из соседней комнаты доносились голоса детей, мисс Клей укладывала их спать и закрывала ставни. Маркиза взяла сумочку из плетеной соломки, положила туда фотопленку и еще кое-какие мелочи и, пройдя на цыпочках мимо комнаты дочерей, спустилась вниз и вышла с территории отеля на пыльную дорогу.

¹⁷ Надо отдохнуть. Приляг, дорогая, ты неважно выглядишь (фр.).

В ту же минуту в ее сандалии набились мелкие камушки, солнце немилосердно пекло голову, и ее эскапада, которая под влиянием минуты казалась увлекательной и необычной, представлялась теперь глупой и бессмысленной. Дорога была пустынна, на пляже – ни души, постояльцы отеля, в том числе ее собственные дети и мисс Клей, которые утром купались, играли или гуляли, в то время как она празднично сидела на балконе, теперь отдыхали. Только одна маркиза шагала в город по раскаленной дороге.

К тому же все получилось именно так, как предсказывала мисс Клей. Все магазины были закрыты, жалюзи спущены, час сиесты, священный и нерушимый, властвовал над всем городком и его обитателями.

Маркиза шла по улице, размахивая своей соломенной сумочкой, – все, кроме нее, было неподвижно в этом сонном зевающем мире. Даже кафе на углу было пусто, и возле дверей, уткнув морду в вытянутые лапы, лежала собака желтовато-серой масти; ее одолевали мухи, и время от времени, не открывая глаз, она пыталась схватить особенно назойливую из них. Мухи были повсюду. Они жужжали в витрине *pharmacie*¹⁸, где темные бутылки с таинственными снадобьями стояли бок о бок с баночками крема, губками и косметикой. Мухи кружились и за стеклами другой лавки, где были выставлены зонты, детские лопатки, розовые куклы и туфли на веревочной подошве. Ползали по запачканной кровью колоде в лавке мясника за железными ставнями. Из комнат над лавкой доносились резкие раздражающие звуки радио, его вдруг выключили, и кто-то облегченно вздохнул, потому что ему хотелось спать, а радио мешало. Даже *bureau de poste*¹⁹ было закрыто. Маркизе нужно было купить марок, но она так и не смогла туда достучаться.

Она чувствовала, как у нее по телу течет пот, ноги в тонких сандалиях отчаянно болели, хотя прошла она совсем немного. Солнце палило немилосердно, и, когда она смотрела на пустынную улицу, на дома и лавки, в которые ей не было доступа, где все было погружено в блаженный покой сиесты, ей безумно захотелось очутиться где-нибудь в прохладном месте – все равно где, лишь бы не было жарко и не слепило солнце, в каком-нибудь подвале например, где из крана капает вода. Капли, падающие на каменный пол, – этот звук успокоил бы ее нервы, истерзанные зноем.

Измученная, чуть не плача, она свернула в проулочек между двумя лавками. Перед ней оказались ступеньки, ведущие вниз, в защищенный от солнца дворик, и она постояла там, касаясь рукой твердой прохладной стены. Рядом было окно, прикрытое ставней. Маркиза прислонилась к этой ставне, и вдруг, к ее великому смущению, ставня приоткрылась и там внутри, в темной комнате, показалось человеческое лицо.

– *Je regrette...*²⁰ – проговорила она, вдруг осознав всю неловкость ситуации: как могла она оказаться в таком положении? Словно она подсматривала, словно непрошено вторглась в эту нищую жизнь на задах убогой лавчонки. И вдруг ее голос дрогнул, и она осеклась самым глупым образом, ибо у человека, смотревшего на нее из открытого окна, было такое необычное, такое кроткое лицо, лик святого, сошедшего с витража старинного собора. Облако темных выющихся волос обрамляло лицо этого незнакомца. У него был небольшой прямой нос, хорошо очерченный рот и глаза, нежные серьезные карие глаза, такие бывают у газели.

– *Vous désirez, Madame la Marquise?*²¹ – спросил он в ответ на ее попытку извиниться.

Он меня знает, с удивлением подумала она, он меня где-то видел; однако и это было не так удивительно, как его голос, не грубый и резкий, как можно было бы ожидать от человека из

¹⁸ Аптека (*фр.*).

¹⁹ Почтовое отделение (*фр.*).

²⁰ Мне очень жаль... (*фр.*)

²¹ Что угодно Госпоже Маркизе? (*фр.*)

подвала какой-то жалкой лавчонки, это был голос человека воспитанного, мягкий и льющийся, голос под стать глазам газели.

– Там, на улице, так жарко, – проговорила она, – магазины все закрыты, а я почувствовала себя дурно и спустилась сюда, вниз. Прошу извинить меня, ведь здесь, наверное, частное владение?

Лицо в окне исчезло. Человек открыл какую-то невидимую ей дверь, и тут же появился стул, и она уже сидела в комнате возле этой двери, там было тихо и прохладно, совсем как в том подвале, который она рисовала в своем воображении, и он протягивал ей воду в кружке.

– Благодарю вас, – сказала она, – большое спасибо.

Подняв глаза, она увидела, что он стоит перед ней с кувшином в руке, смотрит на нее с благоговейной робостью.

– Не могу ли я еще что-нибудь для вас сделать, Госпожа Маркиза?

Она отрицательно покачала головой, однако в глубине души у нее шевельнулось хорошо знакомое чувство, тайная радость, которую приносит восхищение, и, вспомнив о себе впервые после того, как он открыл окно, слегка поправила шарф на плечах, так, чтобы обратить на себя его внимание, и тут же отметила, что прекрасные глаза газели остановились на розе, приколотой к корсажу ее платья.

– Откуда вы знаете, кто я? – спросила она.

– Вы заходили к нам в магазин три дня тому назад. С вами были ваши дети. Вы купили пленку для своего аппарата.

Она смотрела на него в недоумении. Припомнила, что действительно покупала пленку в маленьком магазинчике, где в витрине были выставлены аппараты фирмы «Кодак», вспомнила и то, что за прилавком стояла некрасивая хромая женщина. Она так безобразно и смешно хромала, что маркиза опасалась, как бы дети не рассмеялись, да и у нее самой это зрелище могло вызвать нервный смех, что было бы жестоко по отношению к калеке. Поэтому она наспех купила какие-то мелочи, велела доставить их в отель и ушла из магазина.

– Вас обслуживала моя сестра, – пояснил он. – А я видел вас из комнаты. Сам я редко стою за прилавком. Я фотографирую людей, делаю пейзажные снимки, а потом они продаются, их покупают люди, приезжающие сюда летом.

– Вот как? – сказала она. – Понимаю.

Она снова пила из глиняной кружки и снова впивала восхищение, льющееся из его глаз.

– Я принесла проявить пленку, – сказала маркиза. – Она у меня в сумочке. Вы можете это сделать для меня?

– Конечно, Госпожа Маркиза, – живо отозвался он. – Я могу сделать для вас все, что угодно, все, что вы только попросите. С того самого дня, как вы вошли к нам в магазин, я...

Тут он замолчал, лицо его залилось краской, и он отвернулся в глубоком смущении.

Маркиза едва не рассмеялась. Как нелепо его восхищение. И забавно, однако... оно давало ей ощущение власти.

– Итак, что же произошло с тех пор, как я в первый раз вошла в ваш магазин? – спросила маркиза.

Он снова посмотрел на нее.

– Я не мог думать ни о чем другом, решительно ни о чем, – ответил он. В его словах чувствовалась такая страсть, такая сила, что маркизе стало страшновато.

Она улыбнулась, возвращая ему кружку с водой.

– Я самая обыкновенная женщина, – сказала она. – Если вы узнаете меня получше, вы будете разочарованы.

Как странно, думала она про себя, чувствовать себя до такой степени хозяйкой положения. Я нисколько не возмущена и не шокирована. Сажу здесь, в подвале, и спокойно беседую

с фотографом, который только что объяснился мне в любви. Все это очень забавно, только вот он, бедняжка, так серьезен, так искренне верит тому, что говорит.

– Так как же, – спросила она, – вы проявите мою пленку?

Казалось, он не мог отвести глаз от ее лица, и она, несколько не стесняясь, тоже смотрела прямо в глаза, словно в состязании: кто кого переглядит, так что он не выдержал – отвернулся и снова покраснел.

– Если вы вернетесь тем же путем, что и вошли, – сказал он, – я открою для вас магазин.

Теперь она, в свою очередь, позволила себе его рассмотреть: расстегнутая жилетка, надетая на голое тело, обнаженные руки и шея, шапка курчавых волос.

– А почему вы не можете взять пленку сейчас? – спросила она.

– Так не принято, Госпожа Маркиза, – пояснил фотограф.

Она рассмеялась и пошла вверх по лестнице, снова оказавшись на раскаленной зноем улице. Стоя на тротуаре, она услышала, как повернулся ключ в замке и открылась внутренняя дверь. Постояв некоторое время у входа, чтобы заставить его подождать, она вошла в магазин, где было жарко и душно, совсем не так, как в тихом и прохладном подвальчике внизу.

Теперь он стоял за прилавком, и она с огорчением увидела, что он оделся: надел дешевый серый пиджак, который можно увидеть на любом приказчике, и грубую рубашку пронзительно-голубого цвета.

Все в нем было обыкновенно: приказчик, протянувший через прилавок руку, чтобы взять пленку.

– Когда будет готово? – спросила она.

– Завтра, – ответил фотограф и снова посмотрел на маркизу. Его карие глаза, светящиеся немою мольбой, заставили ее забыть простецкий пиджак и грубую рубашку, под ними она снова увидела распахнутую жилетку и обнаженные руки.

– Если вы фотограф, – сказала маркиза, – почему бы вам не прийти как-нибудь в отель? Снимите меня и моих детей.

– Вы хотите, чтобы я это сделал? – спросил он.

– А почему бы нет?

Какой-то тайный блеск мелькнул на секунду в его глазах и тут же исчез, он нагнулся над прилавком, делая вид, что ищет бечевку. Как он волнуется, думала она, улыбаясь про себя, у него даже руки дрожат; однако и ее собственное сердце забилося чуть быстрее обычного.

– Хорошо, Госпожа Маркиза, – сказал он, – я приду в отель, в любое время, когда вам будет угодно.

– Лучше всего, наверное, утром, – сказала она. – Часов около одиннадцати.

Она спокойно повернулась и вышла из магазина, даже не сказав ему «до свидания». Перешла через улицу и, взглянув ненароком на какую-то витрину, увидела в стекле, что он подошел к дверям своего магазина и смотрит ей вслед. Он опять был без пиджака и рубашки. Магазин снова закрывается, сиеста еще не кончилась. И тут она впервые заметила, что он тоже калека, так же как и его сестра. На правой ноге он носил высокий ортопедический ботинок. Однако, как ни странно, вид этого ботинка не вызвал у нее ни отвращения, ни желания рассмеяться, как это случилось раньше, когда она увидела его сестру. Его уродство имело какую-то притягательную силу, своеобразное очарование, неведомое и странное.

Маркиза пошла по пыльной и жаркой дороге к себе в отель.

В одиннадцать часов на следующее утро консьерж отеля прислал сказать, что мсье Поль, фотограф, находится внизу, в холле, и ожидает распоряжения Госпожи Маркизы. Ему было велено передать, что Госпоже Маркизе угодно, чтобы мсье Поль поднялся вверх, в ее апартаменты. Через некоторое время она услышала стук в дверь, робкий и нерешительный.

– Entrez²², – крикнула маркиза. Она стояла на балконе между своими дочерьми, обнимая их за плечи, – готовая живая картина, которой ему предлагали полюбоваться.

Сегодня на ней было платье из чесучи цвета шартрез, и причесана она была не так, как вчера, с лентой в волосах, как у маленькой девочки; волосы были разделены на прямой пробор и забраны назад, оставляя открытыми уши с золотыми клипсами.

Он остановился в дверях на пороге, стоял и не шевелился. Дети робко и удивленно смотрели на его высокий ботинок, однако не сказали ни слова. Мать предупредила их, что о таких вещах говорить не принято.

– Вот мои крошки, – сказала маркиза. – А теперь вы должны нам сказать, где и как нам поместиться.

Девочки не сделали своего обычного книксена, обязательного приветствия, когда приходили гости. Мать сказала им, что в этом нет необходимости. Мсье Поль – просто фотограф, у него ателье в соседнем городке.

– Если позволите, Госпожа Маркиза, – сказал он, – один снимок мы сделаем прямо так, вот как вы сейчас стоите. Прелестная поза, живая и непринужденная – воплощенное изящество.

– Ну конечно, пожалуйста. Стой смирно, Элен.

– Прошу прощения, мне понадобится несколько минут, чтобы наладить аппарат.

Его смущение прошло. Сейчас он работал, делал свое привычное дело. Наблюдая за тем, как он устанавливает штатив, набрасывает черное бархатное покрывало, укрепляет аппарат, она обратила внимание на его руки, ловкие и умелые; эти руки не могли принадлежать ремесленнику или лавочнику, это были руки артиста.

Ее взгляд остановился на ботинке. У мсье Поля хромота была не так резко выражена, как у сестры, которая ходила сильно припадая на одну ногу и подскакивая – нелепые судорожные движения, вызывающие мучительное желание рассмеяться. Он же двигался медленно, скорее подтягивая свою хромотую ногу, и его уродство вызывало у маркизы сочувствие. Как, должно быть, невыносимо больно ему ходить, как жжет и натирает ногу этот ужасный сапог, особенно в жаркую погоду.

– Готово, Госпожа Маркиза, – сказал он, и маркиза виновато отвела глаза от ботинка и снова встала в позу, очаровательно улыбаясь и обнимая за плечи детей.

– Да, да, именно то, что нужно, – сказал он. – Прелестно!

Его выразительные карие глаза неотрывно смотрели на нее, голос у него был мягкий и приятный, и маркизу вновь охватило ощущение радости и довольства, которые она испытала накануне, у него в ателье. Он нажал грушу затвора, раздался легкий щелчок.

– Еще раз, пожалуйста, – сказал он.

Она оставалась в том же положении, с улыбкой на губах, и знала, что на этот раз он не спешит нажать грушу не потому, что в этом есть необходимость, не потому, что она или дети недостаточно спокойны, просто ему приятно на нее смотреть.

– Ну, все, – сказала она и, разрушив позу и тем самым нарушив очарование, вышла на балкон, мурлыкая песенку.

Через полчаса дети устали, начали капризничать.

– Здесь слишком жарко, – сказала маркиза, – вы должны их извинить. Элен, Селеста, возьмите игрушки и поиграйте там, в уголке на балконе.

Девочки, весело болтая, побежали в свою комнату. Маркиза повернулась спиной к фотографу, который снова заряжал аппарат.

²² Войдите (фр.).

– Вы знаете, как трудно с детьми, – сказала она. – Сначала им интересно, а потом, через несколько минут, уже надоедает, и они хотят чего-то нового. Вы были очень терпеливы, мсье Поль.

Она сорвала розу, растущую на балконе, и, держа ее в ладонях, прижалась к ней губами.

– У меня к вам просьба, – умоляюще произнес фотограф. – Если вы позволите... я, право, не смею вас просить...

– В чем дело? – спросила она.

– Нельзя ли мне сделать один-два снимка... Я бы хотел сфотографировать вас одну, без детей.

Она рассмеялась и бросила розу вниз, на террасу.

– Ну конечно, – сказала она. – Я в вашем распоряжении. У меня сейчас нет других дел.

Она присела на край шезлонга и, откинувшись на мягкую спинку, положила голову на вытянутую руку.

– Так? – спросила она.

Он нырнул под свое бархатное покрывало, а потом, проделав какие-то манипуляции с наводкой и видоискателем, подошел, хромя, к тому месту, где она сидела.

– Если вы позволите, – сказал он, – руку нужно чуточку приподнять, вот так... а голову повернуть.

Он взял ее руку и придал ей желаемое положение, а потом, очень осторожно и нерешительно коснувшись подбородка, слегка приподнял ей голову. Маркиза закрыла глаза. Его рука оставалась все на том же месте. Большой палец легко, почти неощутимо, скользнул вдоль длинной линии шеи, остальные пальцы повторили его движение. Ощущение было почти неуловимое, словно это птица коснулась ее шеи краешком своего крыла.

– Вот так, – сказал он. – Само совершенство.

Она открыла глаза. Фотограф, хромя, шел назад, к своему аппарату.

Маркиза в отличие от детей совсем не устала. Она разрешила мсье Полю сделать еще один снимок, потом еще и еще. Дети вернулись и, как им было сказано, играли в дальнем конце балкона, и их болтовня служила прекрасным фоном процессу фотографирования. Фотограф и маркиза оба улыбались, слушая эти детские разговоры, так что между ними возникла некая интимность, объединяющая взрослых в присутствии детей, и атмосфера стала менее напряженной.

Он стал смелее, увереннее в себе. Предлагал различные позы, она ему подчинялась, раз или два она села неудачно, и он указал ей на это.

– Нет, нет, Госпожа Маркиза, – это не годится, надо вот так.

Он подходил к креслу, становился возле нее на колени, менял положение ее ноги или поворот плеч, и с каждым разом его прикосновения становились более отчетливыми, более уверенными. Однако, когда их взгляды встречались и она смотрела ему прямо в глаза, он отворачивался робко и застенчиво, словно стыдясь того, что делает, словно его кроткий взгляд, зеркало его души, отрекался от того, что делали руки. Она догадывалась, какая борьба в нем происходит, и это доставляло ей удовольствие.

Наконец, после того как он во второй раз расположил по своему вкусу складки ее платья, она заметила, что он бледен как полотно и на лбу выступили капельки пота.

– Какая жара, – проговорила она. – Может быть, уже довольно?

– Как вам угодно, Госпожа Маркиза, – ответил он. – Нынче действительно очень тепло. Я думаю, на сегодня можно закончить.

Маркиза поднялась со своего кресла, спокойная и невозмутимая. Она несколько не устала и не испытывала ни малейшего беспокойства. Напротив, все ее существо было исполнено какой-то новой силы и бодрости. Как только он уйдет, она спустится к морю и выкупается. С фотографом дело обстояло иначе. Она видела, как он вытирает пот со лба, какой у

него измученный вид, с каким трудом он волочит свою хроющую ногу, складывая и убирая в чемоданчик штатив и прочие принадлежности.

Она сделала вид, что рассматривает карточки, которые он отпечатал с ее пленки.

– Очень неважно получилось, – заметила она небрежным тоном. – Я, наверное, не умею обращаться с аппаратом. Мне следует взять у вас несколько уроков.

– Вам просто не хватает практики, Госпожа Маркиза, – сказал он. – Когда я начинал, у меня был примерно такой же аппарат, как у вас. Даже и сейчас, когда я работаю на натуре, я пользуюсь маленьким аппаратом, и результат получается ничуть не хуже, чем при работе с этим, большим.

Она положила снимки на стол. Он собирался уходить. Чемоданчик он держал в руке.

– У вас, наверное, очень много работы во время сезона, – сказала она. – Как вы находите время на натурные съемки?

– Как-то выкраиваю, Госпожа Маркиза. Это значительно интереснее, чем работать в студии, делать портреты. Очень редко случается, что портретные съемки приносят настоящее удовлетворение. Такое, как, например, сегодня.

Маркиза взглянула на него и снова прочла в его глазах покорную преданность. Она продолжала смотреть до тех пор, пока он не отвернулся в полном смущении.

– Здесь очень красивая местность, – сказал он. – Вы, наверное, обратили внимание, когда гуляли около моря. Я почти каждый день беру маленький аппарат и взбираюсь на скалы – знаете, тот большой мыс, что выступает в море справа от пляжа? – Он подошел к перилам и показал. Посмотрев в указанном направлении, маркиза увидела зеленый мыс, смутно мерцающий в раскаленном воздухе.

– Вчера вы чисто случайно застали меня дома, – сказал он. – Я печатал в подвале фотографии для заказчиков, которые сегодня уезжают. Обычно в это время я брожу где-нибудь среди скал.

– Но ведь там, должно быть, очень жарко, – сказала она.

– Это верно, однако над морем всегда дует ветерок. Но самое приятное, что от часа до четырех там почти никого нет. Все отдыхают – сиеста. И вся эта красота принадлежит мне одному.

– Да, – сказала маркиза, – я понимаю.

С минуту оба молчали. Как будто бы без всяких слов они сказали друг другу что-то важное. Маркиза вертела в руках шифоновый носовой платочек, потом небрежным ленивым движением повязала его вокруг кисти.

– Мне как-нибудь тоже надо будет попробовать, – сказала она наконец. – Прогуляться по дневной жаре.

На балконе появилась мисс Клей, она пришла звать детей умываться перед обедом. Фотограф, извинившись, почтительно посторонился. Маркиза взглянула на часы и обнаружила, что уже полдень, столики внизу, на террасе, заполняются: там царит обычная предобеденная суэта, слышатся разговоры, стук тарелок, звон рюмок, а она всего этого даже не заметила.

Она отвернулась от фотографа, давая понять, что он может идти; теперь, когда сеанс фотографирования окончился и мисс Клей пришла за детьми, она держалась подчеркнуто холодно и неприступно.

– Благодарю вас, – сказала она. – Я как-нибудь загляну в ателье посмотреть пробные снимки. До свиданья.

Он поклонился и вышел – наемный слуга, исполнивший то, что ему было приказано.

– Надеюсь, фотографии окажутся удачными, – сказала мисс Клей. – Господину Маркизу будет приятно увидеть результат.

Маркиза ничего не ответила. Она снимала золотые клипсы, которые почему-то больше не подходили к ее настроению. Она спустится вниз к обеду без всяких украшений, даже без колец; сегодня, считала она, вполне достаточно ее собственной красоты.

Прошло три дня, и маркиза ни разу не ходила в город. В первый день она купалась, а вечером смотрела, как играют в теннис. Второй день провела с дочерьми, предоставив мисс Клей возможность принять участие в автобусной экскурсии: осматривали старинные, обнесенные стенами города, расположенные дальше от побережья. На третий день она послала мисс Клей вместе с девочками за пробными снимками. Они принесли целую пачку фотографий, аккуратно завернутых в бумагу. Маркиза просмотрела карточки. Они действительно были очень хороши, а ее собственные портреты просто великолепны, ничего подобного она никогда не видела.

Мисс Клей была в полном восторге. Она попросила подарить ей некоторые карточки, чтобы она могла послать их своим родным.

– Никто не поверит, что какой-то жалкий курортный фотограф мог сделать такие отличные фотографии, – сказала она. – А ведь сколько приходится платить настоящему фотографу в Париже!

– Да, недурно, – зевая, сказала маркиза. – Он действительно постарался. А мои фотографии получились лучше, чем детские.

Она снова завернула карточки и сунула их в ящик стола.

– А как мсье Поль, доволен тем, что у него получилось? – спросила она у гувернантки.

– Он ничего не сказал, – ответила мисс Клей. – По-моему, он был разочарован тем, что не вы сами пришли за фотографиями, сказал, что все было готово еще вчера. Спросил, здоровы ли вы, и девочки рассказали ему, что вы ходили купаться. Они разговаривали с ним, как со старым приятелем.

– Слишком жарко в городе, да и пыльно, – сказала маркиза.

На следующий день, когда дети и мисс Клей отдыхали и весь отель, казалось, погрузился в сон под знойными лучами солнца, маркиза переделась в легкое платье без рукавов, гладкое и очень простое, захватила свой простенький фотоаппарат и тихонько, чтобы не потревожить детей, спустилась вниз. Она прошла через сад, спускавшийся к песчаному берегу, и свернула на узкую тропинку, которая шла наверх, к заросшему травой склону. Солнце пекло немилосердно, однако это ее не смущало. Здесь на мягкой пружинистой траве не было пыли, а дальше, вдоль края скалы, густо рос папоротник, который приятно щекотал голые ноги.

Узкая тропинка петляла в зарослях, приближаясь порой так близко к краю, что неверный, неосторожный шаг грозил серьезной опасностью. Но маркиза шла не торопясь, своей ленивой плавной походкой, и не чувствовала ни страха, ни усталости. Она просто шла к своей цели, к тому месту, откуда открывался вид на большую скалу, выступающую в море в центре береговой дуги залива. Она была совершенно одна в этой части побережья – ни души вокруг. Далеко внизу у нее за спиной виднелись белые стены отеля и ряды купальных кабинок на пляже, похожих на кубики, которыми играют дети. Море было спокойное и абсолютно гладкое. Даже там, где вода касалась прибрежных скал, не было ни единой морщинки.

Вдруг она заметила, как впереди, в папоротниках, что-то блеснуло. Линза фотоаппарата. Маркиза никак на это не реагировала. Повернувшись спиной, занялась своим собственным аппаратом, стала наводить его на разные точки, делая вид, что снимает. Щелкнула затвором раз, другой и вскоре услышала шелест травы – кто-то шел в ее сторону через папоротники.

Она удивленно обернулась.

– Ах, это вы, мсье Поль, добрый день, – сказала она.

На сей раз на нем не было этого ужасного дешевого пиджака и голубой рубашки. Он был не на работе. В этот час сиесты он был сам по себе, так сказать, инкогнито, и на нем были

только синие брюки и жилетка. Серая фетровая шляпа, которая так огорчила маркизу, когда он приходил в отель, тоже отсутствовала. Густые темные волосы свободно падали на плечи, обрамляя его тонкое, нежное лицо. Глаза засветились таким восторгом, когда он ее увидел, что маркизе пришлось отвернуться, чтобы скрыть улыбку.

– Я, как видите, воспользовалась вашим советом, – сказала она, – и пришла сюда, чтобы полюбоваться видом. Однако мне кажется, что я не совсем правильно держу аппарат. Покажите мне, как это делается.

Он подошел к ней и, взяв ее руки, державшие аппарат, придал ему нужное положение.

– Ну да, конечно, – сказала она и, смеясь, отодвинулась от него; ей казалось, что, когда он стоял возле нее, направляя ее руки, она слышала, как бьется его сердце, и этот звук вызывал в ней волнение, которое она не хотела показать.

– А вы взяли с собой аппарат? – спросила она.

– Да, Госпожа Маркиза, – ответил фотограф. – Я оставил его в папоротниках вместе с курткой. Там у меня есть любимое местечко, у самого обрыва. Весной я прихожу туда и наблюдаю за птицами. Иногда фотографирую их.

– Покажите мне, – велела она.

Он пошел впереди, пробормотав «пardon», и тропинка, проложенная, вероятно, им самим, привела к уютной полянке, окруженной с трех сторон высоким, по пояс, папоротником; четвертой стороной этого гнездышка служил край обрыва, и оттуда открывался широкий вид на море.

– О, какой прелестный уголок! – воскликнула маркиза, выбираясь сквозь папоротники на поляну. Оглядевшись вокруг, она опустилась на траву изящно и непринужденно, словно это пикник и она, девочка, пришла сюда вместе с другими детьми. Возле аппарата, на куртке, лежала книга, маркиза взяла ее в руки и раскрыла.

– Вы много читаете? – спросила она.

– Да, Госпожа Маркиза. Я очень люблю читать.

Маркиза взглянула на название. Это был сентиментальный роман. Такие романы маркиза и ее подруги тайком носили в своих ранцах в лицее. Ей давно уже не приходилось читать ничего подобного. Положив книгу на место, она снова украдкой улыбнулась.

– Интересный роман? – спросила она.

Он серьезно посмотрел на нее своими большими глазами, похожими на глаза газели.

– Там описываются нежные чувства, Госпожа Маркиза, – ответил он.

Нежные чувства... Как странно он говорит. Маркиза принялась болтать о пробных снимках, о том, какие ей нравятся больше и какие меньше, и все это время ее не покидало ощущение торжества, ибо она была полной хозяйкой положения – совершенно точно знала, что нужно делать, и что говорить, и когда улыбнуться, и когда снова стать серьезной. Это странным образом напоминало ей детство, когда они с подругами наряжались во взрослые платья и шляпки и начинали играть: «Давайте как будто бы мы важные дамы». Сейчас она тоже играла, представляла, только не даму, как в те времена, – а кого же? Она не знала точно, только это было нечто совсем иное, ведь настоящей дамой она была столько лет в своем поместье, среди старинной мебели, за чайным столом в гостиной в обществе важных стариков и старух, от которых пахнет смертью.

Фотограф говорил мало. Он слушал маркизу. Соглашался, кивал головой или просто молчал, а она с удивлением слышала, как льется поток ее собственной речи. Он же был просто манекен, на него можно было не обращать никакого внимания, он был никто, и только для нее самой предназначалось то, что говорила очаровательная, блестящая женщина, в которую она превратилась совершенно неожиданно для себя.

Наконец в этой односторонней беседе наступила пауза, и он робко сказал:

– Могу я осмелиться вас о чем-то попросить?

– Ну конечно.

– Можно я сниму вас здесь, одну, на фоне этого пейзажа?

И только-то? Как он робок, как неподатлив. Она рассмеялась.

– Снимайте сколько хотите, – сказала она. – Здесь так хорошо. Я, может быть, даже вздремну.

– *La belle au bois dormant*²³, – быстро проговорил он, но потом, словно устыдившись своей фамильярности, еще раз пробормотал «пардон» и потянулся за аппаратом, который лежал у него за спиной.

На этот раз он не делал никаких указаний, не просил ее принять позу или переменить положение. Он фотографировал ее так, как она сидела, лениво покусывая стебелек цветка. Теперь двигался он сам, заходя то с одной стороны, то с другой, делая снимки во всех ракурсах – анфас, профиль, три четверти.

Ее клонило в сон. Солнце пекло ее непокрытую голову, вокруг вились стрекозы, золотистые и зеленые, невероятно яркие. Она зевнула и прилегла, откинувшись на ложе из папоротника.

– Позвольте, я положу вам под голову мою куртку, Госпожа Маркиза, – сказал он.

Прежде чем она успела ответить, он взял куртку, аккуратно свернул ее так, что получился небольшой валик, и положил на траву. Она опустила голову, и презренная серая куртка вдруг оказалась мягким и приятным изголовьем.

Он стоял возле нее на коленях, делая что-то с аппаратом – должно быть, вставлял пленку, – а она, позевывая, наблюдала за ним сквозь полузакрытые веки и вдруг обратила внимание, что стоит он фактически на одном колене, откинув вторую, короткую ногу в сторону. Она лениво подумала, что ему, наверное, больно на нее опираться. Ботинок был начищен до яркого блеска. Значительно лучше, чем кожаный туфель на другой ноге, и она представила себе, как он по утрам, одеваясь, старательно начищает его сначала щеткой, а потом, наверное, еще и бархоткой.

На руку ей уселась стрекоза. Тельце насекомого изогнулось, словно в ожидании, крылышки ярко блестели. Чего она ждет? Маркиза дунула, и стрекоза улетела, но тут же вернулась опять, настойчиво кружась над лицом.

Мсье Поль отложил аппарат, но все еще стоял возле нее на коленях. Она ощущала его пристальный взгляд, устремленный на нее, и подумала про себя: если я пошевелюсь, он поднимется с колен, и все будет кончено.

Она продолжала смотреть на стрекозу, на то, как трепещут яркие крылышки, но прекрасно понимала, что еще минута-другая и придется переменить положение, что стрекоза может улететь или молчание сделается слишком напряженным, невыносимым и она нарушит его, и все будет испорчено.

Неохотно, против своей воли, она обернулась к фотографу и увидела его огромные глаза, робкие и полные нежности, глядящие на нее с покорностью раба.

– Почему вы меня не поцелуете? – спросила она и вдруг сама испугалась своих слов, словно они разбудили в ней какое-то страшное предчувствие.

Он не ответил. Он не шевельнулся. Он продолжал на нее смотреть. Она закрыла глаза, и стрекоза улетела с ее руки.

Когда фотограф наконец склонился над ней, это было совсем не то, чего она ожидала. Она думала, что он схватит ее и начнет душить в своих объятиях, но ничего подобного не случилось. Было такое впечатление, что снова вернулась стрекоза и гладит, щекочет своими крылышками ее нежную кожу.

²³ Красавица в заколдованном лесу (*фр.*).

Он ушел, проявив при этом необычайный такт и деликатность. Просто исчез, оставив ее наедине с самой собой, так что не было никакой неловкости, смущения или принужденного молчания.

Маркиза лежала на траве, прикрыв рукой глаза и размышляя о том, что с ней произошло, и не испытывала ни малейшего стыда. Мысль ее работала четко и совершенно спокойно. Она обдумывала, как будет возвращаться в отель, не сразу, а через некоторое время, чтобы дать ему возможность дойти прежде нее до пляжа, так что, если кто-нибудь случайно увидит его из отеля, им не придет в голову связать его появление с ней, поскольку она вернется значительно позже, скажем, через полчаса.

Она встала, оправила платье, достала из кармана пудреницу с помадой, попудрилась, пытаясь сделать это аккуратно без помощи зеркала. Солнце уже не жгло, как прежде, и с моря дул прохладный ветерок.

Если погода продержится, думала маркиза, я смогу приходить сюда каждый день в это же время. И никто ничего не узнает. Мисс Клей и девочки днем всегда отдыхают. Если мы будем приходить порознь и так же возвращаться, как, например, сегодня, и встречаться на этой полянке, так хорошо укрытой папоротником, никто нас не увидит. До конца отдыха еще три недели. Самое главное, надо молить Бога, чтобы не испортилась погода. Ведь если только пойдут дожди...

Возвращаясь в отель, она пыталась придумать, как им быть, если погода изменится. Не может же она отправиться гулять на скалы в плаще, а потом лежать на траве под ветром и дождем. Есть, конечно, подвальчик у него в ателье. Но в деревне ее могут увидеть. Это опасно. Нет-нет, лучше всего этот мыс, разве что будет лить как из ведра.

Вечером она села и написала своей подруге Элизе: «...Здесь просто прелестно, и я развлекаюсь как обычно, и без мужа, *bien entendu!*»²⁴ Однако она не сообщила никаких подробностей касательно своей победы, упомянула только папоротник и жаркий день. Она думала, что, если не вдаваться в детали, Элиза вообразит себе какого-нибудь богатого американца, который бродит по свету, не связанный делами или семьей.

На следующее утро, одевшись с большой тщательностью – перед этим она долго перебирала весь свой гардероб и наконец остановилась на платье, несколько более нарядном, чем те, которые обычно носят на курорте, что было, однако, сделано с определенной целью, – маркиза отправилась в город, взяв с собой детей и гувернантку. Был базарный день, площадь и мощенные булыжником улицы были запружены народом. В основном это были местные жители из окрестных деревень, но немало было и приезжих, англичан и американцев, которые осматривали достопримечательности, покупали сувениры и открытки или сидели в кафе на углу, наблюдая за толпой.

Маркиза выглядела весьма картинно. Она шла своей неторопливой ленивой походкой, в прелестном платье, без шляпы, но под зонтиком, в сопровождении двух маленьких девочек, которые чинно выступали рядом с ней. Многие оборачивались ей вслед и даже уступали дорогу, отдавая невольную дань ее красоте. Она немного задержалась на рыночной площади, купила какие-то мелочи, которые мисс Клей сложила в свою сумку, а потом, все той же скупающей походкой, лениво отшучиваясь в ответ на вопросы детей, она как бы ненароком направилась к магазину, где были выставлены в витрине фотографии и аппараты фирмы «Кодак».

Там было полно покупателей, ожидающих своей очереди у прилавка, и маркиза, которой некуда было спешить, сделала вид, что рассматривает альбомы местных пейзажей; это, однако, не мешало ей наблюдать за тем, что происходит в лавке. Оба они были здесь, мсье Поль, в грубой рубашке, на сей раз розовой, которая была еще хуже голубой, и в своем дешевом сером пиджаке, и его сестра, одетая, как и все продавщицы, в черное шерстяное платье и шаль.

²⁴ Само собой разумеется (*фр.*).

Он, должно быть, видел, как она вошла в магазин, так как почти сразу же вышел из-за прилавка, оставив очередь на попечение сестры, подошел к ней и осведомился, робко и почти-тельно, чем он может служить. В его обращении не было ни малейшей фамильярности, а во взгляде – ни намек на то, что у них есть общая тайна, и маркиза пристально смотрела ему в глаза, желая удостовериться, что это именно так. Затем она стала с ним обсуждать присланные ей пробные снимки, вовлекая в это обсуждение детей и гувернантку, предлагая последней выбрать те, которые она хотела бы послать в Англию. Она держала его возле себя, обращаясь с ним высокомерно-снисходительно, выразила неудовольствие по поводу некоторых фотографий, на которых, по ее мнению, дети были недостаточно хороши и которые она никак не могла послать маркизу, своему мужу. Фотограф извинялся. Конечно же, эти фотографии недостойны ее детей. Он охотно придет еще раз и сделает сколько угодно пробных снимков, конечно же без всякого дополнительного вознаграждения. Быть может, на террасе или в саду снимки выйдут более удачными.

Кое-кто из покупателей обернулся в ту сторону, где стояла маркиза. Она чувствовала их взгляды, выражающие восхищение ее красотой, и тем же покровительственным тоном, холодно и даже резко, она велела ему принести какие-то предметы, выставленные для продажи, и он тут же бросился исполнять ее приказание, полный желания ей угодить.

Другие покупатели стали проявлять нетерпение, они переминались с ноги на ногу, ожидая, пока их обслужит его сестра, а она металась в этой толпе от полки к полке, поглядывая время от времени на брата, который так внезапно ее покинул, и ожидая, что он придет наконец к ней на помощь.

Наконец маркиза сжалась над ним, насладившись досыта. Упоительное возбуждение, которое поднялось в ней при входе в магазин, улеглось, тайная жажда была наконец утолена, и она успокоилась.

– Я как-нибудь извещу вас, – сказала она мсье Полю, – и вы придете пораньше утром и поработаете, снимаете детей. А пока позвольте с вами расплатиться. Сколько я вам должна? Мисс Клей, позаботьтесь, пожалуйста.

И она вышла, дав девочкам знак следовать за собой и даже не сказав ему «до свидания».

К обеду она не переодевалась. Спустилась в ресторан в том же очаровательном платье, и ей казалось, что на террасе, где обедающих было больше, чем обычно, из-за того что в этот день было много экскурсантов, все говорили и говорили только о ней, о ее красоте, о том, как она прелестно выглядит, сидя за своим столиком в уголке террасы. Maître d'hôtel, официанты, даже сам хозяин то и дело подходили к ней, угодливо кланяясь, и она слышала, как из уст в уста передается ее имя.

Все окружающее, казалось, способствовало ее триумфу: толпа людей, запах еды, вина и сигарет, аромат ярких тропических цветов в кадках, палящие лучи летнего солнца, плеск морской волны. Когда она наконец встала из-за стола и отправилась вверх в сопровождении своих детей, она испытывала счастье, которое, как ей казалось, должна испытывать примадонна после бури оваций.

Девочки вместе с гувернанткой пошли в свою комнату отдохнуть, а маркиза, быстро скинув платье и туфли, оделась попроще, на цыпочках спустилась по лестнице, вышла из отеля, пробежала по горячему песку и вмиг оказалась на тропинке, ведущей к заросшему папоротником мысу.

Он уже ждал ее, как она и предполагала, однако ни он, ни она ни словом не обмолвились ни о ее утреннем визите в магазин, ни о том, что привело ее сегодня в эти края. Они сразу направились на вчерашнюю полянку у обрыва, оба одновременно опустились на траву, и маркиза начала болтать, остроумно высмеивая курортную толпу, жалуясь на то, какой шум и суэта царили в ресторане от этого обилия людей, как все это было утомительно и беспокойно и как

чудесно было сбежать от всех и сидеть здесь, над самым морем, наслаждаясь свежим, чистым воздухом.

Он робко кивал в знак согласия и слушал, как она говорит об этих пустых, незначительных предметах, с таким видом, как если бы все красноречие мира изливалось из ее уст, а потом, так же как и накануне, попросил разрешения сделать несколько снимков, и она согласилась, а потом откинулась на траву и закрыла глаза.

В этот жаркий, томительный день маркиза утратила ощущение времени. Как и вчера, вокруг нее вились в папоротнике стрекозы, жаркие лучи солнца падали на ее тело, и, наслаждаясь всем, что с ней происходило, она в то же время испытывала своеобразное удовлетворение – в том, что она делала, не было и тени эмоций. Чувства и мысли не принимали в происходящем никакого участия. С тем же успехом она могла бы сидеть в удобном кресле в косметическом салоне в Париже, где искусные руки разглаживали первые предательские морщинки на лице или мыли ей волосы, хотя надо признать, что такого наслаждения те процедуры не давали, вызывая лишь ощущение ленивого довольства.

Снова он ушел, не сказав ни единого слова, тактично и ненавязчиво, чтобы она могла привести себя в порядок, никого не стесняясь. И снова, рассчитав, что он уже скрылся из виду, она поднялась и не спеша направилась в сторону отеля.

С погодой ей везло, дни по-прежнему стояли безоблачные. Каждый день после обеда, когда дети шли наверх отдыхать, маркиза отправлялась гулять и возвращалась около половины пятого, как раз к чаю. Мисс Клей, которая поначалу ахала по поводу ее неутомимости, смирилась с тем, что эти прогулки вошли в распорядок дня. Если маркизе нравится гулять в самую жару, это ее личное дело; похоже, этот ежедневный моцион действительно идет ей на пользу. По крайней мере, она стала по-человечески относиться к ней, гувернантке, да и детей меньше дергает.

Постоянные головные боли и мигрени были забыты, и маркиза, казалось, действительно получает большое удовольствие от этого простенького курортного городка, в обществе гувернантки и двух маленьких девочек.

Прошло две недели, и маркиза стала замечать, что первые восторги и упоение ее романа начинают терять свою прелесть. Не то чтобы мсье Поль разочаровал ее в каком-либо смысле, просто для нее самой этот ежедневный ритуал становился привычным делом. Так же как оспа в первый раз прививается очень активно и дает разительный эффект, который при многократном повторении заметно снижается, так и здесь маркиза поняла, что, если она по-прежнему хочет получать удовольствие, она уже не может смотреть на фотографа как на манекен, человека, лишенного какой бы то ни было индивидуальности или как на *coiffeur*, который причесывает ей волосы. Теперь для достижения желательного эффекта ей непременно нужно было ранить его самолюбие. Она стала отпускать критические замечания по поводу его наружности – зачем у него такие длинные волосы, почему так плохо одевается. Доставалось даже деловым качествам – он, оказывается, неспособен сделать свой магазин доходным, недаром фотографии печатаются на такой дрянной бумаге.

Высказывая подобные замечания, она всматривалась в его лицо и видела, как в его огромных глазах вспыхивают боль и тревога, замечала, как бледнеет лицо, как его охватывает уныние при мысли о том, насколько он ниже ее во всех отношениях, как он ее недостоин. Только после этого в ней разгорался прежний огонь.

Она стала намеренно сокращать часы свиданий. Приходила на папоротниковую поляну с опозданием, и он дожидался ее все с тем же выражением тревоги на лице, и, если в ней к тому времени не возникало желание, готовность к тому, что должно было произойти, она проделывала всю привычную процедуру быстро и неохотно, а затем отправляла его в обратный путь и мысленно видела, как он бредет, хромая, в свою лавку, усталый и расстроенный.

Она по-прежнему разрешала себя фотографировать. Это было неременной частью ритуала, и она видела, что он вкладывает в свое дело много труда, стремится в каждой фотографии достигнуть совершенства, и она обращала это себе на пользу, заставляя его приходить по утрам в отель, где он снимал ее в парке, и она, прелестно одетая, принимала различные позы, то одна, то с детьми, под восхищенными взорами мисс Клей и других обитателей отеля, которые смотрели на нее с террасы или из окон своих номеров.

Контраст между этими утренними сеансами, когда он, наемный служащий, бегал, хромя, взад и вперед, выполняя ее приказания, переставляя штатив то так, то эдак, и неожиданной интимностью дневных свиданий в папоротнике под палящими лучами солнца, был для нее единственным стимулом продолжения свиданий в течение третьей недели.

И наконец наступил день, когда погода переменилась, с моря подул холодный ветер, и маркиза не пошла, как обычно, на свидание, а осталась сидеть на балконе, читая роман. Это нарушение привычного распорядка она восприняла с явным облегчением.

На следующий день погода исправилась, и она снова решила пойти на мыс, и в первый раз с тех пор, как они встретились в темном прохладном подвальчике под магазином, он стал ее упрекать, причем голос его от пережитого волнения и беспокойства звучал достаточно резко.

– Я ждал вас вчера весь день, – сказал он. – Что случилось?

Она посмотрела на него с крайним удивлением.

– Погода была скверная, – ответила она. – Мне приятнее было посидеть дома и почитать книжку на балконе.

– Я боялся, что вы заболели, – продолжал он, – я чуть было не пошел в отель, чтобы справиться о вашем здоровье. Я так волновался, что всю ночь не сомкнул глаз.

Он пошел следом за ней в их укромное местечко в папоротниках, встревоженный и огорченный, и, хотя его расстроенный вид оказал на нее возбуждающее действие, ее рассмешило, что он до такой степени забылся, что позволяет себе критиковать ее поступки. Как если бы ее *coiffeur* в Париже или ее массажистка посмели бы рассердиться, когда она опаздывала к назначенному времени.

– Если вы воображаете, что я считаю себя обязанной являться сюда каждый день, – сказала она, – вы серьезно ошибаетесь. У меня вполне достаточно других дел.

Он немедленно извинился, был так несчастен, униженно просил простить его.

– Вы просто не понимаете, что это для меня значит, – говорил он. – С тех пор как я вас увидел, жизнь моя совершенно переменилась. Я живу исключительно ради этих встреч.

Эта его покорность доставила ей удовольствие, подстегнув ее интерес к происходящему; к тому же, когда он лежал рядом с ней, она почувствовала жалость к этому несчастному, который так самозабвенно ей предан, зависит от нее, как ребенок. Она гладила его волосы, испытывая при этом чисто материнское сострадание. Бедняжка, тащился вчера ради нее в такую даль, а потом сидел здесь на холодном ветру, такой печальный и одинокий. Она мысленно описывала все это в письме, которое отошлет завтра своей подруге Элизе. «Я очень опасаюсь, что разбила сердце моего Поля. Он слишком серьезно относится к этой *affaire de vacance*²⁵. Но что же мне делать? Ведь рано или поздно такие вещи надо кончать. Не могу же я ради него изменить всю свою жизнь? В конце концов, он мужчина, как-нибудь он это переживет». Элиза вообразит себе, как этот американец, красавец и баловень судьбы, печально садится в свою роскошную машину и едет куда глаза глядят, с отчаянием в душе.

В тот день, после дневного сеанса, фотограф не ушел от нее, как обычно. Он сидел на траве, устремив взор на огромную скалу, выступающую далеко в море.

– Я принял решение относительно того, что делать дальше, – спокойно сказал он.

²⁵ Курортная интрижка (*фр.*).

Маркиза почувствовала, что назревают драматические события. Неужели он собирается покончить с собой? Как это ужасно! Но он, конечно, подождет, пока она отсюда уедет и вернется домой. Ей совсем необязательно об этом знать.

– Расскажите мне, – ласково попросила она.

– Моя сестра возьмет на себя заботу о магазине, – говорил он. – Я все передам ей, она вполне справится. А я последую за вами, куда бы вы ни поехали, – в Париже или в вашем имении я всегда буду возле вас; когда бы вы ни захотели меня видеть, я всегда буду рядом.

Маркиза похолодела, сердце у нее остановилось.

– Это невозможно, – сказала она. – Вы не можете этого сделать. На что вы будете жить?

– Я человек не гордый, – сказал он. – Я думаю, что вы по доброте душевной уделите мне какую-нибудь малость. Мне много не надо. Я только знаю, что жить без вас я не могу, и, значит, единственное, что мне остается, это следовать за вами везде и повсюду. Я найду себе комнатку в Париже недалеко от вашего дома и в деревне тоже. Так или иначе, мы найдем возможность бывать вместе. Если любовь так сильна, как наша, трудностей для нее не существует.

Он говорил с обычным своим смирением, однако в его словах чувствовалась неожиданная сила, и она поняла, что для него это не игра, не спектакль, столь неуместный в данный момент, что говорит он совершенно серьезно. Он ведь действительно бросит свой магазин, поедет за ней в Париж, а потом и в имение, когда она туда отправится.

– Вы с ума сошли, – в бешенстве проговорила она, садясь на траве и нисколько не заботясь о том, как она выглядит и в порядке ли у нее волосы. – Как только я отсюда уеду, я уже не буду свободна. Я никак и никогда не смогу с вами встречаться, это было бы слишком опасно – все может открыться. Вы отдаете себе отчет, какое я занимаю положение? И что со мною будет, если узнают?

Он утвердительно кивнул головой. Лицо его было печально, но в то же время хранило решительное выражение.

– Я все это обдумал, – отозвался он. – Но вы же знаете, я очень осмотрителен. Вам никогда не придется тревожиться на этот счет. Мне подумалось, что, может быть, я мог бы получить какое-нибудь место в вашем доме, скажем лакея. То, что пострадает мое достоинство, не играет для меня никакой роли. Я человек не гордый. А наша жизнь могла бы при этом идти примерно так же, как сейчас. Господин маркиз, ваш супруг, верно, человек занятой, днем часто отсутствует, а дети гуляют со своей англичанкой. Как видите, все очень просто, надо только решиться.

Маркиза была настолько потрясена, что не могла вымолвить ни слова. Нельзя себе представить ничего более ужасного, более губительного и позорного, чем его пребывание в доме в качестве лакея. Не говоря уже о его хромоте – ее бросило в дрожь, когда она представила себе, как он ковыляет вокруг стола в их громадной *salle à manger*²⁶, какие муки она будет испытывать при мысли о том, что он находится здесь, в доме, что он ждет, когда она поднимется после обеда к себе в комнату, а потом робкий стук в дверь, приглушенный шепот. Как низко нужно пасть, чтобы терпеть это существо – другого слова и не придумаешь – у себя в доме, зная, что он все время чего-то ждет, на что-то надеется.

– Боюсь, что ваши предложения абсолютно неприемлемы, – твердо сказала она. – И не только ваше пребывание в доме в качестве слуги, но и то, что мы вообще сможем встречаться после моего возвращения домой. Здравый смысл вам должен это подсказать. Наши встречи были... были приятны, однако срок моего пребывания здесь подходит к концу. Через несколько дней за мной и детьми придет мой муж, он отвезет нас домой, и все будет кончено.

²⁶ Столовая (*фр.*).

Маркиза встала, как бы подчеркивая окончательность принятого решения, отряхнула смятое платье, пригладила волосы, попудрила нос и, протянув руку за сумочкой, стала искать там бумажник.

Она достала несколько купюр по десять тысяч франков.

– Это для вашего магазина, – сказала она. – Может быть, нужно что-то отремонтировать, усовершенствовать. И купите что-нибудь вашей сестре. А главное, помните, я всегда буду вспоминать о вас с нежностью.

Взглянув на него, она с ужасом увидела, что он бледен как полотно. Губы его судорожно двигались, он поднялся на ноги.

– Нет-нет, – говорил он. – Я никогда их не возьму. Это дурно, жестоко, как вы могли об этом подумать?

Он вдруг заплакал, закрыв лицо руками, все тело его содрогалось от рыданий.

Маркиза стояла и смотрела на него в полной беспомощности. Она не знала, уйти ли ей или остаться. Он так отчаянно рыдал, что она опасалась истерического припадка и не знала, к чему это может привести. Ей было жаль его, безумно жаль, но еще больше она жалела себя, ибо сейчас, когда они расставались, он предстал перед ней в таком смешном, нелепом виде. Мужчина, который не может совладать со своими чувствами, всегда жалок. Даже эта поляна среди папоротников, которая прежде казалась такой уютной и ласковой, приобрела какой-то грязный, постыдный вид. Там валялась его рубашка, зацепившись за стебли папоротника, – можно было подумать, что это прачка разложила на солнце старое белье для просушки; рядом лежали галстук и дешевая фетровая шляпа. Для полноты картины не хватало только апельсиновых корок и серебряных оберток от шоколада.

– Прекратите немедленно, – сказала она вдруг, придя в ярость. – Возьмите себя в руки, ради бога.

Рыдания прекратились. Он отнял руки от залитого слезами лица и смотрел на нее, весь дрожа, глазами, полными муки.

– Я в вас ошибся, – сказал он. – Теперь я знаю, кто вы такая на самом деле. Вы дурная женщина, вы губите ни в чем не повинных людей, таких, как я. Я все расскажу вашему мужу.

Маркиза ничего не сказала. Он просто сошел с ума, он не в себе...

– Да-да, – продолжал фотограф, все еще всхлипывая. – Именно это я и сделаю. Как только ваш муж придет за вами, я все ему расскажу. Покажу фотографии, которые были сделаны здесь, на этой поляне. У него не останется никаких сомнений в том, что вы ему неверны, что вы испорченная женщина. И он мне поверит. Не может не поверить. Неважно, что он после этого сделает со мной. Невозможно страдать больше, чем я страдаю сейчас. А вот ваша жизнь, она будет кончена, это я вам обещаю. Узнает ваш муж, узнает английская мисс, хозяин отеля – я всем расскажу, как вы здесь проводили время.

Он потянулся за своей курткой, накинул на плечо ремешок от фотоаппарата, и маркизу охватила паника. Сердце заколотилось, перехватило горло. Он ведь и в самом деле выполнит свои угрозы, будет торчать в отеле, в холле, возле конторки портье, дожидаясь, когда придет Эдуар.

– Послушайте меня, – начала она, – мы с вами что-нибудь придумаем, может быть, удастся что-то устроить.

Но он не обращал на нее никакого внимания. Его бледное лицо выражало решимость. Он нагнулся, чтобы подобрать свою палку, которая лежала у края скалы, и в этот момент в самой глубине ее души возникло ужасное, непреодолимое желание, оно захлестнуло все ее существо, из него родился импульс, с которым она уже не могла совладать. Она подалась вперед, вытянула руки и подтолкнула это склоненное неустойчивое тело. Фотограф не проронил ни звука. Рухнул вниз и исчез.

Маркиза бессильно опустилась на колени. Она не шевелилась. Она ждала. Чувствовала, что пот заливает ей лицо, стекает по шее, струится по всему телу. Ладони тоже были мокрые. Она ждала, стоя на коленях на поляне, и наконец немного остынув, достала платок и вытерла мокрый лоб, лицо и руки.

Потом ей вдруг стало холодно, она начала дрожать. Она встала и почувствовала, что ноги держат, не подгибаются, как она опасалась. Огляделась вокруг поверх папоротника – никого не было видно. Как обычно, она была одна на всем мысу. Минут через пять она заставила себя подойти к краю обрыва и заглянуть вниз. Было время прилива. Море спокойно плескалось у основания утеса. Оно вскипало, заливало прибрежные камни, потом отступало и вновь кидалось на утес. На скале тела не было видно, да это было и невозможно, скала уходила в море почти отвесно. Не было видно его и в воде. Если бы он всплыл, на гладкой поверхности спокойного моря это сразу было бы заметно. Упав в воду, он, очевидно, сразу же пошел ко дну.

Маркиза отвернулась и стала собирать свои вещи. Она попыталась расправить примятый папоротник, чтобы скрыть следы их посещений, однако тайником пользовались слишком долго, и вернуть ему прежний девственный вид было невозможно. Впрочем, может быть, это и не имеет значения. Может, сочтут это вполне естественным – люди часто приходят сюда на мыс посидеть на покое.

Вдруг у нее задрожали колени, и ей пришлось сесть на землю. Она подождала несколько минут, потом взглянула на часы. Она понимала, что важно запомнить время, это могло пригодиться. Самое начало четвертого. Если ее спросят, она сможет сказать: «Да, я была на мысе в половине четвертого, но ничего не слышала». То, что она скажет, будет правдой. Лгать ей не придется. Она скажет правду.

Она вспомнила, что сегодня, слава богу, не забыла положить в сумочку зеркальце. Достала его и со страхом взглянула на свое лицо, белое как мел, покрытое пятнами, – чужое лицо. Она тщательно напудрилась – никакого впечатления. Мисс Клей сразу почувствует неладное. Попробовала слегка наругать щеки, но румяна резко выступили на бледной коже, словно красные кружки на щеках у клоуна.

«Единственное, что можно сделать, – подумала она, – это пойти и выкупаться в море. Купальник можно надеть в кабине на пляже. Тогда, если я вернусь в отель с мокрыми волосами и влажным лицом, это будет выглядеть естественно – я просто выкупалась. И это тоже не будет ложью».

Она пошла в обратный путь вдоль обрыва, чувствуя слабость в ногах, словно много дней провела в постели, и когда наконец дошла до пляжа, то так дрожала, что боялась: вот-вот упадет. Больше всего на свете ей хотелось лечь в кровать в своей комнате в отеле, закрыть ставни, даже окна и спрятаться, укрыться от всех в темноте. Но нужно заставить себя сыграть роль до конца, так, как было задумано.

Маркиза зашла в кабину и разделась. Сиеста подходила к концу, и на пляже уже были люди, кто-то читал, другие просто дремали на солнце. Она скинула свои туфли на веревочной подошве, натянула шапочку и вошла в воду. Плавая в спокойном теплом море, она пыталась себе представить, кто на пляже обратил на нее внимание, наблюдал за ней, а потом может сказать: «Разве вы не помните, мы же видели, как часа в четыре одна женщина пришла на пляж со стороны мыса?»

Она сильно замерзла, однако продолжала плавать, взад-вперед, взад-вперед, напряженно двигая руками, как вдруг увидела, как мальчуган, игравший с собакой, указал на какую-то точку вдалеке, и пес с отчаянным лаем бросился к этой точке – скорее всего, это была доска. Маркизу охватил безумный, тошнотворный страх, от которого она чуть не потеряла сознание, и она выбралась на песок, с трудом добрела до кабины и легла там на деревянном полу, закрыв лицо руками. Она подумала, что если бы она оставалась в воде, то непременно заплывала бы подальше и вдруг коснулась бы ногой его тела – его вполне могло отнести к пляжу.

Через пять дней должен был приехать на автомобиле маркиз, забрать жену и детей с гувернанткой и отвезти их домой. Маркиза заказала телефонный разговор с *château*²⁷ и спросила мужа, не может ли он приехать пораньше. Да, погода все еще держится, сказала она, но ей что-то надоел этот городишко. Здесь слишком много народа, шумно, да и кухня оставляет желать много лучшего. Все ей тут опротивело, так хочется оказаться снова дома, говорила она мужу, она соскучилась без своих вещей; и в саду сейчас, наверное, так красиво.

Маркиз выразил сожаление по поводу того, что она так скучает, но все-таки ей придется потерпеть денька три. У него все время рассчитано, и он никак не может приехать раньше. Тем более что надо будет заехать в Париж, там у него деловое свидание. Обещает быть у нее в четверг утром, и после обеда они двинутся в обратный путь.

– Я надеялся, – сказал он, – что вам захочется провести там со мною конец недели, чтобы я тоже мог раз-другой окунуться в море. Ведь номер остается за нами до понедельника, разве не так?

Нет, нет, она уже сказала хозяину, что в четверг они уезжают, и он уже сдал их апартаменты кому-то другому. Здесь такая масса народа, что, право же, все очарование этого местечка пропало, уверяла она мужа. А в выходные дни просто невыносимо, Эдуару совсем не понравится. Пожалуйста, пусть он постарается приехать в четверг с утра, так, чтобы можно было пораньше пообедать и сразу ехать.

Маркиза повесила трубку и вышла на балкон. Она сидела в шезлонге и делала вид, что читает, но на самом деле прислушивалась, ожидая, что послышатся шаги, а потом в комнате зазвонит телефон, это будет хозяин, он станет страшно извиняться и попросит ее спуститься вниз, в контору. Дело, видите ли, очень деликатное, но к нему тут пришли из полиции. Они почему-то считают, что Госпожа Маркиза может им помочь. Телефон не звонил, и голосов тоже не было. Жизнь шла своим привычным путем. Долгие часы складывались в нескончаемый день. Обед на террасе, суетливые угодливые официанты, привычные лица за столиками или, напротив, новые люди, болтовня детей и нотации мисс Клей, которая учит их манерам. И все это время маркиза ждет, прислушивается... Она заставляла себя есть, но это было трудно, ей казалось, что она жует опилки. После обеда она поднималась к себе и, пока дети отдыхали, сидела в шезлонге на балконе; потом все спускались на террасу к чаю, но когда наступало время второго купанья и дети отправлялись на пляж, она оставалась в отеле. Она немного простудилась, объясняла она мисс Клей, ей не хочется лезть в воду. И она по-прежнему сидела у себя на балконе и читала книгу.

Ночью, закрывая глаза и пытаясь уснуть, она снова ощущала под руками его плечи, снова чувствовала, как его склоненное тело подалось и рухнуло вниз, когда она его толкнула. Как легко он упал и скрылся из виду. Вот был здесь, а через секунду – пустота. И ни малейшего движения, ни единого звука.

Днем она подолгу смотрела на утес, пытаясь разглядеть, нет ли там какого движения, не ходят ли люди – кажется, это называется «полицейский патруль»? Но утес безмятежно поблескивал под палящим солнцем, в папоротниках никого не было.

Два раза мисс Клей предлагала отправиться в город и пройтись по магазинам, но маркиза каждый раз находила какие-то отговорки.

– Там всегда такая толкотня, – говорила она. – И так жарко. Это совсем не полезно детям. В саду возле отеля гораздо приятнее, там есть такая прекрасная тенистая лужайка, где всегда тихо и спокойно.

Сама она не выходила из отеля. При мысли о пляже у нее сразу же появлялась боль в желудке и тошнота. Гулять она тоже не ходила.

²⁷ Шато – богатый аристократический дом в сельской местности (*фр.*).

– Пройдет эта досадная простуда, – говорила она мисс Клей, – и опять все будет хорошо. Она все сидела на балконе, перелистывая страницы журнала, который читала уже десятки раз.

Наутро третьего дня, перед самым обедом, девочки прибежали на балкон, размахивая флажками-вертушками.

– Посмотрите, тапан, – кричала Элен, – у меня красный, а у Селесты синий. После чая мы будем строить башни на пляже, а флажки воткнем сверху.

– Где вы их взяли? – спросила маркиза.

– На площади, – ответили девочки. – Сегодня утром мы ходили в город, вместо того чтобы играть в саду. Мисс Клей хотела получить свои фотографии, они сегодня должны были быть готовы.

Маркиза сидела не шевелясь. Она была в состоянии шока.

– Бегите в свою комнату, – наконец проговорила она. – Приведите себя в порядок перед обедом.

Она слышала, как дети болтали с гувернанткой в ванной. Через минуту мисс Клей вышла на балкон. Она плотно прикрыла за собой дверь. Маркиза заставила себя посмотреть на вошедшую гувернантку. Длинное, несколько глуповатое лицо мисс Клей было серьезно и взволнованно.

– Случилась ужасная вещь, – сказала она. – Я не хотела говорить при детях. Я уверена, вы будете очень расстроены. Бедный мсье Поль.

– Мсье Поль? – отозвалась маркиза. Голос ее был совершенно спокоен, однако в нем была нужная доля заинтересованности.

– Я пошла к нему в ателье за своими карточками, – говорила мисс Клей, – и увидела, что там закрыто. Двери заперты, и жалюзи спущены. Мне это показалось странным, я зашла в pharmacie по соседству и спросила, откроется ли магазин после чая. Мне сказали, что не откроется, мадемуазель Поль слишком расстроена, она сейчас находится у своих родных, которые о ней заботятся. Я спросила, в чем дело, и мне ответили, что случилось несчастье, мсье Поль утонул, рыбаки нашли его тело на берегу, в трех милях отсюда.

Рассказывая о том, что произошло, мисс Клей все больше бледнела. Это известие, видимо, глубоко ее поразило. Глядя на ее испуганное лицо, маркиза почувствовала себя увереннее.

– Как это ужасно, – сказала она. – А кто-нибудь знает, когда это случилось?

– Я не могла расспрашивать, в аптеке со мной были дети, – сказала мисс Клей, – но мне кажется, что тело обнаружили вчера. Оно сильно обезображено. Прежде чем упасть в воду, бедняжка разбился о камни. Ужасно, ужасно, я просто не могу об этом думать. А бедная его сестра, что она станет без него делать?

Маркиза сделала ей знак замолчать, так как в комнату входили дети.

Они пошли на террасу обедать, и впервые за эти три дня маркиза немного поела. К ней, как это ни странно, вернулся аппетит. Она сама не понимала, в чем тут дело. Быть может, в том, подумала она, что тайная тяжесть на душе перестала давить с такой силой. Он умер. Тело его нашли на берегу. Об этом уже все знают. После обеда она велела мисс Клей пойти к хозяину отеля и узнать, что ему известно об этом несчастье. Ей было велено сказать, что маркиза очень огорчена и расстроена. Пока она ходила, маркиза отвела девочек наверх, в номер.

Вдруг зазвонил телефон. Вот оно. Вот то, чего она так боялась. Сердце у нее замерло. Она сняла трубку и стала слушать.

Звонил хозяин отеля. Он сказал, что к нему только что заходила мисс Клей. Сказал, что со стороны маркизы весьма любезно проявить сочувствие в связи с ужасным несчастьем, которое постигло мсье Поля. Он, конечно, сообщил бы вчера об этом, но его остановило опасение, что это известие слишком расстроит его гостей. Люди начинают чувствовать себя неудобно,

когда на морском курорте кто-то тонет. Да, конечно, полицию вызвали немедленно, как только нашли тело. Они пришли к заключению, что мсье Поль сорвался и упал, гуляя по прибрежным склонам. Он, по-видимому, очень любил фотографировать морские пейзажи. И конечно, при его физическом недостатке очень легко мог оступиться. Сестра постоянно предупреждала его, чтобы он был осторожнее. Очень, очень печальная история. Такой был приятный молодой человек. Все его любили. И врагов у него никогда не было. А какой художник! Ведь Госпожа Маркиза осталась довольна его работой? Такие прелестные этюды – и она сама, и дети. Да, очень приятно. Он непременно доведет это до сведения мадемуазель Поль, а также и то, как была расстроена Госпожа Маркиза. Да, конечно, она будет благодарна, если будут присланы цветы, а может быть, и записочка с выражением соболезнования. Бедная женщина, она в полном отчаянии. Нет, день похорон еще не назначен...

Когда он повесил трубку, маркиза позвала мисс Клей и велела ей нанять такси и поехать в соседний город, расположенный в семи милях от отеля, где было больше магазинов и где, как ей помнится, была отличная цветочная лавка. Мисс Клей должна купить цветов – самые лучшие лилии, которые найдутся, – сколько бы это ни стоило, а маркиза напишет записку.

А когда вернется, пусть оставит цветы и записку хозяину отеля, а уж он позаботится о том, чтобы их доставили мадемуазель Поль.

Маркиза написала записку, которую мисс Клей должна была прикрепить к цветам. «С глубоким сочувствием по поводу Вашей утраты». Она дала гувернантке денег, и та отправилась за такси.

Немного позже она пошла с детьми на пляж.

– Ваша простуда уже прошла, мама? – спросила Селеста.

– Да, моя крошка, теперь мама снова может купаться.

И она вошла в теплую податливую воду и плескалась там вместе с детьми.

Завтра приедет Эдуар. Завтра он приедет сюда на своей машине и увезет их, и длинные бесконечные мили белых пыльных дорог пролягут между ней и этим отелем. Она никогда больше не увидит ни отеля, ни этого городишка, ни мыса, и этот месяц на морском курорте изгладится из ее памяти, словно его никогда не было.

Когда я умру, думала маркиза, устремив взгляд в сторону горизонта, Бог меня накажет. Я прекрасно все понимаю. Я виновата, я лишила человека жизни. Когда я умру, меня будет судить Бог. А пока я буду хорошей женой Эдуару, хорошей матерью Селесте и Элен. С этого дня я постараюсь стать хорошей женщиной. Буду стараться искупить свою вину – стану добрее к родным, друзьям, слугам, ко всем людям.

Впервые за четыре дня она провела спокойную ночь.

На следующее утро приехал муж, она в это время еще завтракала. Она была так рада его видеть, что вскочила с кровати и обвила его шею руками. Маркиз был тронут.

– Кажется, моя девочка все-таки скучала без меня? – сказал он.

– Скучала? Ну конечно скучала. Поэтому и звонила. Я так хотела, чтобы вы поскорее приехали.

– И вы твердо решили ехать сегодня после обеда?

– О да! Я не могу здесь больше оставаться. Вещи уже уложены, осталось положить только то, что еще в ходу.

Он сидел на балконе, пил кофе и смеялся тому, что говорили ему дети, пока она одевалась и складывала в чемодан свои личные вещи. Комната, которую она считала своей в течение целого месяца, опустела, приобрела безличный нежилой вид. Она торопливо убирала мелочи, что лежали на туалетном столике, на каминной полке, на тумбочке у кровати. Скоро придет *femme de chambre*, принесет чистое белье и будет заново готовить номер для следующих постояльцев. А ее, маркизы, здесь уже не будет.

– Послушайте, Эдуар, – обратилась она к мужу, – зачем нам дожидаться обеда? Гораздо интереснее было бы пообедать где-нибудь по дороге. Мне почему-то всегда грустно оставаться в отеле, да еще обедать, после того как уплачено по счету. Терпеть не могу это состояние: ждать как будто уже нечего, а все равно ждешь. Раз уж все кончено, даже чаевые розданы, – хочется поскорее уехать.

– Как вам угодно, – согласился муж. Его глубоко тронула бурная радость, с которой она его встретила, и теперь он готов был удовлетворить любой ее каприз. Бедная девочка, как ей было одиноко без него. Он должен ее за это вознаградить.

Когда зазвонил телефон, маркиза была в ванной, она стояла перед зеркалом и подкрашивала губы.

– Будьте добры, поговорите, пожалуйста, – крикнула она мужу. – Это, наверное, консьерж по поводу багажа.

Маркиз взял трубку и через минуту позвал жену:

– Это вас, дорогая. Тут пришла какая-то мадемуазель Поль, она просит позволения повидать вас и поблагодарить за цветы, пока вы еще не уехали.

Маркиза ответила не сразу, и, когда она вошла в спальню, ее мужу показалось, что эта помада отнюдь не делает ее привлекательнее. Она словно осунулась, постарела. Как странно. Наверное, она поменяла помаду. Этот цвет ей совсем не идет.

– Ну, что ей сказать? – спросил он. – Вам, наверное, совсем не хочется сейчас разговаривать с этой особой – кто она, кстати, такая? Хотите, я спущусь вниз и отделаюсь от нее?

Маркиза колебалась, казалась обеспокоенной.

– Нет, – сказала она, – не надо, пожалуй, я поговорю с ней сама. Дело в том, что это трагическая история. Она и ее брат держали в городе небольшой магазинчик, фотоателье. Они делали для меня кое-какие работы – несколько моих портретов, детские фотографии, – а потом случилась ужасная вещь, брат утонул. Я сочла себя обязанной послать цветы.

– Это было очень любезно с вашей стороны оказать ей такое внимание. Показывает, как вы добры. Однако стоит ли еще себя утруждать? У нас ведь все готово к отъезду.

– Вы ей так и передайте. Скажите, что мы буквально через минуту уезжаем.

Маркиз снова повернулся к телефону, однако, сказав буквально несколько слов, закрыл трубку рукой и обратился к жене.

– Она очень настаивает, – сказал он. – Говорит, что у нее остались какие-то ваши фотографии, которые она хочет отдать вам лично.

Маркизу охватила паника. Фотографии? Какие фотографии?

– Но я уже за все расплатилась, – шепотом, чтобы не было слышно, проговорила она в ответ. – Я не понимаю, чего она хочет.

Маркиз пожал плечами.

– Что же ей сказать? Она, кажется, плачет.

Маркиза вернулась в ванную и еще раз провела пуховкой по лицу.

– Скажите ей, чтобы она поднялась сюда в номер, – велела она. – Но предупредите еще раз, что мы через пять минут уезжаем. А вы возьмите детей и отведите их в машину. И мисс Клей пусть тоже идет. Я поговорю с этой женщиной наедине.

Когда муж вышел, она еще раз окинула взглядом комнату. Там ничего не осталось, кроме ее перчаток и сумочки. Еще одно движение, а потом закрыть дверь, спуститься в лифте вниз, кивнуть на прощание хозяину отеля, и все – она свободна.

В дверь постучали. Маркиза ждала у входа на балкон, плотно сцепив на груди руки.

– Entrez, – сказала она.

Мадемуазель Поль открыла дверь. Лицо ее опухло от слез и было покрыто пятнами; длинное старомодное траурное платье едва не касалось пола. Она постояла в нерешительности на

пороге, а потом двинулась вперед – в ее хромоте было что-то гротескное – с таким трудом, словно каждый шаг причинял ей мучительную боль.

– Госпожа Маркиза, – начала она, но губы у нее задрожали, и она расплакалась.

– Пожалуйста, успокойтесь, – мягко сказала маркиза. – Я ужасно сожалею о том, что произошло.

Мадемуазель Поль достала платок и высморкалась.

– У меня никого и ничего не было в жизни, – проговорила она. – Только он один. Он был так добр ко мне. Что я теперь стану делать? Как мне жить?

– Но ведь у вас есть родные?

– Они бедные люди, Госпожа Маркиза. Я не могу рассчитывать на их помощь. И с магазином я одна, без брата, не справлюсь. Сил не хватит. У меня всегда было слабое здоровье.

Маркиза пошарила в своей сумочке и достала оттуда ассигнацию в двадцать тысяч франков.

– Я понимаю, что это не так уж много, – сказала она, – но для начала, может быть, поможет. К сожалению, у моего мужа нет особых связей в этих краях, но я попрошу его, – может быть, он что-нибудь придумает.

Мадемуазель Поль взяла деньги. Странно, она не поблагодарила маркизу.

– Этого мне хватит до конца месяца, – сказала она, – и на то, чтобы оплатить расходы на похороны.

Она открыла сумочку и достала оттуда три фотографии.

– Дома у меня есть еще такие же, – сказала она. – Мне подумалось, что вы так спешили отсюда уехать, что совсем про них забыли. Я нашла их среди других фотографий и негативов моего бедного брата в подвале, где он их проявлял и печатал.

Она протянула снимки. Взглянув на них, маркиза похолодела. Да, она совсем забыла. Собственно говоря, она даже и не знала об их существовании. Это были фотографии, снятые в папоротниках. Да, да, там, на поляне, забыв обо всем на свете, полная страстной неги, она частенько дремала, положив под голову его куртку, и слышала сквозь сон, как щелкает камера. Это придавало их встречам особую пикантность. Некоторые снимки он ей показывал. Но этих она не видела.

Она взяла фотографии и положила их в сумочку.

– Вы говорите, что у вас есть и другие? – спросила она безразличным тоном.

– Да, Госпожа Маркиза.

Она заставила себя посмотреть женщине в глаза. Они распухли от слез, однако в самой глубине несомненно поблескивали.

– Чего вы от меня хотите? – спросила маркиза.

Мадемуазель Поль оглядела гостиничный номер. Оберточная бумага на полу, корзина, полная мусора, скомканные простыни на незаправленной кровати.

– Я потеряла брата, – говорила женщина, – мою единственную опору, смысл всей моей жизни. Госпожа Маркиза приятно провела время на курорте и теперь возвращается домой. Думаю, Госпоже Маркизе не захочется, чтобы ее муж или родные увидели эти фотографии?

– Вы правы, – сказала маркиза. – Я и сама не желаю их видеть.

– В таком случае, – продолжала мадемуазель Поль, – двадцать тысяч франков – это слишком ничтожная плата за столь приятный отдых.

Маркиза снова заглянула в сумочку. Там было две банкноты по тысяче франков и несколько сотенных.

– Вот все, что у меня есть, – сказала она. – Пожалуйста, возьмите.

Мадемуазель Поль снова высморкалась.

– Я считаю, что и меня и вас гораздо больше устроит, если мы придем к более долгосрочному соглашению, – сказала она. – Теперь, когда мой бедный брат меня покинул, будущее для

меня так неверно, так неопределенно. Мне, может быть, даже не захочется жить здесь, где все наполнено печальными воспоминаниями. Я все задаю себе вопрос, как, каким образом встретил свою смерть мой несчастный брат. Накануне того дня, как ему исчезнуть, он ходил на этот папоротниковый мыс и вернулся ужасно расстроенным. Я видела, что его что-то огорчило, но не спросила, в чем дело. Быть может, он собирался кого-то встретить, подружку например, а она не пришла. На следующий день брат снова туда отправился и больше уже не вернулся. Дали знать в полицию, а потом, через три дня, нашли его тело. Я ничего не сказала в полиции о том, что можно предполагать самоубийство, они считают, что это несчастный случай, и я с ними согласилась. Но у моего брата было такое чувствительное сердце, Госпожа Маркиза. В расстройстве он был способен сотворить все, что угодно. Если мне станет слишком грустно от всех этих мыслей, мне, возможно, захочется пойти в полицию. Быть может, я даже выскажу предположение, что мой несчастный брат покончил с собой из-за несчастной любви. А то и разрешу им поискать в его вещах – вдруг найдутся какие фотографии.

В полной панике маркиза услышала за дверью шаги мужа.

– Вы идете, дорогая? – позвал он, распахивая дверь и входя в комнату. – Вещи уже все погружены, и дети капризничают, им хочется поскорее ехать.

Он поздоровался с мадемуазель Поль, та в ответ сделала книксен.

– Я вам дам свой адрес, – говорила маркиза, – и в Париже и в деревне. – Маркиза лихо-радочно шарила в сумочке в поисках визитной карточки. – Надеюсь, через неделю-другую вы дадите о себе знать.

– Возможно, что и раньше, Госпожа Маркиза, – сказала мадемуазель Поль. – Если я уеду отсюда и окажусь в ваших краях, я непременно засвидетельствую мое нижайшее почтение вам и вашим деткам и английской мисс, их гувернантке. У меня есть друзья, которые живут неподалеку от вас. И в Париже у меня есть тоже друзья. Мне всегда хотелось побывать в Париже.

Маркиза обернулась к мужу с сияющей, страшной улыбкой.

– Я тут говорила мадемуазель Поль, что, если ей что-нибудь понадобится, пусть она сразу же обращается ко мне.

– Разумеется, – подтвердил ее муж. – Я искренне сожалею о вашем несчастье. Хозяин отеля все мне рассказал.

Мадемуазель Поль снова присела, переводя взгляд с маркиза на его жену.

– Мой брат – это все, что у меня было в жизни, Господин Маркиз, – сказала она. – Госпожа Маркиза знает, что он для меня значил. Мне очень приятно сознавать, что я могу написать ей письмецо, она мне ответит, и тогда я не буду чувствовать себя такой одинокой и покинутой. Жизнь порою очень неласкова к человеку, когда он один на свете. Могу я пожелать вам счастливого пути, Госпожа Маркиза, и приятных воспоминаний о том, как вы здесь отдыхали? А главное, чтобы у вас не было никаких сожалений.

Мадемуазель Поль снова сделала книксен и, хромя, вышла из комнаты.

– Как она безобразна, бедняжка, – сказал маркиз. – Насколько я понял со слов хозяина, брат ее тоже был калека.

– Да...

Маркиза защелкнула сумочку. Взяла перчатки. Протянула руку за темными очками.

– Любопытная вещь, – говорил маркиз, пока они шли по коридору. – Такое часто передается по наследству. – Он остановился, на минуту замолчал, нажимая кнопку, чтобы вызвать лифт. – У меня есть один старинный друг, Ришар дю Буле, вы никогда с ним не встречались? Он был калека, такой же, каким, по-видимому, был и этот несчастный фотограф, однако, несмотря на это, его полюбила прелестная молодая девушка, абсолютно нормальная, и они поженились. У них родился сын, и у него оказалась такая же изуродованная ступня, как и у отца. Дурная кровь, никуда от этого не денешься.

Они вошли в кабину лифта, и дверца за ними захлопнулась.

– Вы уверены, что не хотите изменить свое решение и остаться здесь пообедать? Вы бледны, а путь нам предстоит неблизкий.

– Нет-нет, лучше поедем.

В холле собрались служащие отеля, чтобы попрощаться с маркизой, – хозяин, портье, консьерж, метрдотель.

– Приезжайте еще, Госпожа Маркиза, здесь вам всегда будут рады. Так было приятно вам служить. Без вас отель много потеряет.

– До свиданья... до свиданья.

Маркиза села в машину рядом с мужем. Они выехали с территории отеля и свернули на шоссе. Мыс, горячий песок пляжа, море – все это оставалось позади. А перед ней лежала длинная прямая дорога к дому, где она будет наконец в безопасности, где ее ждет покой. Покой?..

Перевод В. Салье

Поцелуй меня еще раз, незнакомец

Уйдя из армии, я, прежде чем где-нибудь обосноваться, некоторое время присматривался, потом нашел работу в Хампстеде, в гараже у подножия Хаверсток-Хилл, неподалеку от Чок-Фарм; она мне отлично подходила. Я всегда любил возиться с моторами, работал с ними и в армии – мне всегда легко давалось все, что связано с механикой.

По моим понятиям, ничего не могло быть лучше, чем лежать под легковушкой или грузовиком в засаленном комбинезоне, с гаечным ключом в руке и заниматься каким-нибудь старым болтом или гайкой, вдыхать запах машинного масла; кто-то заводит мотор, ребята вокруг меня стучат инструментами и что-то насвистывают. Я никогда не имел ничего против запаха или грязи. Моя старушка-мать обычно говаривала, когда я малышом слонялся с жирной консервной банкой в руках: «Ничего страшного, это чистая грязь», – так и с моторами.

Моим боссом в гараже был славный парень, добродушный, веселый; он видел, что я люблю свою работу. Сам он не слишком разбирался в механике и всегда поручал мне ремонтные дела, чем я был очень доволен.

Поселился я не у матери, она жила слишком далеко, почти на другом конце города, и я не видел смысла тратить полдня на дорогу туда и обратно. Я люблю, чтобы работа была у меня, так сказать, под боком. Я снял комнату у супругов Томпсон в десяти минутах ходьбы от моего гаража. Он занимался обувным ремеслом – наверное, его можно было назвать сапожником, – а миссис Томпсон готовила еду и прибиралась в квартире, расположенной прямо над мастерской. Обычно я питался вместе с ними – завтрак и ужин, у нас всегда был горячий завтрак, – и, поскольку кроме меня постояльцев у них не было, они относились ко мне как к члену семьи.

Я человек привычки. Люблю выкладываться на работе, а вернувшись домой, посидеть с газетой, покурить, немного послушать музыку по радиоприемнику, эстраду или что-нибудь в таком роде, и рано лечь спать. Девушками я никогда особенно не интересовался, даже когда служил в армии. А служил я на Ближнем Востоке, да к тому же в Порт-Саиде.

Нет, я был вполне доволен своей однообразной жизнью у Томпсонов, когда каждый следующий день ничем не отличался от предыдущего, до того вечера, когда это случилось. С тех пор все изменилось. Изменилось навсегда. Не знаю, не знаю...

Томпсоны отправились в Хайгейт навестить свою замужнюю дочь. Они спросили, не хочу ли я пойти с ними, но у меня как-то не было желания быть лишним, и поэтому, выйдя из гаража, я направился не домой, а к ближайшему кинотеатру и, взглянув на афишу, увидел, что идет что-то ковбойско-индейское – на афише был нарисован ковбой, который ножом выпускает кишки индейцу. Я такое люблю – что до вестернов, так я настоящий ребенок, – поэтому я заплатил фунт и два пенса и вошел в кинотеатр. Я протянул свою бумажку билетерше и сказал: «Последний ряд, пожалуйста», – люблю сидеть в самом конце зала, прислонясь головой к стене.

Вот тогда я и увидел ее. Непонятно зачем, но в некоторых из этих мест девушек одевают так, что делают из них настоящих мальчишек. Но из этой мальчишку сделать не удалось. У нее были медно-красные волосы, постриженные под пажа, – по-моему, это так называется, – синие глаза из тех, которые кажутся близорукими, но видят дальше, чем вы думаете, а по ночам становятся темными, почти черными; губы у нее были надутые, точно ей все надоело, и, чтобы заставить ее улыбнуться, ей надо подарить весь мир, кожа не веснушчатая, не белая, а более теплого и естественного цвета и походила на персик. Она была маленькой и стройной, бархатная куртка – синяя – плотно облегла фигуру, а шапочка на затылке едва прикрывала медно-красные волосы.

Я купил программку – не потому, что она была мне нужна, а чтобы задержаться перед занавесом, скрывавшим вход в зал, – и сказал ей:

– Что за фильм?

Она даже не взглянула на меня. Она просто смотрела в пустоту.

– Любительская поножовщина, – сказала она, – но у вас всегда есть возможность заснуть.

Я не мог не рассмеяться, хоть и видел, что она вполне серьезна и вовсе не разыгрывает меня.

– Реклама не из лучших, – сказал я, – а что если услышит ваш управляющий?

На этот раз она посмотрела на меня. Обратила в мою сторону свои синие глаза, все такие же безразличные, равнодушные, но я заметил в них нечто такое, чего не видел ни до, ни после, – что-то вроде лени, как если бы кто-то проснулся после долгого сна и рад увидеть вас рядом с собой. Такой блеск иногда можно видеть в глазах кошки, когда ее гладишь, а она мурлычет, сворачивается клубком и позволяет делать с собой все, что угодно. С мгновение она смотрела на меня, и в уголках ее рта играла едва заметная улыбка, затем надорвала мой билет и сказала:

– Мне не платят за рекламу. Мне платят за то, чтобы я вот так смотрела на вас и завлекала в зал.

Она раздвинула занавес и направила в темноту луч фонарика. Я не видел ни зги. Вокруг была сплошная чернота, как бывает всегда, пока не привыкнешь и не начнешь различать очертания сидящих в зале людей; на экране виднелись две огромные головы; какой-то парень говорил другому: «Если ты не выложишь все начистоту, я прошью тебя пулей», кто-то разбил оконную раму, и какая-то женщина закричала.

– По-моему, то, что надо, – сказал я и стал ощупью пробираться, чтобы сесть.

– Это не картина, а анонс на следующую неделю, – сказала она и, снова включив фонарик, провела меня к месту в последнем ряду за одно от прохода.

После нескольких анонсов показали кинохронику, затем какой-то парень стал играть на органе и скрывший экран занавес окрасился в красные, золотые и зеленые цвета – наверное, они считают, что за ваши деньги должны выложиться на полную катушку. Оглядевшись по сторонам, я увидел, что зал наполовину пуст, и решил, что девушка права – картина будет не ах, потому и народу так мало.

Перед тем как свет снова погас, она медленно прошла вниз по проходу. В руках у нее был поднос с мороженым, но она не давала себе труда предлагать его. Она шла словно во сне, и, когда стала подниматься по другому проходу, я окликнул ее.

– Есть за шесть пенсов? – спросил я.

Она посмотрела на меня через несколько сидений. Сперва ее взгляд прошел сквозь меня, как сквозь стекло, затем она меня узнала – на ее губах снова заиграла полуулыбка, а в глазах появилось то же ленивое выражение – и сзади подошла ко мне.

– Вафельное или в бумаге? – спросила она.

По правде говоря, мне не хотелось ни того ни другого. Я хотел что-нибудь купить лишь затем, чтобы задержать ее.

– А вы что посоветуете? – спросил я.

Она пожала плечами.

– В бумаге надольше хватит, – сказала она и, прежде чем я успел хоть что-то ответить, сунула мне в руку мороженое в бумажной обертке.

– Как насчет того, чтобы тоже съесть мороженого? – предложил я.

– Нет, благодарю, – сказала она. – Я видела, как его делают.

Она отошла, в зале стало темно, и я как полный дурак остался сидеть с большим шести-пенсовым мороженым в руках. Чертова штука переливалась через край обертки и капала мне на рубашку, поэтому, чтобы она не вывалилась мне на колени, пришлось как можно скорее засунуть ледяную массу в рот, при этом я отвернулся в сторону, так как кто-то сел рядом со мной на пустое место у прохода.

Наконец я доел мороженое, вытерся носовым платком и все внимание сосредоточил на разворачивающейся на экране истории. Это был самый что ни на есть вестерн: через прерии

тянулись повозки, на поезд с золотыми слитками нападала вооруженная банда и героиня ежеминутно меняла брюки на вечернее платье. Таким кино и должно быть, ни капли не похожим на реальную жизнь; но чем дольше я смотрел картину, тем яснее ощущал в воздухе легкий аромат, я не знал, что это было, откуда он шел, но он не исчезал. Справа от меня сидел мужчина, слева два места оставались пустыми, и уж конечно, он не доносился с передних рядов; не мог же я оглядываться по сторонам и принюхиваться.

Я не слишком-то большой любитель духов. Они часто бывают дешевыми и противными, но эти были не такими. Ничего сильного, затхлого, удушающего. Они напоминали аромат цветов, которые продают в Уэст-Энде в больших цветочных магазинах по три шиллинга за цветок – богатые парни покупают их для актрис; вдыхать его в этом мрачном старом кинотеатре, пропахшем табачным дымом, было чертовски приятно, он просто сводил меня с ума.

Наконец я повернул голову направо, оглянулся и понял, откуда он идет. Он шел от девушки, от билетерши; она стояла, облокотившись о барьер за моей спиной.

– Не вертитеесь. Вы попусту тратите фунт и два пенса. Смотрите на экран, – сказала она, но негромко, чтобы никто не услышал. Шепотом, для меня одного.

Я не мог не рассмеяться про себя. Какое нахальство! Теперь я знал, откуда исходит запах, и оттого картина стала доставлять мне еще большее удовольствие. Девушка будто сидела на одном из пустых мест рядом со мной, и мы вместе смотрели на экран.

Когда все кончилось и зажегся свет, я увидел, что просидел весь последний показ и что уже почти десять часов. Из зала уходили последние зрители. Я немного подождал, она появилась со своим фонариком и стала проверять, не уронил ли кто под сиденье перчатку или кошелек, что часто случается со зрителями, которые вспоминают об этом, только вернувшись домой; на меня она обратила не больше внимания, чем на грязную тряпку, которую никто бы не удосужился поднять.

Я стоял в заднем ряду один – зал был совершенно пуст, – и, подойдя ко мне, она сказала: – Отодвиньтесь, вы заслоняете проход.

Она осветила его фонариком, но там ничего не оказалось, только пустая пачка «плейерз», утром уборщицы уберут ее. Затем она выпрямилась, смерила меня взглядом и, сняв с затылка шапочку, которая так ей шла, обмахнулась ею как веером.

– Собираетесь здесь ночевать? – спросила она и, что-то насвистывая, пошла в сторону двери и скрылась за занавесом.

Это было каким-то безумием. Никогда еще меня так не забирала ни одна девушка. Когда следом за ней я вышел в вестибюль, она уже скрылась за задней дверью рядом с кассой и швейцар запирает двери на ночь. Я вышел на улицу и стал ждать. В чем-то я чувствовал себя дураком, ведь наверняка она выйдет с остальными, как это обычно делают девушки. Одна из них продала мне билет, на балконе тоже есть билетерши, кто-то, наверное, работает в гардеробе, все они будут хихикать, и у меня не хватит смелости подойти к ней.

Однако через несколько минут она вышла из кинотеатра одна. На ней был макинтош с поясом; она шла, засунув руки в карманы и без шляпы. Не оглядываясь по сторонам, она направилась вверх по улице. Я последовал за ней, боясь, что она оглянется и прогонит меня, но она быстро шла вперед, глядя прямо перед собой, и медно-красные волосы мальчика-пажа покачивались в такт ее движению.

Но вот она замедлила шаг, перешла улицу и остановилась на автобусной остановке. Там уже ждала очередь из пяти или шести человек, она не видела, как я пристроился в конце, а когда подошел автобус, первой вошла в него; я тоже вошел в автобус, не имея ни малейшего представления о том, куда он направляется, но ничуть об этом не беспокоясь. Она поднялась передо мной по ступенькам, села на заднее сиденье, зевнула и закрыла глаза.

Я сел рядом с ней боязливо, как котенок, – дело в том, что, как правило, я не делал ничего подобного и ожидал скандала. Когда подошедший кондуктор попросил заплатить за проезд, я сказал:

– Два по шесть пенсов, пожалуйста. – Я рассчитал, что она вряд ли едет до конца маршрута и этой суммы хватит и на ее и на мой проезд.

Он поднял брови – эти ребята иногда любят показать свое остроумие – и сказал:

– Смотрите не ударьтесь друг о друга, когда водитель сменит скорость. Он совсем недавно сдал на права. – Кондуктор, посмеиваясь, стал спускаться вниз, несомненно считая себя заправским остряком.

Звук его голоса разбудил девушку, она сонными глазами посмотрела на меня, посмотрела на билеты в моей руке – по цвету она, должно быть, догадалась, что они по шесть пенсов, – и, улыбнувшись первой настоящей улыбкой, какую я получил от нее в тот вечер, сказала безо всякого удивления:

– Привет, незнакомец.

Чтобы скрыть смущение, я вынул сигарету и предложил ей тоже, но она отказалась. Она снова закрыла глаза и приготовилась уснуть. Затем, видя, что на втором этаже автобуса нет никого, кроме парня в форме военного летчика, который склонился над газетой за несколько сидений перед нами, я протянул руку, положил ее голову себе на плечо и осторожно обнял за талию; при этом я, конечно, думал, что она отбросит мою руку и пошлет меня к черту. Но она этого не сделала. Она как бы усмехнулась про себя и, устроившись, словно сидела в кресле, сказала:

– Не каждый вечер я получаю бесплатный проезд и бесплатную подушку. Разбуди меня у подножия холма, до того как мы подъедем к кладбищу.

Я не знал, какой холм и какое кладбище она имеет в виду, но будить ее не собирался – нет, только не я. Я взял два билета по шесть пенсов и собирался сполна окупить свои деньги.

Так мы и тряслись в том автобусе, тесно прижавшись друг к дружке, и я подумал, что это куда приятнее, чем сидеть дома на кровати, читая футбольные новости, или проводить вечер с мистером и миссис Томпсон в доме их дочери в Хайгейте.

Вскоре я настолько осмелел, что прислонился виском к ее голове и обнял ее немного крепче, нет, не то чтобы слишком заметно, а так, чуть-чуть. Всякий поднявшийся на второй этаж автобуса принял бы нас за влюбленную парочку.

Потом, когда мы уже проехали на четыре пенса, я забеспокоился. Когда мы исчерпаем наш лимит в шесть пенсов, старый автобус не вернется назад; когда мы доберемся до конечной остановки, он останется там на ночь. Девушка и я окажемся неведомо где без надежды дождаться обратного автобуса, а в кармане у меня всего-навсего шесть шиллингов. На такси шести шиллингов не хватит, не говоря уже о чаевых. Кроме того, наверное, и такси-то уже не ходят.

Надо же мне было свалить такого дурака и не взять больше денег. Возможно, глупо было об этом беспокоиться, но я с самого начала действовал импульсивно, и если бы мне могло прийти в голову, чем обернется этот вечер, я бы пополюе набил бумажник. Я не часто выходил с девушкой и всегда терпеть не мог парней, которые не умеют обставить это как следует. Можно неплохо перекусить в одном из кафе самообслуживания – их теперь развелось достаточно много, – а если бы ей захотелось чего-нибудь покрепче кофе или оранжада, конечно, в такой поздний час это не слишком легко, что ж, ближе к дому я знал, куда пойти. Мой босс ходил в один паб, где можно было купить джин и в любое время прийти и выпить из собственной бутылки. Мне говорили, что так можно выпить в шикарных ночных клубах Уэст-Энда, но там за это вас заставят заплатить бешеные деньги.

Как бы то ни было, а я ехал в автобусе бог знает куда и рядом со мной сидела моя девушка – я называл ее «моя девушка», как если бы она действительно была моей и я за ней ухажи-

вал, – и у меня не было денег, чтобы отвезти ее домой. От волнения я заерзал на сиденье и стал рыться в карманах, надеясь, что мне повезет и я найду полкроны или хотя бы бумажку в десять шиллингов, про которые я совсем забыл. Наверное, своими движениями я потревожил ее, потому что она неожиданно дернула меня за ухо и сказала:

– Перестань раскачивать лодку.

Ну, я хочу сказать... мне это понравилось. Не могу объяснить почему. Прежде чем дернуть, она немного подержала мое ухо, будто ощупывала кожу, и осталась довольна, затем лениво оттянула его вниз. Такие вещи делают с детьми, а по тону, каким она сказала «перестань раскачивать лодку», можно было подумать, что она много лет знакома со мной и что мы едем с ней на пикник. Дружелюбно, по-приятельски, но приятнее, чем то и другое.

– Послушай, – сказал я, – мне очень жаль, но я поступил чертовски глупо. Я взял билеты до конечной остановки, потому что хотел посидеть рядом с тобой, и, когда нас там высадят, мы окажемся за многие мили от дома, а у меня в кармане только шесть шиллингов.

– У тебя есть ноги, разве не так? – сказала она.

– Что значит – у меня есть ноги?

– Они предназначены для того, чтобы ходить. Во всяком случае мои, – ответила она.

Тогда я понял, что все это неважно, что она не сердится и вечер удался на славу. Я сразу повеселел, крепко обнял ее, давая понять, какая она молодчина – большинство девушек разорвало бы меня на куски, – и сказал:

– Насколько мне известно, мы еще не проехали кладбище. Это имеет большое значение?

– Ах, будут другие, – сказала она. – Я не привередлива.

Я не знал, как понять ее слова. Я думал, что она хочет выйти на остановке у кладбища, потому что от этой остановки ближе всего до ее дома, ну как вы говорите: «Высадите меня около Вулвортс», если живете неподалеку. Некоторое время я размышлял над этим, а потом сказал:

– Как это – будут другие? Их не часто видишь на автобусных маршрутах.

– Я говорила вообще, – ответила она. – Не трудись говорить, мне больше нравится, когда ты молчишь.

Она произнесла это так, что ее слова не показались мне пощечиной. Я знал, что она имела в виду. Приятно разговаривать с людьми вроде мистера и миссис Томпсон за ужином; вы рассказываете, как прошел день, один из вас читает вслух несколько строк из газеты, а другой говорит: «Надо же, подумать только», – наконец кто-то начинает зевать, а кто-то говорит: «Кто идет спать?» Довольно славно поговорить с моим боссом за кружкой пива эдак в полдень или часа в три, когда нечего делать: «А я так думаю, что эти типы в правительстве устраивают в стране такую же кутерьму, как те, что были до них», – после чего нас прервут, чтобы заправиться бензином. Еще я люблю поговорить со своей старушкой-матерью, что случается не очень часто; она вспоминает, как шлепала меня, когда я был ребенком, а я сижу на том же месте, что и тогда, за столом на кухне, она печет печенье и дает мне обрезки теста, приговаривая: «Ты всегда любил обрезки». Вот это разговор, вот это беседа.

Но с моей девушкой я разговаривать не хотел. Хотел просто обнимать ее, что я и делал, хотел уткнуться подбородком в ее волосы – это она и имела в виду, говоря, что ей нравится, когда я молчу. Мне это тоже нравилось.

Меня немного беспокоило еще одно – могу ли я поцеловать ее до того, как автобус доедет до конечной остановки и нас высадят. Ведь одно дело обнять девушку и совсем другое – поцеловать. На то, чтобы разогреться, требуется некоторое время. Вы начинаете с того, что впереди у вас длинный вечер, и, когда вы уже побывали в кино или на концерте, да еще поели и выпили, считайте, вы уже знакомы; обычно все заканчивается поцелуями и объятиями – девушки сами ждут этого. По правде говоря, я никогда особенно не любил целоваться. До армии я встречался с одной девушкой, она была вполне что надо и нравилась мне, но зубы у нее слегка выступали

вперед, и даже если вы закроете глаза и забудете, кого целуете, то все равно будете знать, что это она, ничего тут было не поделать. Милая старушка Дорис из соседнего дома. С другими бывает еще хуже. Когда вы в форме, то сталкиваетесь с ними на каждом шагу. Они слишком напористы, они охмуряют вас, и вы чувствуете, что им некогда ждать, пока парень сам обратит на них внимание. Не скрою, от них меня всегда тошнило.

Наверное, я родился слишком нервным. Не знаю.

Но тогда, в тот вечер в автобусе, все было иначе. Не знаю, что так влекло меня к этой девушке: сонные глаза, медно-красные волосы, то, что она вроде бы не обращала на меня внимания и вместе с тем я ей нравился; раньше я не встречал ничего подобного. Я сказал себе: «Ну так что, рискнуть или подождать?» По тому, как шофер вел автобус, а кондуктор насвистывал внизу и желал выходящим доброй ночи, я догадывался, что конечная остановка уже недалеко; сердце у меня усиленно билось, шея под воротником горела – чертовски глупо, всего-то один поцелуй, не убьет же она меня – и тогда... Это было похоже на ныряние с вышки. «Что ж, начнем», – подумал я и, наклонившись, повернул к себе ее лицо, приподнял подбородок и крепко поцеловал ее.

Будь я поэтической натурой, то случившееся тогда назвал бы откровением. Но я не такой и скажу только, что она ответила мне долгим поцелуем и он нисколько не был похож на поцелуй Дорис.

Потом автобус резко остановился и кондуктор монотонно прогнусавил: «Прошу всех выйти». Откровенно говоря, мне хотелось свернуть ему шею.

Она стукнула меня по колену:

– Пойдем, двигайся.

Я, покачиваясь, встал и буквально скатился вниз. Она спустилась следом за мной, и вот мы стоим на улице. Начинается дождь, не сильный, но достаточный, чтобы его заметить и захотеть поднять воротник пальто; мы находились в самом конце большой широкой улицы с опустевшими, неосвещенными магазинами по обеим сторонам. Она казалась мне концом света, и действительно, слева от нее поднимался холм, у подножия которого раскинулось кладбище. Я различил металлическую ограду, а за ней белые каменные надгробия; кладбище поднималось до середины холма. Оно тянулось на акры и акры.

– Проклятие, – сказал я, – это место ты и имела в виду?

– Возможно, – сказала она, рассеянно глядя через плечо, затем взяла меня за руку. – Как насчет того, чтобы сперва выпить по чашке кофе?

Сперва?... Что она имела в виду – выпить кофе перед долгой дорогой домой или здесь и был ее дом? Собственно, это не имело значения. Было только начало двенадцатого. Я бы вполне удовольствовался чашкой кофе и бутербродом. На другой стороне улицы находились стойка и киоск, который еще не был закрыт. Мы направились к нему; там уже стояли водитель автобуса, кондуктор и парень в форме военно-воздушных сил, который сидел перед нами на втором этаже автобуса. Они заказывали бутерброды с чаем, мы тоже заказали бутерброды, только с кофе. Я уже замечал, что в таких местах они очень аппетитные, с добрым куском ветчины между двумя ломтиками белого хлеба, а кофе всегда очень горячий и налит до самых краев. «На такое не жаль потратить шесть шиллингов», – подумал я.

Я заметил, что моя девушка смотрит на парня в форме военного летчика, смотрит как-то задумчиво, словно видела его раньше; он тоже посмотрел на нее. Я не мог винить его за это. Да я особенно и не возражал; когда выходишь с девушкой, то чувствуешь своего рода гордость, если другие парни обращают на нее внимание. А на такую нельзя было не обратить внимания.

Затем она демонстративно повернулась к нему спиной, облокотилась на стойку и стала медленно потягивать горячий кофе; я стоял рядом с ней и делал то же самое. Мы вовсе не были заносчивы; мы были довольно любезны и вежливы, всем сказали «добрый вечер», но всякий сразу бы понял, что мы вместе, моя девушка и я, что мы сами по себе. Мне это нравилось.

Странно, но это вселяло в меня чувство безопасности. Для них мы вполне могли быть мужем и женой, которые возвращаются домой.

Они над чем-то подшучивали – те трое; парень принес на всех бутерброды и чай, но мы к ним не присоединились.

– В этой форме вам надо быть осторожным, – сказал кондуктор военному летчику, – или вы кончите, как те, другие. К тому же слишком поздно, чтобы ходить одному.

Они рассмеялись. Я не понял над чем, но решил, что это была какая-то шутка.

– Я уже давно проснулся, – сказал парень в форме, – и, увидев преступника, сразу узнаю его.

– Интересно, другие тоже так говорили? – заметил водитель автобуса. – Нам ведь известно, что с ними стало. Просто дрожь пробирает. Хотелось бы мне знать, почему выбирают именно военных летчиков?

– Из-за цвета формы, – сказал парень. – Ее хорошо видно в темноте.

Они продолжали шутить в том же духе. Я закурил сигарету, но моя девушка отказалась.

– За все неладное, что произошло с женщинами, я виню войну, – сказал малый за стойкой, вытирая чашки и вешая их у себя за спиной. – По-моему, многие из них просто рехнулись и перестали видеть разницу между тем, что хорошо и что плохо.

– Нет, не то, во всем виноват спорт, – сказал кондуктор. – Развивает у них мышцы, которые вовсе не для того были им даны. Вот, к примеру, две мои младшие. Девочка без труда свалит с ног любого мальчишку, ни дать ни взять – маленький бычок. Здесь стоит призадуматься.

– Правильно, – сказал водитель, – равноправие полов, кажется, они это так называют? А все дело в выборах, нам нельзя было разрешать им принимать участие в выборах.

– Чушь, – сказал парень в форме, – не рехнулись же они оттого, что им разрешили голосовать. Под шкуркой женщины всегда были такими. На Востоке знают, как с ними обращаться. Там их держат под замком. Вот вам и ответ. Тогда с ними не будет никаких хлопот.

– Не знаю, что сказала бы моя старуха, если бы я попробовал посадить ее под замок, – сказал водитель.

Они снова рассмеялись.

Моя девушка дернула меня за рукав, и я увидел, что она допила свой кофе. Она показала рукой на улицу.

– Хочешь пойти домой? – спросил я.

Глупо. Так или иначе, но мне хотелось, чтобы другие думали, что мы идем домой.

Она не ответила. Просто засунула руки в карманы макинтоша и отошла от стойки. Я пожелал остальным доброй ночи и пошел за ней, успев заметить, что парень в форме пристально смотрит ей вслед поверх своей чашки.

Она направилась вниз по улице. По-прежнему моросило, и унылый дождь наводил на мысль, что хорошо бы сейчас сидеть в каком-нибудь уютном месте у огня. Она перешла улицу, остановилась у ограды кладбища, подняла на меня глаза и улыбнулась.

– Ну и что теперь? – спросил я.

– Надгробные плиты бывают плоскими, – сказала она, – иногда.

– Что из того? – с некоторым замешательством спросил я.

– На них можно лечь, – сказала она.

Она повернулась и неторопливо пошла дальше, глядя на ограду, затем у секции с двумя погнутыми прутьями взглянула на меня и снова улыбнулась.

– Всегда одно и то же, – сказала она. – Когда хорошенько поищешь, то обязательно найдешь лазейку.

Быстро, как нож, разрезающий масло, она проскользнула через отверстие в ограде.

– Подожди, я ведь не такой маленький, как ты, – сказал я.

Но она уже направилась дальше, петляя между могилами. Я, пытаясь, с трудом протиснулся между прутьями ограды, затем осмотрелся – и, о господи, она уже лежала на плоской могильной плите, заложив руки за голову и закрыв глаза.

Не то чтобы я чего-то ждал. То есть я просто собирался проводить ее домой. Назначить ей свидание на следующий вечер. Конечно, поскольку было поздно, мы могли бы немного задержаться перед ее дверью. Ей вовсе необязательно было сразу входить в дом. Но лежать вот так на могильной плите... едва ли это было естественно.

Я сел и взял ее за руку.

– Ты промокнешь, лежа здесь, – сказал я. Глупо, но ничего другого я не мог придумать.

– Я привыкла, – сказала она.

Она открыла глаза и посмотрела на меня. За оградой горел уличный фонарь, поэтому было не очень темно, к тому же, несмотря на дождь, ночь была не черной, а, скорее, сумрачной. Мне бы хотелось сказать о ее глазах, но я не слишком речист. Вы знаете, как светятся в темноте люминесцентные часы. Когда-то у меня были такие. Вы просыпаетесь ночью, и они, как друг, всегда у вас на руке. Так светились и глаза моей девушки, но они были к тому же еще и красивыми. И уже не походили на глаза ленивой кошки. В них были любовь и нежность, а еще грусть, все одновременно.

– Привыкла лежать под дождем? – спросил я.

– Пришлось привыкнуть, – ответила она. – В приюте нам дали название. Во время войны нас обычно называли маленькими смертниками.

– Ты не была эвакуирована? – спросил я.

– Это не для меня, – сказала она. – Я нигде не могла оставаться. Всегда возвращалась.

– Родители живы?

– Нет. Оба погибли, когда бомба уничтожила наш дом. – В ее голосе не было ничего трагического. Он звучал совершенно обычно.

– Какое несчастье, – сказал я.

Она не ответила. Я сидел, держа ее за руку и ожидая той минуты, когда наконец поведу ее домой.

– Ты давно работаешь в кинотеатре? – спросил я.

– Около трех недель, – сказала она. – Долго я нигде не задерживаюсь. Скоро снова куда-нибудь отправлюсь.

– А в чем дело?

– В неугомонности, – сказала она.

Вдруг она подняла руки и взяла в них мое лицо. Она сделала это очень нежно, а не так, как вы могли бы подумать.

– У тебя хорошее, доброе лицо, – сказала она. – Оно мне нравится.

Это было так странно. От ее слов мне стало легко, я уже не чувствовал волнения, как в автобусе, и про себя подумал: «Может быть, это оно и есть, наконец-то я нашел девушку, которая мне действительно нужна. Но не на один вечер, не от случая к случаю. Навсегда».

– Приятель есть? – спросил я.

– Нет, – сказала она.

– Я имею в виду постоянный.

– Нет и не было.

Забавно было так разговаривать на кладбище, притом что она лежала, как какая-нибудь фигура, вырезанная на старом надгробии.

– У меня тоже нет девушки, – сказал я. – Никогда об этом не думал, как другие парни. Наверное, это чудно. К тому же я очень люблю свою работу. Работаю механиком в гараже, знаешь, чиню все, что ездит. Платят хорошо. Успел кое-что скопить, да и матери посылаю. Живу в маленькой берлоге. Мистер и миссис Томпсон приятные люди, мой босс в гараже тоже

славный малый. Я никогда не чувствовал себя одиноким, да и сейчас не чувствую, но, увидев тебя, я задумался. Знаешь, теперь у меня все будет по-другому.

Она ни разу не прервала меня, и казалось, что я думаю вслух.

– Очень приятно возвращаться домой к Томпсонам, – сказал я, – людей добрее просто представить невозможно. Еда тоже хорошая. После ужина мы немного болтаем и слушаем приемник. Но знаешь, теперь мне уже нужно другое. Я хочу приходить и, когда закончатся сеансы, забирать тебя из твоего кинотеатра, а ты будешь стоять у двери зала и смотреть, как выходят зрители, ты мне подмигнешь, что, мол, собираешься переодеться, и я тебя подожду. Потом ты выйдешь на улицу, как сегодня, но пойдешь не сама по себе, а возьмешь меня под руку, и, если захочешь снять пальто, я его понесу – и его, и, может быть, какой-нибудь пакет или что там у тебя будет. И мы пойдем ужинать в «Кронер Хауз» или куда-нибудь еще поблизости. Столик заранее заказан, нас все знают, ну, официантки и остальные; они припасут для нас что-нибудь особенное.

Я отчетливо видел все, о чем говорил. Столик с табличкой «занято». Буфетчицы приветливо кивают нам: «Есть яйца под соусом карри». Мы идем взять подносы, моя девушка держится, будто вовсе меня не знает, а я смеюсь про себя.

– Ты понимаешь, что я имею в виду? – спросил я. – Это не просто быть друзьями, это гораздо большее.

Не знаю, слышала ли она меня. Она лежала, глядя на меня снизу вверх, и время от времени все так же нежно касалась пальцами то моего уха, то подбородка. Можно было подумать, что она жалеет меня.

– Мне бы хотелось покупать тебе разные мелочи, – сказал я, – иногда цветы. Так приятно видеть девушку с цветком на платье; это придает чистоту и свежесть. А в особых случаях, в день рождения или на Рождество, ты увидишь в витрине что-нибудь такое, что тебе очень понравится, но не захочешь заходить в магазин и справляться о цене. Может быть, брошку или браслет, ну, что-то красивое. И когда тебя не будет со мной, я зайду и куплю это, цена будет больше моего недельного заработка, но я и глазом не моргну.

Я так и видел выражение ее лица, когда она разворачивает пакет. Она надевает то, что я купил, мы вместе выходим из дома, она одета специально по случаю, нет, конечно, не вызывающе, но так, что все обращают на нее внимание. Кокетливо, что ли.

– Наверное, не стоит говорить о женитьбе, – сказал я, – во всяком случае сейчас, когда все так неопределенно. Парню наплевать на неопределенность, не то что девушке, для нее это слишком трудно. Ютиться в двух маленьких комнатах, стоять в очереди за пайком и все такое. Они, как и мы, любят свободу и хотят иметь собственную работу, а не сидеть в четырех стенах. Но то, о чем говорили около кафе, сущий вздор. Что девушки нынче не те, какими были раньше, и что виновата в этом война. Что же до того, как с ними обходятся на Востоке, то это я видел собственными глазами. Наверное, тот парень хотел выглядеть заправским остряком – в военной авиации все они отъявленные нахалы, – но, по-моему, говорить так просто глупо.

Она вытянула руки по бокам и закрыла глаза. Надгробие было уже совсем мокрым. Я беспокоился за нее; конечно, на ней был макинтош, но ее тонкие чулки и туфли насквозь промокли.

– Ты ведь не служил в военной авиации? – сказала она.

Как странно. Ее голос неожиданно сделался жестким. Резким и совсем другим. Словно ее что-то встревожило, даже испугало.

– Вот уж нет, – сказал я. – Я служил в ремонтной бригаде. Там были нормальные ребята. Никакого зазнайства и прочей чепухи. С ними всегда знаешь, на каком ты свете.

– Я рада, – сказала она. – Ты хороший и славный. Я рада.

Я подумал, что, может быть, она знала парня из военно-воздушных сил, который ее бросил. Буйные малые – те из них, с которыми мне приходилось сталкиваться. И я вспомнил,

как она смотрела на юнца, который пил чай за стойкой. Как-то задумчиво, точно она о чем-то вспомнила. Но мне не хотелось думать о том, что ее кто-то обижает.

– А что тебе в них не нравится? – спросил я. – Что они тебе сделали?

– Они разрушили мой дом.

– Это были немцы, а не наши.

– Все равно они убийцы, разве нет? – сказала она.

Я смотрел, как она лежит на надгробии; в ее голосе уже не было жесткости, с какой она спросила, не служил ли я в военно-воздушных силах, теперь в нем звучала усталость, грусть и какое-то странное одиночество. У меня засосало под ложечкой, и мне захотелось сделать чертовски глупую вещь: взять ее к себе домой к мистеру и миссис Томпсон и сказать миссис Томпсон (она добрая душа и не стала бы возражать): «Послушайте, это моя девушка. Позаботьтесь о ней». Тогда я бы знал, что она в безопасности, что с ней все будет в порядке и никто ее не обидит. Я вдруг испугался именно этого, что кто-нибудь придет и обидит мою девушку.

Я наклонился, обнял ее одной рукой, поднял и почти прижал к себе.

– Послушай, – сказал я, – идет сильный дождь. Я собираюсь отвести тебя домой. На этом мокром камне ты насмерть простудишься.

– Нет, – сказала она, положив руки на мои плечи, – домой меня никто и никогда не отводит. Ты вернешься к себе один.

– Я не брошу тебя здесь, – сказал я.

– Нет, я хочу, чтобы ты так и сделал. Если откажешься, я рассержусь.

Я в недоумении уставился на нее.

В призрачном ночном свете ее лицо казалось немного странным и бледнее, чем раньше, но оно было прекрасно, о господи, оно было прекрасно. Я не могу сказать иначе.

– Что ты хочешь, чтобы я сделал? – спросил я.

– Я хочу, чтобы ты оставил меня здесь, ушел и не оглядывался, – сказала она, – как те, что ходят во сне, их называют лунатиками. Возвращайся под дождем. На это у тебя уйдет несколько часов. Но ничего: ты молодой, сильный и у тебя длинные ноги. Возвращайся в свою комнату, где бы она ни была, ложись в постель, усни, а утром проснись, позавтракай и отправляйся на работу, как всегда.

– А как же ты?

– Обо мне не беспокойся. Просто уходи.

– Можно мне зайти за тобой в кино завтра вечером? Может это быть похожим на то, о чем я тебе говорил, ну... на что-то постоянное?

Она не ответила. Только улыбнулась. Она сидела совершенно неподвижно и смотрела мне в лицо; затем закрыла глаза, откинула голову и сказала:

– Поцелуй меня еще раз, незнакомец.

Я ушел так, как она сказала. Я ни разу не оглянулся. Протиснулся сквозь ограду кладбища и вышел на дорогу. Казалось, вокруг никого не было, кафе у автобусной остановки уже закрылось.

Я пошел по тому же пути, каким нас привез автобус. Впереди тянулась бесконечно длинная, прямая дорога. Наверное, какая-нибудь Хай-стрит. По обеим ее сторонам были магазины, и вела она на северо-восток от Лондона, туда, где я никогда раньше не бывал. Я по-настоящему заблудился, но это не имело значения. Я чувствовал себя лунатиком, как она и сказала.

Я все время думал о ней. Пока шел, я видел перед собой только ее лицо. В армии это бывает – когда девушка так забирает парня, что он почти ничего не видит, не слышит и не знает, что делает; я считал это пустыми выдумками, думал, что такое случается только с пьяными, теперь же я понял, что это правда и что это случилось со мной. Я больше не беспокоился о том, как она доберется домой; она просила меня не беспокоиться и, наверное, жила где-то

поблизости, иначе не заехала бы так далеко, хоть и нелепо проделывать такой путь до работы. Возможно, со временем она обо всем рассказала бы мне. Я не стал бы ничего у нее выведывать. Одно я решил твердо – следующим вечером забрать ее из кинотеатра. И ничто не помешало бы мне это сделать. Время до десяти вечера покажется мне целой вечностью.

Я все шел под дождем, пока мне не удалось остановить проходивший мимо грузовик; водитель подвез меня на добрую часть пути, пока не свернул налево в противоположном направлении. Я вышел из машины и пошел дальше. До дому я добрался, наверное, часа в три.

В обычном состоянии я бы испытывал неловкость, стуча в дверь, чтобы мистер Томпсон впустил меня, к тому же такого никогда не случалось, но теперь все во мне светилось любовью к моей девушке и я больше ни о чем не думал. Наконец он спустился и впустил меня. Мне пришлось позвонить несколько раз, прежде чем мистер Томпсон услышал, и вот он здесь, посеревший от сна бедный старикан в помятой пижаме.

– Что с вами случилось? – спросил он. – Мы беспокоились, моя жена и я. Мы думали, вас сбила машина. Мы вернулись и увидели, что дом пуст, а ваш ужин не тронут.

– Я ходил в кино, – сказал я.

– В кино? – Он удивленно взглянул на меня. – Кино заканчивается в десять часов.

– Знаю, – сказал я. – Потом я пошел прогуляться. Извините. Спокойной ночи.

Я поднялся по лестнице в свою комнату, оставив доброго старика, который, что-то бормоча себе под нос, запирает дверь на засов, когда услышал, как миссис Томпсон спрашивает из спальни:

– В чем дело? Это он? Он пришел домой?

Я причинил им беспокойство, и мне следовало пойти извиниться, но я не мог, мои извинения прозвучали бы неестественно, поэтому я захлопнул свою дверь, сбросил одежду и лег в постель, при этом меня не покидало чувство, будто моя девушка по-прежнему рядом со мной в темноте комнаты.

На следующее утро за завтраком они были непривычно сдержанны, мистер и миссис Томпсон. На меня они не смотрели. Миссис Томпсон молча подала мне копченую рыбу, он не отрывал глаз от газеты.

Я съел свой завтрак и сказал:

– Надеюсь, вы приятно провели вечер в Хайгейте?

Миссис Томпсон слегка поджала рот и сказала:

– Очень приятно, благодарю вас, в десять мы уже были дома.

Она тихонько хмыкнула и налила мистеру Томпсону очередную чашку чая.

Мы снова замолчали, некоторое время стояла полная тишина. Наконец миссис Томпсон спросила:

– Вы будете ужинать сегодня вечером?

– Нет, не думаю – у меня встреча с приятелем, – ответил я и тут же заметил, что старый добряк смотрит на меня поверх очков.

– Если вы собираетесь поздно вернуться, – сказал он, – пожалуй, стоит дать вам ключ.

Он снова принялся читать газету. Они были явно обижены тем, что я им ничего не рассказал и не сообщил, куда иду.

Я отправился на работу. В тот день в гараже было много дела, одно задание за другим, и в любое другое время я бы не имел ничего против этого. Я любил, когда день целиком загружен, часто работал сверхурочно, но сегодня я хотел уйти, пока не закроются магазины; с тех пор как мне в голову пришла одна мысль, я не думал ни о чем другом.

Было уже почти половина пятого, когда ко мне подошел мой босс и сказал:

– Я обещал доктору, что он получит свой «остин» сегодня вечером. Сказал, что ты все закончишь к половине восьмого. Все будет в порядке, так ведь?

У меня упало сердце. Я рассчитывал уйти пораньше, чтобы успеть сделать то, что задумал. Я быстро прикинул, что, если босс отпустит меня сейчас, я зайду в магазин, пока его не закрыли, затем вернусь и займусь «остинком». Поэтому я сказал:

– Я не против того, чтобы задержаться, но мне надо на полчаса отлучиться, если вы будете здесь. Я хочу кое-что купить до закрытия магазинов.

Он сказал, что ему это подходит, я снял комбинезон, вымылся, надел пальто и пошел в сторону магазинов у подножия Хаверсток-Хилл. Я знал, который из них мне нужен. Ювелирный магазин, где мистер Томпсон обычно чинил свои часы; там продавали не какой-нибудь хлам, а добротные вещи: серебряные рамы, ножевые изделия, столовое серебро.

Конечно, там были и кольца, и браслеты, но мне они не нравились. Все девушки, служившие в женском батальоне, носили браслеты с амулетом, это было вполне обычно. Я все смотрел на витрину и вдруг увидел то, что мне было нужно, в самой глубине.

Это была брошь. Совсем маленькая, немногим больше ногтя большого пальца, но с красивым синим камнем; формой она походила на сердце. Это меня и привлекло – форма. Я пригляделся, но бирки не увидел, это значило, что стоит она недешево, и все же я вошел в магазин и попросил показать ее. Продавец вынул брошь из витрины, протер ее и слегка повернул из стороны в сторону; я так и видел брошь на платье или джемпере моей девушки и понял, что это как раз то, что надо.

– Я беру ее, – сказал я и лишь затем спросил о цене.

Продавец назвал ее, и у меня слегка перехватило дыхание, но я достал бумажник и сосчитал купюры. Он положил сердечко в футляр, завернул его в бумагу – получился аккуратный пакетик, перевязанный цветной тесьмой. Я понимал, что вечером до ухода с работы мне придется попросить у босса аванс, но он славный малый и, конечно, не откажет.

Надежно спрятав пакетик для моей девушки в нагрудный карман, я немного постоял перед витриной магазина; церковные часы пробили без четверти пять. Еще оставалось время заглянуть в кинотеатр и убедиться, что она не забыла о назначенном на вечер свидании, затем я бегом вернусь в гараж и закончу «остин» к обещанному времени.

Когда я подошел к кинотеатру, сердце мое билось, как кузнечный молот, и я почти не мог глотать. Я все время рисовал в воображении, как она стоит перед входом в зал в своем бархатном жакете и в шапочке, сдвинутой на затылок.

Около кинотеатра выстроилась небольшая очередь, и я увидел, что программа изменилась. Афиша вестерна с ковбоем, вонзающим нож в кишки индейца, исчезла, и вместо нее появилась афиша, изображающая целую толпу танцующих девушек, перед которыми ходил голем парень с тростью в руке. Это был мюзикл.

Я вошел и, не подходя к кассе, направился к портъере, где должна была стоять она. Билетерша действительно стояла на своем месте, но это была не она. Это была крупная, высокая девушка, она выглядела довольно глупо в этой одежде и пыталась делать два дела одновременно: отрывать контрольки с билетов и светить в зал своим фонариком.

Я немного подождал. Наверное, они поменялись местами и моя девушка пошла на балкон. Когда последняя группа зрителей вошла в зал и она ненадолго освободилась, я подошел к ней и сказал:

– Извините, вы не знаете, где я могу поговорить с другой молодой леди?

Она взглянула на меня.

– Какой другой молодой леди?

– С той, которая была здесь вчера вечером, с медно-красными волосами.

Она посмотрела на меня более внимательно, даже подозрительно.

– Сегодня она не показывалась, – сказала она. – Я ее заменяю.

– Не показывалась?

– Нет. Странно, что вы спрашиваете. Вы не единственный. Недавно здесь была полиция. Они разговаривали с управляющим и швейцаром, пока что мне никто ничего не рассказывал, но думаю, произошла какая-то неприятность.

Мое сердце забилося по-другому. Не взволнованно, а неровно, что ли. Как тогда, когда кто-то заболевает и попадает в больницу... неожиданно.

– Полиция? – спросил я. – Зачем они сюда приходили?

– Я же вам сказала, что не знаю, – ответила она. – Но это имело к ней какое-то отношение, управляющий отправился вместе с ними в полицию и еще не вернулся. Сюда, пожалуйста, балкон налево, партер направо.

Я так и стоял там, не зная, что делать. Пол точно ушел у меня из-под ног.

Высокая девушка оторвала контрольку еще с одного билета и спросила меня через плечо:

– Она была вашей подругой?

– Что-то вроде того, – ответил я. Я не знал, что сказать.

– Так вот, если хотите знать мое мнение, у нее было не все в порядке с головой, и я вовсе не удивлюсь, если она наложила на себя руки и ее нашли мертвой. Нет-нет, мороженое продается в перерыве, после журнала.

Я вышел из кинотеатра и остановился на улице. Очередь за билетами росла на глазах, в ней были и дети, взволнованные, шумные. Я проскользнул мимо и пошел вверх по улице. Голова у меня слегка кружилась, к горлу подступала тошнота. С моей девушкой что-то случилось. Теперь я точно знал это. Поэтому она и хотела отделаться от меня вчера вечером, там, на кладбище. Поэтому она и разговаривала так странно и казалась такой бледной; а теперь ее нашли лежащей на могильной плите у ограды.

Если бы я не ушел и не оставил ее, с ней было бы все в порядке. Если бы я остался с ней еще минут на пять, я бы уговорил ее согласиться со мной, проводил бы домой, она бы забыла свои фантазии и была сейчас в кинотеатре, проводила бы зрителей на их места.

Но, возможно, все было не так плохо, как я боялся. Может быть, она потеряла память и ее нашли, когда она брела неизвестно куда, отвели в полицию, потом выяснили, где она работает, и вызвали управляющего, чтобы тот подтвердил ее слова. Если я пойду в отделение полиции и спрошу там, может быть, мне скажут, что случилось, я мог бы объяснить, что это моя девушка, что мы часто встречаемся, и даже если она меня не узнает, неважно, я все равно буду стоять на своем. Но я не мог подвести своего босса и должен был вернуться, чтобы закончить ремонт «остина», и лишь потом отправиться в полицию.

Я совсем упал духом и вернулся в гараж, едва сознавая, что делаю. Впервые за все время запах этого места вызвал у меня чисто физическое отвращение... машинное масло, бензин; какой-то парень с ревом заводил мотор, прежде чем вывести свою машину, и огромное облако дыма вылетело из выхлопной трубы, наполняя всю мастерскую зловонием.

Я взял свой комбинезон, надел его, собрал инструменты и занялся «остином»; все это время меня не оставляла мысль – что же случилось с моей девушкой, сидит ли она сейчас в полиции, растерянная, одинокая, или лежит где-нибудь... мертвая. Как и ночью, я неотступно видел ее лицо.

На подготовку «остина» к дороге у меня ушло полтора часа, не больше, я заправил его бензином, развернул ветровым стеклом к выезду. К концу работы я смертельно устал, пот заливал мне лицо. Я наспех умылся, надел пиджак и нащупал пакетик в нагрудном кармане. Я вынул его и осмотрел – такой аккуратный, перевязанный тесьмой, – затем снова положил в карман и не заметил, как вошел мой босс, – я стоял спиной к двери.

– Купил, что хотел? – спросил он, улыбаясь.

Он был отличный парень, никогда не выходил из себя, и мы с ним прекрасно ладили.

– Да, – ответил я.

Но мне не хотелось говорить об этом. Я сказал ему, что работа закончена и «остин» можно забирать. Я пошел с ним в контору, чтобы он отметил выполнение работы и сверхурочные. Он предложил мне сигарету из пачки, которая лежала на его столе рядом с вечерней газетой.

– Я смотрю, Леди Лак выиграла, – сказал он. – За неделю я в прибыли на пару фунтов. Он записал мою работу в книгу учета и подсчитал оплату.

– Повезло, – сказал я.

– Просто поставил наудачу, – сказал он.

Я не ответил. Я не любитель выпить, но сейчас мне это было необходимо. Я отер лоб платком. Я хотел, чтобы он занялся своими цифрами, пожелал мне доброй ночи и отпустил меня.

– Еще один бедолага схлопотал это, – сказал он. – Уже третий за три недели, и тоже с распоротым животом, как остальные. Сегодня утром умер в больнице. Словно кто порчу навел на служащих в королевских военно-воздушных силах.

– Что это было, реактивный самолет? – спросил я.

– Самолет? – повторил он. – Какой, к черту, самолет! Убийство. Бедному малому вспороли живот. Ты что, газет не читаешь? Это третий за третью неделю, и все одно к одному, все парни из военной авиации, и всякий раз их находят около какого-нибудь кладбища. Я только что говорил малому, который приходил за бензином, что не только мужики сходят с катушек и становятся сексуальными маньяками, но и женщины тоже. Но эту скоро поймают, вот увидишь. В газетах пишут, что на нее уже вышли и скоро арестуют. Да и пора, а то того и гляди еще один бедняга получит удар в живот.

Он захлопнул свою книгу и засунул карандаш за ухо.

– Выпить хочешь? – спросил он. – У меня есть бутылка джина в шкафу.

– Нет, – сказал я, – нет, благодарю. У меня... у меня свидание.

– Ладно, – улыбаясь, сказал он, – желаю хорошо повеселиться.

Я пошел по улице и купил газету. Об убийстве писали то, что он говорил. Сообщение было помещено на первой странице. В нем говорилось, что, должно быть, это произошло около двух часов ночи. Молодой парень из военно-воздушных сил, на северо-востоке Лондона. Ему удалось добраться до телефонной будки и позвонить в полицию; когда прибыли полицейские, его нашли на полу будки.

В машине «скорой помощи» он перед смертью сделал заявление. Он сказал, что его позвала девушка, он пошел за ней, думая, что это небольшое любовное приключение, – незадолго до того он видел, как она за стойкой пила кофе с другим парнем, – и решил, что она бросила того, другого, и положила глаз на него, а потом она нанесла ему удар прямо в живот.

В газете говорилось, что он подробно описал ее и что в полиции будут рады, если мужчина, с которым девушку видели раньше, придет и поможет в ее опознании.

Газета была мне больше не нужна. Я бросил ее. Я ходил по улицам, пока не устал, и, когда решил, что мистер и миссис Томпсон уже легли спать, пошел домой, нащупал ключ, который висел на веревке в почтовом ящике, вошел внутрь и поднялся в свою комнату.

Миссис Томпсон постелила мне постель и заботливо поставила на стол термос с чаем и положила последний выпуск вечерней газеты.

Они схватили ее. Около трех часов дня. Я не читал ни само сообщение, ни имя, ничего. Я сел на кровать и взял газету; с первой страницы на меня смотрела моя девушка.

Потом я вынул из пиджака пакетик, развязал тесьму и долго сидел, глядя на маленькое сердечко, которое держал в руке.

Перевод Н. Тихонова

Отец

Вы вроде бы спросили про отца? Я не ослышался? Вы ведь первый раз в наших краях? Видно, на каникулы приехали? Нынче в летние месяцы полно отпускников. И все – кто раньше, кто позже – добираются до утесов, а потом спускаются к этому самому месту на берегу. Стоят и смотрят то на море, то на озеро. Вот как вы сейчас.

Славное местечко, правда? Спокойно, ото всего далеко. Понятно, почему отец надумал здесь поселиться.

Когда он тут появился? Не помню. Да и никто не помнит. Должно быть, много лет назад. Он уже был, когда я сам сюда приехал. Еще перед войной. Может, как и я, спасался от городской суеты. А может, там, где он жил раньше, он с кем-то не поладил и пришлось сняться с насиженного места. Трудно сказать. Но у меня с самого начала было подозрение, что либо его когда-то сильно обидели, либо он сам кому-то насолил – и после этого озлобился на весь белый свет. Помню, как только я его увидел, сразу сказал себе: «Ого! Тот еще тип!»

Да, вот тут у озера он и жил со своей половиной. Соорудили себе какой-то немислимый шалаш, навряд ли он мог защитить от ненастья, но их как будто это мало заботило.

Меня, спасибо, предостерег парень с фермы, один из тамошних работников. Предупредил с ухмылкой, что от отца лучше держаться подальше – он, мол, не жалуется чужих. Вот я и старался обходить его стороной, со знакомством не лез. А толку-то? Я ведь все равно поихнему не понимаю. В первый раз я его увидел, когда он стоял у самой кромки воды, спиной к озеру, и глядел вдаль, на море. И я, чтобы его не потревожить, нарочно не стал переходить через ручей по дощатым мосткам, а сделал крюк по пляжу и вышел к озеру с другой стороны. Мне было не по себе – будто я без спросу забрел в чужие владения, но все-таки я присел на корточки за кустом дрока, вытащил из кармана бинокль и стал разглядывать отца.

Тогда, несколько лет назад, он был большой, сильный, с широкой грудью. С тех пор он, понятно, постарел, но и теперь легко представить, каков он был в свои лучшие годы. Какая мощь, какая энергия! Как царственно он нес свою великолепную голову! Я это не просто так говорю. Нет-нет, кроме шуток. А вдруг в нем течет благородная кровь какого-то далекого предка? И временами – помимо его воли – кровь вскипает, бунтует, бурлит, и тогда он как одержимый бросается в атаку. Правда, в тот первый день я ни о чем таком не думал. Разглядывал его, пригибался пониже всякий раз, как он поворачивался, и гадал, что у него на уме. Знает ли он, что я недалеко и наблюдаю за ним.

И если бы он вдруг подошел поближе и засек меня в моем укрытии, я бы выглядел дурак дураком. Но подходить он не стал. Похоже, ему просто дела до меня не было. Он стоял, глядел на чаек, на море, где начинался прилив, а потом зашагал вразвалочку домой, к своей хозяйке. Может, она там ждала его к ужину.

Ее в тот день я не увидел. Она наружу не показывалась. К их жилищу на левом берегу озера протоптанных тропок не было, а пройти напрямик я не смел из боязни столкнуться с ней нос к носу. Когда же я все-таки ее увидел, то огорчился – честно говоря, и смотреть-то там было особо не на что. Ничего общего с супругом: неказистая, невзрачная, никакая.

Я увидел их вместе, когда они после рыбной ловли возвращались с моря на озеро. Он, конечно, шел впереди, а она попевала за ним. Ни он, ни она, к счастью, не обратили на меня никакого внимания. Иначе он вполне бы мог остановиться, велеть жене идти домой, а сам двинулся бы в мою сторону, к прибрежным скалам. Вы спрашиваете, как бы я тогда поступил? Убей меня бог – не знаю. Может, поднялся бы на ноги, беззаботно посвистывая, улыбнулся, кивнул ему, пожелал всех благ и пошел прочь. Понятно, все это было бы впустую, но такая уж привычка, что поделаешь? А он – вряд ли бы он на меня ополчился. Скорее всего посмотрел бы мне вслед своими странными узкими глазами и дал уйти подобру-поздорову.

С тех пор, и зимой и летом, бывая поблизости, я наблюдал за этой парой. Они продолжали жить своей отдельной, одинокой жизнью. Рыбу ловили то в озере, то в море. Иногда они попадались мне на глаза в ближней бухте, в устье реки – им, наверно, нравилось разглядывать яхты на якоре и наблюдать, как грузят корабли. Кто из них двоих затевал такие вылазки? Думаю, он – возможно, его привлекала портовая сутолока и многолюдье, а может, на него накатывала тоска по той жизни, которую он либо сгоряча отринул, либо не успел испытать. И тогда он предлагал жене «сходить в город развеяться», а она, довольная, что может угодить ему, послушно шла.

Мне с самого начала бросилось в глаза – да это и любой бы заметил, – как они оба были привязаны друг к другу. Если он целый день проводил на рыбалке, а она оставалась дома, то она к вечеру шла от озера вниз и по пляжу спускалась к морю. И она, и я – если я случался поблизости – видели его издали. Он поворачивал от залива к берегу и выходил на сушу, а она торопилась ему навстречу, и они замирали обнявшись, не обращая внимания ни на кого вокруг. Трогательно, что тут скажешь? Чувствовалось – она его любит без памяти: знать, было за что. Чужим он мог казаться сущим дьяволом, но для нее он был как свет в окошке. Я и сам к нему подобрел, когда понаблюдал их вот так вместе.

Вы спрашиваете, были ли у них дети. К этому я и веду. О них и будет речь. Потому что стряслась беда. И знал об этом я один. Наверно, я должен был кому-то сказать, но если бы я и решился... Словом, не знаю... Отца бы забрали, а она бы не снесла разлуки. По совести говоря, не с руки мне было вступать. Улики веские, но прямых-то доказательств нет: можно все списать на несчастный случай. Тогда ведь никому в голову не пришло доискиваться что да как. И вообще, кто я такой, чтобы соваться не в свое дело, доносы строчить?

Попробую вам объяснить по порядку, как все случилось. Только важно помнить, что случилось это не вдруг, а готовилось исподволь. Да и сам я то куда-то уезжал, то бывал по горло занят и не выбирался на озеро. Нашей парой никто, кроме меня, не интересовался, и рассказывать я буду единственно о том, что видел своими глазами. Может, что и болтали у них за спиной, но я досужих сплетен не повторяю, слухам веры не даю.

Ну так вот, они не всегда жили только вдвоем, как теперь. У них было потомство – три дочки и сын. И всех четверых они вырастили в этой старой развалюхе у озера. Прямо загадка, как им это удалось. В наших краях непогода не редкость: дождь хлещет как из ведра, ветер гонит по озеру мелкие волны, по берегу не пройти – все размыто, ноги вязнут, а вокруг шалаша, в низине, и вовсе непролазная грязь. Любой, у кого осталась хоть крупица здравого смысла, забрал бы жену и детей и подыскал бы для жилья другое место, где были бы хоть мало-мальски сносные условия. Любой – но не отец. Он наверняка считал: коли он терпит все невзгоды, жена тоже должна терпеть, не говоря о детях. Не потакал им, хотел с малых лет приучить к тяготам жизни.

Ребягня у них, надо сказать, была славная. Особенно младшая дочка. Не знаю, какое имя ей дали родители; я звал ее Кнопка, Кнопочка. Живая, верткая, нравом вся в отца, даром что росточком не вышла. Как сейчас ее вижу: совсем кроха была, а первая осмелилась зайти в воду и поплыть, на зависть сестренкам и брату.

Его я называл просто сын. Он был самый старший и, между нами, малость глуповатый. Да и внешне не такой симпатичный, как сестры, неуклюжий, эдакий увалень. Девочки играли друг с дружкой, ловили рыбу, а он болтался где-то на задах, не знал, чем себя занять. Дай ему волю – он с радостью сидел бы дома, возле мамочки. Типичный маменькин сынок. Не то чтобы мать пеклась о нем больше, чем о других. Сколько я мог заметить, она со всеми обходилась одинаково. На первом плане у нее всегда был муж, а потом уж дети. Так или иначе, самый старший был по сути большой ребенок и в придачу, судя по всему, недоразвитый.

По примеру родителей молодые держались особняком, ни с кем не знались. Это им, как я понимаю, крепко вбил в голову отец. Они не смели сами выйти на пляж поиграть. А соблазн был большой – особенно в разгар лета, когда на берегу полно любителей отдохнуть на природе:

гуляют, купаются, устраивают пикники. Похоже, отец по какой-то одному ему ведомой причине строго-настрого запретил детям якшаться с посторонними.

Молодежь привыкла, что я изо дня в день мельтешу поблизости, собираю на берегу плавник, еще что-то делаю по мелочи. Бывало, я задерживался посмотреть, как они играют. Заговаривать с ними я остерегался – как бы не наябедничали отцу. Когда я шел мимо, они поднимали на меня глаза и тут же отворачивались, вроде бы стеснялись. Одна Кнопочка меня не боялась, могла даже отколоть какое-нибудь коленце, если хотела покрасоваться.

Я часто наблюдал, как семейство в полном составе выбирается на целый день ловить рыбу. Отец, конечно, впереди, Кнопка старается помочь, не отстает от папочки, мать опасливо поглядывает на небо – не будет ли дождя, две другие дочки рядом с ней, а сын, бедолага, по привычке плетется в хвосте. Никогда нельзя было понять, удачный у них нынче улов или нет. Они часто рыбачили допоздна, я успевал уйти домой и не видел, как они возвращаются. Думаю, им везло. Они ведь по большей части кормились тем, что сами добывали. Говорят, в рыбе куча витаминов. И может, отец был на свой лад, как сказали бы теперь, фанатик здорового питания.

Время шло, потомство подрастало. Я жалел, что Кнопка изменилась, стала больше походить на сестер. Но все равно эта троица была симпатичная. Все скромные, тихие, как говорится, хорошо воспитанные.

Что до сына, он изрядно вымахал: огромный, грузный, ростом почти догнал отца. Но при этом ничего от отца в нем не было: ни его стати, ни силы, ни характера. Здоровенный, неповоротливый мужлан. И отец – я уверен – его стыдился. По дому он явно ничего не делал, и на рыбалке проку от него тоже было мало. Сестры трудились как пчелки, а он маячил где-то на заднем плане, вечно на что-то натыкался, что-то портил, крушил. Если мать была дома, он торчал при ней как приклеенный.

Я видел, что отца раздражает переросток-сын, да еще такой бездельник и лодырь. Его нетерпимая натура не могла допустить, чтобы сила шла об руку с глупостью. В любой нормальной семье сын в этом возрасте отделился бы от родителей, начал бы жить своим умом, сам обеспечивать себе пропитание. Я все гадал, обсуждают ли по вечерам отец и мать эту тяжелую проблему или по молчаливому согласию махнули на парня рукой.

В конце концов дети все же покинули родительский кров. По крайней мере дочки.

Ладно, расскажу все по порядку.

Как-то раз поздней осенью я отправился за покупками в портовый городишко, милях в трех отсюда, и там неожиданно увидел все семейство – отца, мать, трех дочек и сына. Они держали путь в Понт, к верховьям реки, к востоку. Понт – поселок маленький, всего несколько жилых домов, а за ними ферма и церковь. У детей был опрятный, праздничный вид, у родителей тоже, и я подумал: уж не в гости ли они собрались? Если так, то это событие из ряда вон выходящее. Впрочем, не исключено, что в Понте у них друзья или знакомые. Так или иначе, в тот погожий субботний день я видел их всех вместе последний раз.

В воскресенье с востока задул шквальный ветер, разыгрался настоящий шторм. Двое суток я просидел дома. Я представлял, что творится на море, как грохочут и беснуются волны, и беспокоился, удалось ли семейству в целостности и сохранности вернуться восвояси. Разумнее всего было бы остаться в Понте, если у них и правда там есть кто-то свой.

Ветер стих только во вторник, и я наконец выбрался на берег. Куда ни глянь, сплошные водоросли, плавник, смола, мазутные пятна. Обычная картина после шторма. Я поглядел в сторону озера, где стоял знакомый шалаш, и у самого края воды увидел отца с матерью. Молодежи, однако, нигде заметно не было.

Меня это немного удивило, и я какое-то время ждал – вдруг появятся, но ждал напрасно. Я обошел озеро кругом – с берега напротив хорошо было видно их жилище – и даже достал свой карманный бинокль, чтобы разглядеть все получше. Детей как смыло. Отец чем-то занимался у дома – как всегда, если он в этот день не рыбачил, – а хозяйка преспокойно грелась на

солнышке. Объяснение могло быть только одно: они поручили детей кому-то в Понте. Решили устроить им каникулы.

По правде говоря, на душе у меня стало чуть поспокойней. Поначалу-то я порядком струхнул: вдруг они собрались домой в тот же вечер, в субботу, и попали по дороге в шторм? Что если добраться до своего жилья сумели одни родители, а вот дети... Но я прогнал эти мрачные мысли. Случись что плохое, кто-нибудь уж точно прознал бы об этом, а молва дошла бы и до меня. И уж конечно отец не вел бы себя как ни в чем не бывало, не расхаживал бы с невозмутимым видом, а про мать и говорить нечего – вряд ли она стала бы нежиться на солнце. Да, так и есть. Дети наверняка задержались у кого-то в Понте. А может, отправились дальше, решили наконец сами подыскать себе занятие.

Я затосковал. Внутри у меня осталась какая-то пустота. Я к ним привык, я так долго наблюдал их вблизи – Кнопочку и остальных. И теперь у меня было странное чувство, будто они ушли из моей жизни навсегда. Глупо, конечно. Глупо принимать это так близко к сердцу. Я что хочу сказать: вот есть отец, есть мать, а четверо детишек, которые выросли на моих глазах, непонятно куда пропали. Шутка ли?

Я жалел, что не умею хотя бы кое-как объясняться по-ихнему. Я бы окликнул отца, запросто, по-соседски, и сказал: «Я смотрю, вы с хозяйкой остались вдвоем. Надеюсь, ничего дурного не случилось?»

Да нет, бесполезно. Он только смерил бы меня своим особым взглядом и послал бы подальше.

Девочек я больше не видел. Ни разу. Домой они не вернулись. Однажды я вроде бы заприметил Кнопку на реке, в стайке подружек, но не был уверен, что это она. И даже если она, то какая-то новая, незнакомая – так она выросла и изменилась.

В общем, я поразмыслил и рассудил, что родители в ту субботу взяли с собой детей не просто так, а с целью – либо пристроить их в Понте к друзьям, либо отпустить на все четыре стороны. Уже большие, пора и честь знать, пускай пробиваются сами.

Я понимаю, это звучит жестоко – вряд ли вы поступили бы так с собственными детьми, – но не забывайте: нрав у отца был крутой и жил он по своим законам. Не иначе считал, что так для детей будет лучше, – возможно, он был и прав. И если бы определенно знать, как сложилось у сестер, особенно у младшенькой, я бы не беспокоился.

Но я до сих пор беспокоюсь, потому что знаю, чем все закончилось для сына.

Беда в том, что у него хватило глупости вернуться домой. Он воротился недели через три. Я тогда шел не своей обычной дорогой, а лесом, вдоль ручья, который берет начало на холмах и впадает в озеро. Я обогнул озеро по северному берегу, в стороне от знакомого шалаша, ближе к камышовым зарослям, и первое, что я увидел, был сын.

Он ничего не делал, просто растерянно стоял у камышей. Он был довольно далеко, и я не стал его окликать. Да у меня бы и духу не хватило. Так что я остановился и какое-то время следил за ним. А он тоже стоял, застыв на месте, в обычной своей нелепой позе, и я заметил, что он смотрит туда, где дом.

Отец его покамест не заметил. Я увидел обоих старших у мостков через ручей – они то ли шли к морю, то ли возвращались с рыбалки. А сын смотрел на них все с тем же растерянным, придурковатым видом. И не только придурковатым – испуганным.

Мне хотелось крикнуть: «Что происходит?» – но я не знал как. Короче, я стоял молча и тоже смотрел на отца.

Потом произошло то, чего мы оба боялись.

Отец поднял голову и увидел сына.

Он, должно быть, что-то сказал жене, велел ей стоять на месте, а сам развернулся и как молния бросился к камышовым зарослям, к сыну. Вид у него был устрашающий, до конца дней

не забуду. Где уж там царственность! От нее и следа не осталось. Он кипел от гнева и ярости – и вдобавок осыпал сына бранью. Ей-богу, я слышал своими ушами!

Сын, в полном ужасе, беспомощно озирался, искал, где бы спрятаться. Но прятаться было негде. Никакого укрытия, кроме камышей у болота. И он, безмозглый дурачок, не нашел ничего лучше, как отступить подальше в камыши и пригнуться к земле. Думал, бедняга, что так его никто не отыщет. Смотреть на это было непереносимо.

Я собрался с духом и уже готовился вмешаться, но отец вдруг замер, словно бы затормозил на бегу, повернулся и зашагал обратно к мосткам, продолжая сердито клокотать. Сын следил за ним из своего убежища, потом снова вышел на открытое место. Видно, в его дурацкой башке засела мысль во что бы то ни стало вернуться домой.

Я огляделся вокруг. Ни души. На помощь позвать некого. Обратись я на ферму, тамошние работники наверняка бы посоветовали мне не вступать. Когда отец в гневе, его лучше не трогать, а сын уже взрослый, сам в состоянии себя защитить. Он ведь вымахал почти с папашу, вполне может дать ему сдачи. Но я-то знал, что это одна видимость. Сын не боец. Драться не умеет.

Я пробыл там еще довольно долго, но никакого движения не заметил. Стало темнеть. Ждать дольше смысла не было. Отец с матерью с мостков ушли. А сын все стоял у зарослей на краю озера.

Я тихо окликнул бедолагу: «Не жди понапрасну, все равно он тебя домой не пустит. Возвращайся туда, откуда пришел. В Понт, в любое другое место, куда угодно, только уноси ноги».

Он поглядел на меня все с тем же тупым, растерянным видом и явно не понял ни слова из того, что я сказал.

Что я мог поделаться? Я побрел домой и весь вечер думал про сына. А утром снова отправился на озеро, прихватив с собой для храбрости увесистую палку. Не то чтобы я всерьез собирался пустить ее в ход. С отцом это вряд ли прошло бы.

И что же я увидел? Наверно, за ночь они как-то между собой договорились, потому что сын теперь был дома, под боком у матери, а отец занимался своими делами и не обращал на них внимания.

Должен признаться, у меня отлегло от сердца. И то сказать: что я мог изменить? Если отец не желает держать сына дома, это его частное дело. А если сын по своей тупости не понимает, что пора отделиться от родителей и идти своей дорогой, это опять-таки его частное дело.

Но я во многом винил и мать. Кто, как не она, должен был объяснить сыну, что он тут лишний, что отец не потерпит его в доме и что самое лучшее для него – не отсвечивать тут и уйти, пока еще можно уйти по-хорошему. А она не догадалась. Она вообще, по-моему, умом похвастаться не могла. Да и твердым характером тоже.

Какое-то время то, о чем они договорились, работало. Сын ни на шаг не отходил от матери – может, помогал по дому, хотя вряд ли, – а отец держался на отшибе и все больше замыкался в себе.

Он теперь часто сидел у мостков нахохлившись и глядел на море, одинокий и неприка- янный. Вид у него был чудной, я бы даже сказал зловещий. И мне это не нравилось. Я не знаю, что за мысли крутились у него в голове, но уверен – недобрые. Вроде бы совсем недавно он сам, и мать, и дети всей гурьбой отправлялись на рыбалку – дружные, довольные, но мне вдруг показалось, что с тех пор прошла целая вечность. Для отца все переменялось. Мать и сын были вместе, а он остался ни при чем.

Я испытывал к нему жалость, но в то же время меня грыз страх. Такая неопределенность не могла длиться бесконечно. Что-то должно было произойти.

Через пару дней я отправился на пляж собирать плавник – всю ночь на море бушевал ветер, – и когда по привычке поглядел в сторону озера, то увидел, что сын уже не дома. Он стоял там же, где и в первый день, – у камышовых зарослей. Ростом он действительно почти

догнал отца. Если бы он соображал, как употребить свою силу, то вполне мог бы потягаться с родителем, но мозгами Бог его обделил. И теперь он снова торчал на краю болота – оторопелый, насмерть перепуганный верзила, а напротив у шалаша стоял отец и в упор глядел на своего отпрыска. И по его глазам было видно, что он замышляет убийство.

Я понял: отец его прикончит. Неважно где, как и когда. Может, ночью, во сне, а может, днем, на рыбной ловле. Мать – пустое место, она не способна ничему помешать. На нее надежды нет. Будь у сына хоть капля здравого смысла, он еще успел бы унести ноги...

Я пробыл на берегу до темноты. Но все было спокойно.

Ночью прошел дождь. Утро выдалось серое, холодное, туманное. По всему чувствовался декабрь, деревья стояли голые, угрюмые. На озеро я попал только ближе к вечеру, когда небо немного прояснилось. Солнце выглянуло перед самым закатом и ненадолго вспыхнуло водянистым блеском, как бывает зимой.

Я сразу увидел отца и мать. Они стояли рядышком возле своей развалюхи и явно меня заметили. Сына с ними не было. Не было его ни у камышей, ни у озера.

Я перешел через мостки и двинулся вдоль озера по правому берегу; бинокль был у меня при себе, но сына я нигде не обнаружил. И все это время отец не спускал с меня глаз.

А потом я его увидел. Я кубарем скатился по склону к воде и через заросли камыша пробрался туда, где лежал сын.

Он был мертвехонек. На спине у него зияла глубокая рана, вокруг запеклась кровь. Он пролежал там всю ночь, и тело намокло от дождя.

Вы подумаете, что я совсем спятил, но я не выдержал и разревелся, как последний идиот, и заорал через озеро отцу: «Убийца! Палач проклятый!» Он никак не откликнулся. Даже не шелохнулся. Так и стоял с супругой возле шалаша и по-прежнему следил за мной.

Вам, верно, любопытно, что я сделал. Я сходил домой, принес лопату и выкопал бедняге могилу там же, в камышах, а потом прочитал молитву – свою собственную, самодельную. Я ведь понятия не имел, какая у них религия. А когда все было кончено, я снова поглядел на отца.

И знаете, что я увидел?

Я увидел, как он склонил свою великолепную голову, нагнулся к жене и обнял ее. А она потянулась к нему и тоже его обняла. Это было как реквием и как благословение. Отпущение грехов и осанна. Они знали, что сотворили зло, но теперь это было дело прошлое, потому что я предал сына земле и он ушел навсегда. Они снова были свободны, снова вместе, и не было никого третьего, кто мог бы встать между ними.

Они выплыли на середину озера, и внезапно отец вытянул шею, забил крыльями и мощным движением оторвался от воды, а мать поднялась за ним. Я смотрел, как они летят к морю, навстречу закату солнцу, и клянусь – я в жизни не видел зрелища прекраснее, чем эта пара лебедей в пустынном зимнем небе.

Перевод И. Комаровой

Счастливого Рождества

Лоренсы жили в большом доме сразу за городом. Мистер Лоренс был мужчина крупный, полный, круглолицый и улыбчивый. Каждое утро он уезжал на автомобиле в город, к себе в контору, где у него имелись солидный письменный стол и три секретаря. По ходу дня он звонил по телефону, ходил на деловой ланч и снова звонил по телефону. Зарабатывал он очень много.

У миссис Лоренс были светлые волосы и глаза фарфоровой голубизны. Мистер Лоренс называл ее Котенком, но это не значит, что она была не приспособлена к жизни. У нее были дивная фигура и длинные ногти, и днем она, как правило, играла в бридж. Бобу Лоренсу уже стукнуло десять лет. Он был точь-в-точь как мистер Лоренс, только поменьше. Ему очень нравились электровозы, и отец специально позвал мастеров, которые проложили в саду игрушечную железную дорогу. Мэриголд Лоренс исполнилось семь. Она была точь-в-точь как ее мать, только покруглее. Ей часто дарили кукол, но они у нее почему-то все время ломались. Куклол набралось уже пятнадцать.

Если бы вы случайно встретили Лоренсов, то сразу бы поняли: перед вами самая обыкновенная семья. Наверное, именно из этого-то все и приключилось. Слишком уж они были типичные. Жизнь их текла вольготно и безоблачно, что было, конечно же, очень приятно.

Вот и канун Рождества Лоренсы проводили примерно так же, как и все другие семьи. Мистер Лоренс пораньше вернулся из города, чтобы присутствовать при том, как семейство готовится к празднику. Он улыбался чаще обычного, засовывал руки в карманы, а когда споткнулся о собаку, спрятавшуюся за ветки омелы и остролиста, рявкнул: «Да чтоб тебя, черт-тяка!» Миссис Лоренс по такому случаю отказалась от бриджа и развешивала в гостиной фонарики. Собственно, развешивал фонарики мальчишка-садовник, а миссис Лоренс украшала их фестончиками из разноцветной бумаги и подавала ему; при этом она непрерывно курила, и дым разъедал мальчишке глаза, но он был слишком хорошо воспитан, чтобы отогнать клубы рукой. Боб Лоренс и Мэриголд Лоренс носились по гостиной, запрыгивали на диваны и стулья и кричали:

– А что мне завтра подарят? А мне подарят поезд? А мне подарят куклу?

В конце концов мистеру Лоренсу это надоело, и он сказал:

– Если не прекратите галдеж, вообще ничего не получите.

Впрочем, по тону было ясно, что он это не всерьез, и обмануть детишек не удалось.

Когда детям уже пора было идти спать, миссис Лоренс позвали к телефону. «Черт!» – сказала она и снова пустила мальчишке-садовнику в глаза струю дыма. Мистер Лоренс поднял с пола ветку и засунул за раму картины. Потом бодро засвистел.

Миссис Лоренс отсутствовала минут пять; когда она вернулась, ее голубые глаза метали искры, а волосы были взъерошены. Ну точь-в-точь котенок. Такой, которого хочется взять на руки, сказать: «Ах ты, киска!» – и сразу же отпустить снова.

– Только этого не хватало, – вымолвила она, и детям показалось, что она вот-вот заплачет.

– Что там за чертовщина? – осведомился мистер Лоренс.

– Это из комитета по приему беженцев, – сообщила миссис Лоренс. – Не зря я тебе говорила, что здесь теперь не протолкнуться от беженцев. Когда все это только начиналось, мне, как и всем, пришлось внести нашу фамилию в список тех, кто готов их принять, – я думала, это просто формальность и никого принимать не понадобится. А вот теперь понадобилось. Мы должны поселить у себя супружескую пару, причем уже сегодня.

Мистер Лоренс перестал улыбаться.

– Погоди-ка, – сказал он. – Не имеет этот самый комитет никакого права так с нами поступать, нас должны были известить заранее. Почему ты не послала их подальше?

– Я послала, – ответствовала миссис Лоренс с возмущением, – но мне сказали, что им очень жаль, но все в одинаковом положении, они кого-то направляют в каждый дом, а еще добавили что-то про «ответственность в случае отказа» – я до конца не поняла, но звучало очень неприятно.

– Они не имеют права, – заявил мистер Лоренс, вздернув подбородок. – Я сейчас же позвоню кому-нибудь наверху. Уж я позабочусь, чтобы сотрудника, который с тобой разговаривал, уволили, я лично поеду в город, я...

– Господи, да какой смысл? – возразила миссис Лоренс. – Давай не будем так переживать по этому поводу. Не забывай, сегодня сочельник, все давно разъехались. Да и вообще, эти, как их там, уже едут, не можем же мы от них запереться. Видимо, нужно поставить в известность прислугу.

– А что беженцы будут делать? – стали допытываться взбудораженные дети. – Им придется отдать наши вещи? Они будут спать в наших кроватях?

– Конечно нет, – резко ответила миссис Лоренс. – Не притворяйтесь совсем-то уж недоумками.

– А куда мы их поместим? – спросил мистер Лоренс. – У нас ни одной комнаты свободной, ведь завтра приедут Дейли и Коллинсы. Ты ведь не предлагаешь отменить приглашения?

– Не переживай, – сказала миссис Лоренс, и ее голубые глазки лукаво сверкнули. – Единственное утешение – мы можем честно сказать, что в доме места нет. Давай поселим их в комнату над гаражом. Погода пока стоит сухая, так что в ней не слишком сыро. Там есть кровать – помнишь, два месяца назад мы вынесли ее из дома, уж больно пружины просели. А так она еще вполне крепкая. У прислуги, кажется, был масляный обогреватель, которым никто не пользуется.

Мистер Лоренс улыбнулся.

– Да ты, похоже, все продумала? – сказал он. – Уж моего Котенка не проведешь. Ну что ж, если они не будут нам мешать, я не против. – Он наклонился и на радостях подхватил на руки Мэриголд. – В любом случае испортить нам Рождество мы не позволим, верно, детка? – спросил он дочку.

И подкинул ее в воздух, а она взвизгнула от восторга.

– Так нечестно, – заявил Боб Лоренс, побагровев всем своим круглым личиком. – Мэриголд меня младше, а чулок хочет повесить такой же. Я ведь старший, и чулок мне полагается больше, правда?

Мистер Лоренс взъерошил сыну волосы.

– Ты же мужчина, Боб, – сказал он. – Давай не обижай сестру. Завтра я подарю тебе кое-что получше того, что обычно кладут в чулок.

Боб тут же перестал дуться.

– Что-нибудь для моей железной дороги? – спросил он с жаром.

Мистер Лоренс только подмигнул и ничего не ответил.

Тогда Боб запрыгал на кровати.

– А у меня подарок будет больше, чем у Мэриголд! – вопил он в восторге. – Больше, гораздо больше!

– Вот и нет, вот и нет! – выкрикнула Мэриголд, готовая разреветься. – Мой подарок будет ничем не хуже твоего, правда, папа?

Мистер Лоренс кликнул няньку:

– Детей успокойте, ладно? А то они, похоже, совсем разошлись.

Он засмеялся и зашагал вниз.

Миссис Лоренс перехватила его на полдороге.

– Прибыли, – доложила она. Голос звучал натянуто.

– И? – уточнил он.

Она пожала плечами и скорчила рожицу.

– Евреи, – произнесла она кратко и скрылась в детской.

Мистер Лоренс произнес нечто невнятное, потом поправил галстук и состроил выражение лица, которое считал подходящим для встречи беженцев: смесь строгости и бравады. Он прошел по подъездной дорожке к гаражу и вскарабкался по шаткой лесенке.

– Ну-ну, добрый вечер! – произнес он громко и жизнерадостно, входя в комнату. – Вы тут как, устроились?

В комнате было темновато – единственную электрическую лампочку не протирали уже много месяцев, да и висела она в углу, далеко от кровати, стола и обогревателя. В первый момент беженцы просто без слов смотрели на вошедшего. Женщина сидела у стола и распаковывала корзину – достала оттуда каравай и две чашки. Мужчина расстилал на кровати одеяло; когда мистер Лоренс заговорил, он распрямился и повернулся к хозяину.

– Мы вам так признательны, – сказал он. – Бесконечно признательны.

Мистер Лоренс кашлянул и издал нечто вроде смешка.

– Да что там, – сказал он. – Ничего такого.

Беженцы, вне всякого сомнения, были евреи. У него – огромный нос и кожа особого маслянисто-желтого цвета. У нее – темные глаза, под которыми лежали тени. Она выглядела нездоровой.

– Э-э... вам что-нибудь еще нужно? – спросил мистер Лоренс.

На сей раз ответила женщина, сперва покачав головой.

– Ничего не нужно, – сказала она. – Мы очень устали.

– Всюду всё забито, – сказал мужчина. – Никто не мог нас принять. Вы так великодушны.

– Да что там, что там, – проговорил, отмахнувшись, мистер Лоренс. – Хорошо, что у нас нашлась свободная комната. Вам, небось, туго пришлось... там, где вы были.

На это они ничего не ответили.

– Ну, хорошо, – сказал мистер Лоренс. – Ежели я вам больше ни за чем не нужен, тогда спокойной ночи. Обогреватель не забудьте убавить, если станет чадить. И, это... если понадобится чего из еды или там одеяло, постучите в заднюю дверь, спросите у прислуги. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, – откликнулись они хором, а потом женщина прибавила: – Счастливого вам Рождества.

Мистер Лоренс замер.

– А, да, – сказал он. – Да, конечно. Большое спасибо.

Он пошел к парадной двери, подняв воротник пальто. Похолодало. Ночью, видимо, подморозит. Когда он вошел в прихожую, как раз раздался удар гонга – звали к столу. Мальчишка-садовник закончил развешивать фонарики, они весело покачивались под потолком. Миссис Лоренс смешивала коктейли за столиком у камина.

– Поторопись, – проговорила она через плечо. – А то весь ужин насмарку: если я чего не выношу, так это полуостывшей утки.

– Дети спят? – поинтересовался мистер Лоренс.

– Да уж наверное, – ответила миссис Лоренс. – В сочельник их вечно не угомонить. Я дала им по конфете и сказала, чтобы не шумели. Хочешь выпить?

Позднее, когда они раздевались в спальне, мистер Лоренс вдруг высунул голову из гардеробной – в руке зубная щетка.

– Смешное дело, – сказал он. – Эта беженка пожелала мне счастливого Рождества. А я и не знал, что евреи празднуют Рождество.

– Вряд ли она представляет себе, о чем речь, – заметила миссис Лоренс, похлопывая себя по круглой, гладкой щеке, чтобы вбить в нее питательный крем.

Один за другим гасли в доме огни. Лоренсы спали. Снаружи в небесах полыхали звезды. И в комнате над гаражом теплился огонек.

– Ого, смотри, у меня аэроплан и новый локомотив для железной дороги! – завопил Боб. – Ого, он летает, как настоящий! Видишь, какой пропеллер?

– А у меня тоже два подарка от папы? – спросила Мэриголд, лихорадочно копясь в груди оберток на своей кровати; большую куклу, только что распакованную, она отбросила в сторону. – Няня! – заверещала она. – Где мой второй подарок?

Щеки ее сердито горели.

– Так тебе и надо, жадина-говядина, – поддразнил ее Боб. – Зато смотри, что у меня!

– А вот я сейчас сломаю твой дурацкий аэроплан, – пригрозила Мэриголд, и по щекам ее заструились слезы.

– Негоже ссориться на Рождество, – сказала няня и победоносно извлекла из-под обрывков еще одну коробочку. – Ну-ка, Мэриголд, глянь, что там?

Мэриголд разорвала бумагу. Скоро она уже держала в руке сверкающее ожерелье.

– Я принцесса! – закричала она. – Я принцесса!

Боб бросил на нее взгляд, полный презрения.

– Невелика штука, – заметил он.

Внизу мистера и миссис Лоренс как раз подавали утренний чай. Включили электрический обогреватель, шторы раздвинули, и комнату заливал утренний свет. А вот письма и пакеты пока стояли нетронутыми, ибо мистер и миссис Лоренс в истовом негодовании выслушивали рассказ их служанки Анны.

– Ушам своим не верю. Какой кошмар! – высказался мистер Лоренс.

– А я как раз верю. Чего еще ждать от таких людей? – сказала миссис Лоренс.

– Разберусь я с этим комитетом по приему беженцев! – посулил мистер Лоренс.

– Вряд ли они об этом знали, – возразила миссис Лоренс. – Уж эти-то потрудились сделать так, чтобы никто ничего не пронюхал. Ну, в любом случае держать их здесь мы не можем. Кто за ней ухаживать-то станет?

– Нужно вызвать «скорую», чтобы их увезли, – решил мистер Лоренс. – Мне еще вчера показалось, что она какая-то бледная. И все равно не пойму – как она одна справилась?

– Ну, эти разродятся и не заметят, – ответила миссис Лоренс. – Небось, и не почувствовала ничего. Одному я рада – что они в комнате над гаражом, а не в доме. Там ничего особо не перепачкаешь.

– Да, Анна, – крикнула она вдогонку служанке, – обязательно скажи няне, чтобы не подпускала детей к гаражу, пока не уедет «скорая».

И только после этого они взялись за письма и пакеты.

– Ладно хоть будет чем посмешить гостей, – сказал мистер Лоренс. – Как раз подходящая история под индейку и сливовый пудинг.

Когда они позавтракали и оделись, когда привели детей и те вдоволь напрыгались на их постели, хвастаясь своими подарками, мистер и миссис Лоренс отправились в гараж разбираться, что теперь делать с беженцами. Детей отправили в детскую поиграть с новыми игрушками – ведь история-то вышла некрасивая, в чем няня полностью согласилась с миссис Лоренс. И еще неизвестно, чего ждать дальше.

Они подошли к гаражу и обнаружили, что во дворе толпятся, переговариваясь, слуги. Тут были кухарка, лакей, горничная, шофер и даже мальчишка-садовник.

– Так, что тут такое? – осведомился мистер Лоренс.

– Убрались они, – доложил шофер.

– В каком смысле – «убрались»?

– Мужик, пока мы завтракали, пошел нашел такси, – пояснил шофер. – Небось, сбегал на стоянку в конце улицы. А нам ни слова.

– Мы только слышали, как к задней калитке машина подъехала, – вступила в разговор кухарка. – Они с шофером ее туда на руках отнесли.

– Мужик спросил, как называется ближайшая больница, а мы ему сказали, что на въезде в город есть одна, еврейская, – добавил шофер. – А он в ответ – что очень извиняется за беспокойство. Кремень-мужик, прямо и ухом не повел.

– И младенчик. Мы младенчика видели, – захихикала служанка, а потом почему-то густо покраснела.

– Да, – подтвердила кухарка. – Настоящий еврейчик, один в один что евонный папаша. Тут они все рассмеялись и начали как-то глупо переглядываться.

– Так, – сказал мистер Лоренс, – похоже, всё, что могли, мы сделали.

Слуги разошлись. Возбуждение спало. Нужно готовиться к рождественскому приему, дел невпроворот, то одно, то другое, все уже сбились с ног, а еще только десять утра.

– Пойдем-ка поглядим, – сказал мистер Лоренс, мотнув подбородком в сторону гаража. Миссис Лоренс недовольно поморщилась и двинулась за ним следом.

Они поднялись по шаткой лесенке в темную чердачную комнатку. Никаких следов беспорядка. Кровать поставлена на место, к стене, одеяло аккуратно сложено на полу. Стол и стул стоят где и стояли. Окно открыто, чтобы впустить свежий утренний воздух. Обогреватель выключен. Лишь одно говорило о том, что комнатой пользовались. На полу у кровати стоял стакан холодной воды.

Мистер Лоренс не произнес ни слова. Миссис Лоренс тоже не произнесла ни слова. Они вернулись в дом, прошли в гостиную. Мистер Лоренс подошел к окну, выглянул в сад. В дальнем конце виднелась игрушечная железная дорога Боба. Миссис Лоренс открыла пакет, который проглядела за завтраком. Сверху доносились вопли и взвизги – дети то ли радовались, то ли наоборот.

– А как же гольф? Ты, кажется, собирался в одиннадцать пойти поиграть, – припомнила миссис Лоренс.

Мистер Лоренс присел на кушетку у окна.

– Что-то не хочется, – сознался он.

Миссис Лоренс положила на место косметичку, которую только что достала из-под многих слоев тонкой бумаги.

– Странно, – сказала она, – у меня тоже как-то муторно на душе, совсем не по-рождественски.

В открытую дверь было видно, как в столовой накрывают к обеду. Стол был украшен как положено, среди серебра виднелись букетики цветов. В самом центре стояла огромная связка хлопушек.

– Ума не приложу, что еще мы могли сделать, – внезапно произнесла миссис Лоренс.

Мистер Лоренс ничего не ответил. Он встал и начал прохаживаться по комнате. Миссис Лоренс поправила ветку, заткнутую за картину.

– В конце концов, они же ни о чем не просили, – сказала миссис Лоренс. – Уж он-то бы обязательно нам сказал, – продолжала миссис Лоренс, – если бы ей стало совсем худо, ну или ребенку. Я уверена, что все у них в порядке. Это ж такой народ – все живучие.

Мистер Лоренс достал из жилетного кармана сигару, потом положил обратно.

– Здесь, у нас, им было бы куда хуже, чем в еврейской больнице, – продолжала миссис Лоренс. – Там уход и все такое. А мы бы сами не справились. И, кроме того, они уехали так внезапно, никому ничего не сказали – мы им даже и предложить ничего не успели.

Мистер Лоренс раскрыл книгу, потом закрыл снова. Миссис Лоренс все крутила в пальцах поясок от платья.

– Разумеется, – сказала она поспешно, – я туда съезжу и выясню, как у них дела, отвезу фруктов и еще всякого, и, может, теплых вещей, и спрошу, не надо ли им чего. Я бы прямо сегодня поехала, да нужно вести детей в церковь...

И тут распахнулась дверь, и в комнату вбежали дети.

– А на мне новое ожерелье, – похвасталась Мэриголд. – А у Боба нет ничего нового, чтобы надеть. – Она крутанулась на носочках. – Мама, давай быстрее, опоздаем и не увидим, как все входят в церковь.

– А там ведь будут петь «Вести ангельской внемли»? – спросил Боб. – Мы в школе выучили слова, мне даже не нужно смотреть в книжку. Пап, а почему Иисус родился в хлеву?

– Потому что в гостинице для них не нашлось места, – ответил мистер Лоренс.

– Они что, были беженцами? – уточнила Мэриголд.

В первый момент никто не ответил, а потом миссис Лоренс встала и поправила волосы перед зеркалом.

– Не задавай глупых вопросов, детка.

Мистер Лоренс распахнул окно. Из-за сада несся перезвон колоколов. Солнце заливало чистую, белую изморозь, обращая ее в серебро. На лице у мистера Лоренса появилось странное, озадаченное выражение.

– Так надо было... – начал было он. – Надо было...

Но договорить он так и не успел, потому что от ворот к дому уже катили две машины, в которых сидели два семейства, Дейли и Коллинсы, а дети с восторженным визгом мчались вниз по ступеням, выкрикивая:

– Счастливого Рождества! Счастливого Рождества!

Перевод А. Глебовской

Синие линзы

Алиби

1

Фентоны совершали свою обычную воскресную прогулку по набережной Виктории. Они дошли до моста Альберта и, как всегда, остановились, решая, перейти ли через него и зайти в парк или отправиться дальше за плавучие дома. И тут жена Фентона сказала, подчиняясь какому-то своему, одной ей ведомому ходу мыслей:

– Когда будем дома, напости мне позвонить Альхузонам и пригласить их на коктейль: сегодня их черед прийти к нам.

Фентон рассеянно наблюдал за уличным движением. Вот по мосту прошел грузовик, слишком сильно раскачиваясь, за ним – спортивный автомобиль с громкими выхлопами, вот нянька в сером форменном платье толкает коляску с близнецами, круглые лица которых похожи на голландский сыр, и, перейдя через мост, сворачивает налево, в Баттерси.

– Куда пойдём? – спросила жена, и он взглянул на нее, не узнавая, во власти непреодолимого, просто кошмарного чувства, что и она, и все люди, которые прогуливаются по набережной или переходят через мост, – крошечные марионетки, раскачивающиеся, когда их дергают за ниточки. А как они передвигаются – неровно, какими-то судорожными толчками. Что за жуткая пародия на настоящие шаги – такие, как в жизни. Да и лицо его жены – голубые глаза, слишком сильно накрашенный рот, новая весенняя шляпка, небрежно сдвинутая набок, – всего лишь маска, второпях намалеванная рукой кукольника, управляющей марионетками, на куске безжизненного дерева, из которого он их мастерит.

Он поспешно отвел взгляд и устремил его вниз, торопливо очерчивая тростью квадрат на тротуаре и точно попадая в выбоину в центре этого квадрата. Вдруг он услышал свой голос: «Я больше не могу».

– Что случилось? – спросила жена. – У тебя закололо в боку?

И тут он понял, что надо быть начеку, так как любая попытка что-то объяснить вызовет недоуменный взгляд этих больших глаз и столь же недоуменные настойчивые вопросы. И тогда придется повернуть обратно по ненавистной набережной Виктории, и ветер, к счастью, будет дуть им в спину, тем не менее неумолимо увлекая их вперед к бездарной гибели часов, точно так же, как течение этой реки увлекает крутящиеся бревна и пустые ящики к какой-то неизбежной зловонной илистой отмели под доками.

Чтобы успокоить ее, он ловко перефразировал свою мысль:

– Я хотел сказать, что мы не можем идти дальше за плавучие дома: там тупик. И потом твои каблучки... – он взглянул на ее туфли, – на таких каблучках долго не проходишь – они не для прогулки по Баттерси. Мне нужен моцион, а ты будешь отставать. Почему бы тебе не пойти домой? Погода так себе.

Жена взглянула на темное небо, и, к счастью для него, порыв ветра заставил ее поежиться в слишком тонком пальто и придержать весеннюю шляпу.

– Пожалуй, так я и сделаю, – сказала она и добавила с сомнением: – У тебя действительно не колет в боку? Ты побледнел.

– Нет, все нормально, – ответил он. – Без тебя я пойду быстрее.

Тут он заметил, что к ним приближается такси с поднятым флажком²⁸, и остановил его, помахав тростью. Он сказал жене: «Садись, ни к чему простужаться», и не успела она возразить, как он распахнул дверцу и дал шоферу адрес. Ей не оставалось ничего другого, как позволить ему усадить себя в такси. Когда машина отъезжала, Фентон увидел, как жена пытается открыть окно и крикнуть, чтобы он не опаздывал и еще что-то об Альхузонах. Он стоял на набережной, глядя, как такси скрывается из виду, и ему казалось, что целый отрезок жизни уходит навсегда.

Он свернул в сторону от реки, оставив позади шум движения, и нырнул в кроличий садок узких улочек и площадей, отделявших его от Фулем-роуд. Он шел с единственной целью – отделаться от самого себя и стереть из сознания воскресный ритуал, рабом которого он был.

Никогда раньше у него не возникала мысль о бегстве. Когда жена упомянула об Альхузонах, в мозгу у него словно раздался щелчок. «Когда будем дома, напомни мне позвонить. Их черед прийти к нам». Наконец-то он понял утопающего, перед которым мелькают фрагменты его жизни, в то время как море поглощает его. Звонок у двери, бодрые голоса Альхузонов, напитки, расставленные на буфете, минутное стояние, потом рассаживание – все это лишь фрагменты гобелена, который изображает его пожизненное заключение, ежедневно возобновляющееся: раздергивание штор и ранний утренний чай, развертывание газеты, завтрак в маленькой столовой при синем свете газового камина (из экономии он привернут и едва теплится), поездка на метро, развертывание вечерней газеты в окружающей толпе, возвращение на места шляпы, пальто и зонтика, звук телевизора из гостиной, к которому иногда примешивается голос жены, разговаривающей по телефону. И вот так зимой и летом, осенью и весной, и при смене времен года сменяются только чехлы на стульях и диване в гостиной да деревья за окном на площади покрываются листвой или стоят голые.

«Их черед прийти к нам» – и появляются Альхузоны, гримасничая и подпрыгивая на своих ниточках, кланяются и исчезают, а хозяева, принимавшие их, в свою очередь становятся гостями и покачиваются, глупо ухмыляясь, – кукольные партнеры, прикрепленные друг к другу, исполняют свой старомодный танец.

И вдруг – остановка у моста Альберта – слова Эдны – и время прервалось. Нет, оно точно так же течет для нее, для Альхузонов, которые подходят к телефону, – для всех вовлеченных в этот танец, – лишь для него все изменилось. Возникло ощущение внутренней силы. Он управляет, он – рука кукольника, заставляющая марионеток покачиваться. А Эдна, бедная Эдна, которая мчит в такси домой, где сыграет отведенную ей роль – будет расставлять напитки, взбивать подушки, вытряхивать соленый миндаль из банки, – она понятия не имеет о том, что он шагнул из кабалы в новое измерение.

Воскресная апатия навалилась на улицы. Дома закрытые, замкнутые.

«Они не знают, – подумал он, – эти люди в домах, что один мой жест сейчас, в эту самую минуту, может изменить весь их мирок. Стук в дверь, и кто-нибудь открывает – зевающая женщина, старик в ковровых шлепанцах, ребенок, посланный раздосадованными родителями, – и все их будущее зависит от того, что мне будет угодно, какое решение я приму. Разбитые лица. Внезапное убийство. Кража. Пожар». Все так просто.

Он взглянул на часы. Половина четвертого. Надо взять за основу систему чисел. Он пройдет еще три улицы и затем, в зависимости от числа букв в названии третьей улицы, выберет номер дома.

Фентон быстро шел, чувствуя, как все больше увлекается. Все по-честному, говорил он себе. Неважно, будет ли это жилой массив или молочная фирма «Юнайтед дэриз». Третья улица оказалась длинной, по обе стороны тянулись грязноватые желто-коричневые викторианские виллы, которые были претенциозными лет пятьдесят тому назад, а сейчас, когда их

²⁸ В описываемое время в Англии поднятый флажок на такси означал, что машина свободна.

разделили на квартиры, чтобы сдавать, утратили свою помпезность. Название улицы – Боултинг. Восемь букв означают номер 8. Он уверенно перешел ее, изучая двери, не обескураженный крутыми маршами каменных ступеней, ведущих к каждой вилле, некрашеными воротами, хмурыми подвалами, атмосферой бедности и обветшания. Как все это не похоже на дома на его маленькой Ридженси-сквер с их нарядными дверями и цветочными ящиками за окнами.

Номер 8 ничем не отличался от своих собратьев. Пожалуй, ворота были еще более убогими, а кружевные занавески в длинном, уродливом окне первого этажа – еще более выцветшими. Ребенок лет трех, мальчик с бледным личиком и бессмысленным взглядом, сидел на верхней ступеньке. Он был как-то странно привязан к скребку у входной двери и не мог передвигаться. Дверь была приоткрыта.

Джеймс Фентон поднялся по ступенькам и поискал звонок. Он был заклеен полоской бумаги с надписью: «Не работает», а ниже болтался на тесемке старомодный дверной колокольчик. Конечно, можно было бы в считанные секунды распутать узел на ремешке, которым привязан ребенок, снести его под мышкой вниз по лестнице и расправиться в зависимости от настроения или фантазии. Но нет, пожалуй, еще не пришло время для насилия. Не того ему хочется – ощущение внутренней силы вызывает жажду подольше насладиться ею.

Он позвонил в колокольчик, и в темной прихожей раздалось слабое звяканье. Ребенок уставился на него, не пошевелившись. Фентон отвернулся от двери и окинул взглядом улицу, платан на краю тротуара, коричневая кора которого пестрела желтыми пятнами, и черную кошку, сидевшую у его подножия и зализывавшую пораненную лапку. Он смаковал момент ожидания, сладостный из-за его неопределенности.

Он услышал, как за спиной растворилась дверь и женский голос с иностранным выговором спросил: «Что вам угодно?»

Фентон снял шляпу. Его так и подмывало сказать: «Я пришел, чтобы задушить вас. Вас и вашего ребенка. Я вовсе не питаю к вам злобы, просто так уж вышло, что я – орудие судьбы, посланное с этой целью». Вместо этого он улыбнулся. Женщина была бледная, как и ребенок на ступеньках, с таким же лишенным выражения взглядом и такими же прямыми волосами. Ей могло быть где-то от двадцати до тридцати пяти лет. Шерстяная кофта была ей велика, а темная юбка в сборку, доходившая до лодыжек, делала приземистой.

– Вы сдаете комнаты? – спросил Фентон.

Свет зажегся в бессмысленных глазах – теперь они выражали надежду. Могло даже показаться, что она жаждала, но уже не надеялась услышать этот вопрос. Однако этот проблеск сразу же угас, и взгляд снова сделался тупым.

– Дом не мой, – сказала она. – Домовладелец когда-то сдавал комнаты, но говорят, что и этот дом, и другие, по обе стороны, снесут, чтобы расчистить место для многоэтажных домов.

– Вы хотите сказать, – продолжал он, – что владелец больше не сдает комнаты?

– Да, – ответила она. – Он сказал мне, что нет смысла – ведь распоряжение о сносе может прийти в любой день. Он немного платит мне, чтобы я присматривала за домом, пока его не снесут. Я живу в подвале.

– Понятно, – сказал он.

Разговор был как будто закончен. Однако Фентон не двинулся с места. Женщина взглянула мимо него на ребенка и велела ему сидеть тихо, хотя тот едва слышно хныкал.

– А не могли бы вы сдать мне одну из комнат в цокольном этаже на то время, пока вы еще здесь? – спросил Фентон. – Мы бы договорились между собой. Домовладелец не будет возражать.

Он наблюдал, как она силится постичь его предложение, такое невероятное, такое удивительное в устах человека с его внешностью. А поскольку легче всего захватить человека врасплох, удивив его, он поспешил воспользоваться своим преимуществом.

– Мне нужна всего одна комната на несколько часов в день, – быстро сказал он. – Я не буду здесь ночевать.

Она так и не смогла понять, кто он: задача оказалась ей не под силу. Костюм из твида – такой носят и в Лондоне, и в пригородах, – мягкая фетровая шляпа, трость, свежий цвет лица, лет сорок пять – пятьдесят. Он увидел, как темные глаза раскрылись еще шире и взгляд их стал еще бессмысленнее, когда она попыталась увязать его наружность с неожиданной просьбой.

– А для чего вам нужна комната? – спросила она, колеблясь.

Вот где собака зарыта. Чтобы убить тебя и ребенка, моя милая, разобрать пол и похоронить вас под досками. Но еще не время.

– Это трудно объяснить, – оживленно ответил он. – Я профессионал и работаю допоздна. А так как последнее время мои обстоятельства изменились, мне нужна комната, где можно было бы поработать несколько часов в день в полном одиночестве. Вы себе не представляете, как трудно найти что-нибудь подходящее. По-моему, тут у вас как раз то, что мне нужно. – Он перевел взгляд с пустого дома на ребенка и улыбнулся. – Например, ваш малыш. Как раз подходящий возраст, так что он не помешает.

Подобие улыбки промелькнуло на ее лице.

– О, Джонни очень спокойный, – сказала она. – Он сидит так часами, он не будет беспокоить. – Затем улыбка сошла с ее лица, вернулось сомнение. – Не знаю, что сказать... Мы живем на кухне, рядом – спальня. Есть одна комната сзади, я держу там кое-какую мебель, но не думаю, чтобы вам подошло. Видите ли, смотря что вы собираетесь делать...

Ее голос замер. Да, такая апатия – как раз то, что нужно. Интересно, крепко ли она спит, – может быть, даже принимает снотворное? Судя по темным теням под глазами, принимает. Ну что же, тем лучше. К тому же иностранка, а их слишком много в Англии.

– Если вы только дадите мне взглянуть на эту комнату, я сразу определю, – сказал он.

Как ни странно, она повернулась и пошла впереди него через узкую грязную прихожую. Включив свет над лестницей, ведущей в подвал, и бормоча бесконечные извинения, она повела Фентона вниз. Несомненно, вначале это было помещение для слуг, живших на этой викторианской вилле. Теперь, когда кухня, буфетная и кладовая служат этой женщине столовой, кухней и спальней, они стали более запущенными. Вероятно, в былые дни, когда эти уродливые трубы были выкрашены белой краской, а этот бесполезный котел и старая плита были начищены, они выглядели совсем недурно. Даже кухонный буфет, который все еще занимает свое законное место и тянется почти во всю длину одной из стен, наверно, хорошо вписывался в обстановку лет пятьдесят тому назад, когда на полках его стояли сверкающие медные кастрюли и расписной обеденный сервиз, а рядом суетилась кухарка с руками, выпачканными в муке, отдавая распоряжения своему любимчику в буфетной. Сейчас грязно-кремовая краска свисает чешуйками, потертый линолеум порван, а в буфете – только хлам, не имеющий ничего общего с первоначальным назначением буфета: испорченный приемник со свисающей антенной, кипы старых журналов и газет, незаконченное вязание, сломанные игрушки, куски засохшего пирога, зубная щетка и несколько пар обуви. Женщина окинула все это безнадежным взглядом.

– Нелегко, – сказала она, – с ребенком. Все время убираешь.

Было ясно, что она вообще никогда не убирает, что она сдалась и этот беспорядок – ее реакция на жизненные трудности. Однако Фентон ничего не сказал, а лишь вежливо кивнул и улыбнулся. Сквозь приоткрытую дверь он увидел неубранную постель, и это подтвердило его предположение о крепком сне – видимо, ее разбудил звон колокольчика. Поймав его взгляд, женщина торопливо закрыла дверь и, машинально пытаясь привести себя в порядок, застегнула кофту и пригладила волосы рукой.

– А комната, которой вы не пользуетесь? – спросил он.

– Ах да, да, конечно, – ответила она рассеянно и неопределенно, как будто забыв, для чего привела его в подвал. Она пошла обратно по коридору, мимо угольного погребка – вот это

пригодится, подумал он, – мимо уборной, через открытую дверь которой был виден детский горшок и рядом с ним – разорванный номер «Дейли миррор», и наконец подошла к дальней комнате, дверь которой была закрыта.

– Не думаю, что вам подойдет, – со вздохом сказала она, заранее сдвигаясь. Действительно, это не подошло бы никому, кроме него – ибо он так переполнен силой и устремлен к цели. Когда она распахнула скрипучую дверь и подошла к окну, чтобы отдернуть занавеску, сделанную из куска старого материала для затемнения, сохранившегося с военного времени, резкий запах сырости ударил ему в нос, словно он внезапно попал в полосу тумана у реки, а еще он различил запах газа, который ни с чем не спутаешь. Они одновременно чихнули.

– Да, это плохо, – сказала она. – Должны прийти, но все никак не идут.

Когда она отдернула занавеску, чтобы проветрить комнату, карниз сломался, кусок материи упал, и через разбитое окно впрыгнула та самая черная кошка с пораненной лапкой, которую он заметил под платаном перед домом. Женщина попыталась прогнать ее, но ничего не вышло. Кошка, привычная к этой обстановке, юркнула в дальний угол, прыгнула на ящик и устроилась вздремнуть. Фентон и женщина огляделись.

– Это как раз то, что мне нужно, – сказал он, его не смущали темные стены, Г-образная форма комнаты, низкий потолок.

– Как, даже садик есть! – И он подошел к окну и взглянул на клочок земли и камни, которые сейчас, когда он стоял в подвальной комнате, были вровень с его головой. Когда-то все это было крохотным мощным двориком.

– Да, – отозвалась она, – да, есть и садик. – И она встала рядом с ним, чтобы тоже взглянуть на запущенный участок, которому они оба дали такое неподходящее название. Затем, слегка пожав плечами, она продолжила: – Как видите, здесь тихо, но мало солнца. Комната северная.

– Я люблю, когда окна выходят на север, – рассеянно ответил он, уже рисуя в воображении узкую яму, которую он выроет для ее тела; незачем копать глубоко. Обернувшись к женщине и мысленно прикидывая ее размеры, рассчитывая длину и ширину будущей ямы, он увидел, что в ее взгляде появился проблеск понимания, и сразу же улыбнулся, чтобы подбодрить ее.

– Вы художник? – спросила она. – Они любят северный свет, не правда ли?

Он почувствовал огромное облегчение. Художник – ну конечно же! Вот объяснение, которое ему нужно! Вот решение всех проблем!

– Я вижу, вы разгадали мой секрет, – лукаво ответил Фентон, и его смех прозвучал так искренне, что он и сам удивился. Он заговорил очень быстро: – Да, художник, но посвящая живописи только часть дня. Вот почему я смогу выбираться сюда только в определенные часы. Утром я связан делами, но позже – свободный человек. Вот когда начинается моя настоящая работа. Это не просто хобби – нет, это страсть. В этом году я собираюсь организовать свою выставку. Так что вы понимаете, насколько мне важно подыскать что-то... в таком духе.

Он взмахнул рукой, указывая на то, что могло бы соблазнить разве что кошку. Его уверенность была так заразительна, что ее взгляд перестал выражать сомнение и замешательство.

– В Челси полно художников, не правда ли? – сказала она. – Не знаю, по крайней мере, так говорят. Но я думала, мастерские должны быть высоко, чтобы можно получать много света.

– Необязательно, – ответил он. – У меня нет подобных причуд. Да и в любом случае в конце дня темнеет. А есть электрическое освещение?

– Да... – Она подошла к двери и повернула выключатель. Голая лампочка, свисавшая с потолка, засветилась сквозь покрывавшую ее пыль.

– Чудесно, – сказал он. – Это все, что мне понадобится.

Он улыбнулся, глядя в это лицо, лишенное всякого выражения и несчастное. Бедняжка была бы настолько счастливее во сне. Как кошка. Нет, в самом деле, положить конец ее мучениям – просто благое дело.

– Можно мне переехать завтра? – спросил он.

Снова взгляд, исполненный надежды, который он заметил, еще стоя у парадной двери, когда справлялся о комнатах. А что же это теперь – смущение, какая-то тень неловкости?

– Вы не спросили... о плате за комнату, – сказала она.

– На ваше усмотрение, – ответил он и снова взмахнул рукой, чтобы показать, что деньги не имеют для него никакого значения.

Она глотнула, явно не зная, что сказать, к ее бледному лицу начала приливать краска, и наконец она решилась:

– Будет лучше, если я ничего не скажу домовладельцу. Я скажу, что вы – друг. Вы могли бы давать мне один-два фунта в неделю наличными, так будет честно.

Она с тревогой следила за ним. Конечно, решил он, третье лицо ни к чему – пусть все останется между ними, иначе может рухнуть его план.

– Я буду давать вам пять фунтов наличными каждую неделю начиная с сегодняшнего дня.

Он нащупал бумажник и вытащил новенькие хрустящие банкноты. Она робко протянула руку, и ее взгляд не отрывался от денег, пока он их пересчитывал.

– Ни слова домовладельцу, – сказал он, – а если кто-нибудь спросит о вашем жильце, скажите, что приехал погостить ваш двоюродный брат, художник.

Она взглянула на него и в первый раз улыбнулась, как будто его шутливые слова и вручение денег каким-то образом скрепили их договор.

– Вы не похожи на моего двоюродного брата, – сказала она, – и не очень похожи на тех художников, которых я видела. Как вас зовут?

– Симс, – моментально ответил он, – Маркус Симс, – и удивился, почему ему пришло на ум имя его тестя – поверенного, который умер много лет тому назад и которого он терпеть не мог.

– Спасибо, мистер Симс, – сказала она. – Утром я сделаю уборку в вашей комнате. – И, сразу же перейдя от слов к делу, она сняла с ящика кошку и прогнала ее в окно.

– Вы привезете свои вещи завтра днем? – спросила она.

– Вещи? – повторил он.

– То, что нужно для вашей работы, – сказала она. – Разве у вас нет красок и всего такого?

– Ах да... ну конечно, – сказал он, – мне же нужно привезти все необходимое. – Он снова оглядел комнату. Нет, и речи не может быть о резне. Никакой крови. Никакого беспорядка. Лучше всего задушить их обоих во сне, женщину и ребенка, – это самый гуманный способ.

– Когда вам понадобятся тюбики с краской, не придется далеко ходить, – сказала она. – На Кингс-роуд есть магазины для художников. Я проходила мимо, когда шла за покупками. Там в витринах картон и мольберты.

Он прикрыл рот ладонью, чтобы скрыть улыбку. Нет, в самом деле трогательно, с какой готовностью и как доверчиво она приняла все за чистую монету.

Она повела его обратно в коридор и вывела из подвала по лестнице в прихожую.

– Я так рад, – сказал он, – что мы договорились. По правде говоря, я уже начинал отчаиваться.

Обернувшись, она снова улыбнулась ему.

– Я тоже, – сказала она. – Если бы вы не появились... Не знаю, что бы я могла натворить.

Они стояли рядом на верхней площадке лестницы. Потрясенный, он пристально смотрел на нее: ведь его появление грозит ей несчастьем. Ну и чудеса!

– Наверно, вы попали в беду? – спросил он.

– В беду? – Она сделала жест руками, и на лице ее вновь появилось выражение апатии и отчаяния. – Конечно, это беда – быть чужой в этой стране, а отец моего малыша сбежал и оставил меня совсем без денег, и я не знаю, что делать. Говорю вам, мистер Симс, если бы вы не пришли сегодня... – Не кончив фразу, она взглянула на ребенка, привязанного к скребку, и пожала плечами. – Бедный Джонни, – сказала она, – это не твоя вина.

– В самом деле, бедный Джонни, – повторил Фентон, – и бедная вы. Ну что ж, уверяю вас, я постараюсь положить конец вашим мучениям.

– Вы очень добры. Правда, спасибо вам.

– Нет, это вам спасибо. – Он слегка поклонился ей и, нагнувшись, коснулся макушки ребенка. – До свидания, Джонни, до завтра. – Его жертва ответила пристальным взглядом, лишенным всякого выражения.

– До свидания, миссис... миссис?..

– Моя фамилия Кауфман. Анна Кауфман.

Она следила, как он спускается по лестнице и проходит в ворота. Изгнанная кошка прокралась мимо него, возвращаясь к разбитому окну. Фентон широким жестом помахал шляпой женщине, ребенку, кошке, всей безмолвной желтовато-коричневой вилле.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.